

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

4

 Июль — Август
1982

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Постановление ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик» и задачи советских этнографов	3
С. И. Брук, В. М. Кабузан (Москва). Динамика численности и расселения русского этноса (1678—1917 гг.)	9
Р. Г. Кузеев, Х. С. Рафиков, Н. Х. Юмагулина (Уфа). Этногенез и генетическая дивергенция восточных башкир	26
Б. А. Литвинский (Москва) «Золотые люди» в древних погребениях Центральной Азии (опыт истолкования в свете истории религии)	34
А. Н. Кожановский (Москва). Испания: новый этап этнического развития	43
А. А. Никишенков (Москва). Научные школы в период становления современной британской социальной антропологии (20—40-е гг. XX в.)	55

Дискуссии и обсуждения

Г. Н. Симakov (Ленинград). О принципах типологизации скотоводческого хозяйства у народов Средней Азии и Казахстана в конце XIX — начале XX века	67
Б. В. Андрианов (Москва). Некоторые замечания о дефинициях и терминологии скотоводческого хозяйства	76
Г. Е. Марков (Москва). Проблемы дефиниций и терминологии скотоводческого хозяйства и кочевничества (ответ оппонентам)	80
От редакции	87

Из истории науки

В. П. Алексеев (Москва). В. В. Бунак — новатор в разработке теоретических основ антропологической науки	88
---	----

Сообщения

А. Н. Давыдов (Архангельск). Архангельский музей деревянного зодчества	93
Л. Т. Соловьева (Москва). Обычай и обряды первых лет жизни ребенка у грузин Хевсурети в конце XIX — начале XX в.	105
Е. А. Глинский, Д. А. Сергеев, Э. Е. Фрадкин (Ленинград). Кит в представлениях берингоморских эскимосов	112

Поиски, факты, гипотезы

А. И. Першиц (Москва). Похищение невест: правило или исключение?	121
--	-----

Хроника

Г. М. Давыдова, В. К. Жомова, А. А. Зубов, Н. И. Халдеева (Москва). Сессия, посвященная 90-летию со дня рождения В. В. Бунака	128
---	-----



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА

1 РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЕКТА ГИСТЕРИЯ 1

Научная жизнь

Л. М. Дробижева (Москва). Проблемы этнографического изучения современности на международной конференции «Семейные праздники в условиях социализма»	132
С. А. Арутюнов (Москва). Международный симпозиум «Историческая этнография сегодня»	134
А. И. Алиева (Москва), В. А. Чиримпей (Кишинёв). Всесоюзная конференция фольклористов	134
Н. С. Полищук (Москва). Конференция «Жилищные условия и образ жизни промышленного пролетариата при капитализме»	138
Р. Ш. Джарылгасинова (Москва). Выставка «Куклы Японии»	139
Коротко об экспедициях	142

Критика и библиография

Критические статьи и обзоры

Е. В. Ревуненкова (Ленинград). Семейная обрядность народов Сибири	144
С. А. Гуллакян (Ереван). Свод армянских сказок	151

Общая этнография

С. А. Арутюнов (Москва). Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян	154
--	-----

Народы СССР

А. И. Холмогоров (Москва). Л. М. Дробижева. Духовная общность народов СССР. Историко-социологический очерк межнациональных отношений	161
Н. А. Томилов (Омск). Этногенез народов Севера	163

Народы Зарубежной Азии

Л. Б. Заседателяева (Москва). Г. А. Шпажников. Религии стран Юго-Восточной Азии. Справочник	167
---	-----

Народы Океании

М. Ф. Альбедиль, Б. Н. Путилов (Ленинград). Мифы, предания и легенды острова Пасхи	169
--	-----

Редакционная коллегия:

К. В. Чистов — член-корр. АН СССР (главный редактор),
В. П. Алексеев — член-корр. АН СССР, И. Л. Андреев, С. А. Арутюнов,
С. И. Брук, Н. Г. Волкова (зам. главн. редактора), Л. М. Дробижева,
Т. А. Жданко, А. А. Зубов, Р. Н. Исмагилова, Р. Ф. Итс, Л. Е. Куббель
(зам. главн. редактора), А. А. Леонтьев, Б.-Р. Логашова, Г. Е. Марков,
А. И. Першиц, Н. С. Полищук (зам. главн. редактора),
П. И. Пучков, Ю. И. Семенов, В. К. Соколова, С. А. Токарев,
Д. Д. Тумаркин

Ответственный секретарь редакции Н. С. Соболев

Адрес редакции: 117036 Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19
телефон 126-94-91

Зав. редакцией Е. А. Эшлиман

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
«О 60-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК»
И ЗАДАЧИ СОВЕТСКИХ ЭТНОГРАФОВ**

Итоги развития Союза ССР за 60 лет, торжество ленинской национальной политики, непреходящее международное значение опыта национального строительства в СССР всесторонне раскрыты в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик» (от 19 февраля 1982 г.)¹. «Нынешний год — год 60-летия образования Союза Советских Социалистических Республик.

Это большой праздник нашей дорогой Родины, праздник дружбы народов.

Это — торжество ленинской национальной политики. И вместе с тем это хороший повод для подведения итогов, определения и уточнения задач на будущее. Готовясь встретить славный юбилей, мы вновь и вновь сверяем свои действия с ленинской программой строительства нового общества»².

Национальные проблемы, которые приходилось решать в ходе социалистических преобразований, чрезвычайно сложны. Тем значимей тот факт, что в первой стране победившего социализма в результате этих преобразований сложился невиданный прежде тип исторической общности людей — единый советский народ. Поэтому отмечаемый в 1982 г. шестидесятилетний юбилей создания Союза ССР по праву рассматривается как событие огромной важности в истории не только Советского многонационального государства, но и всего мирового социалистического содружества.

Закономерным следствием прогресса социализма, как в рамках многонационального государства, так и в особенности после создания мировой социалистической системы, явилось возникновение новых форм интернационального взаимодействия народов.

Инициатором создания единого многонационального Советского государства, его основой и цементирующей силой явился рабочий класс. Он первым в истории создал государство, олицетворяющее собой «действительно свободный и добровольный... союз трудящихся классов всех наций» страны³. Социалистическое государство стало в его руках рычагом коренного переустройства страны, преодоления навыков, привычек, оставшихся в наследство от буржуазного строя, выработки и утверждения новых норм жизни. Рабочий класс в содружестве с колхозным крестьянством и народной интеллигенцией является цементирующей силой новой исторической общности — советского многонационального народа.

В Постановлении подчеркнуто, что образование СССР является величайшей заслугой Ленинской партии большевиков, *«многонациональной по своему составу, глубоко интернационалистской по идеологии и политике, организационному строению, принципам деятельности»*. Неустанной защитой коренных интересов рабочего класса, широчайших масс, преданностью идеалам коммунизма, величайшим вниманием к национальным

¹ Коммунист, 1982, № 4 (далее ссылки на Постановление будут даваться в тексте).

² Брежнев Л. И. Заботу о людях труда, заботу о производстве — в центр внимания профсоюзов. Речь на XVII съезде профессиональных союзов СССР от 16 марта 1982 г., М.: Политиздат, 1982, с. 30.

³ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 223.

интересам и чувствам всех народов, непримиримостью к любым проявлениям буржуазного национализма, шовинизма и национального нигилизма партия завоевала высокое право быть вождем трудящихся всех наций и народностей страны. Последовательной теоретической, политической и организаторской работой партия воспитала у них твердую решимость к единению, мобилизовала их волю и силы на достижение общей цели — построение социализма и коммунизма. В дело социального и национального освобождения народов страны, подъема их экономики и культуры партия вложила свой неустанный труд, талант и душевное горение коммунистов, знания и организаторское искусство кадров» (стр. 4).

Создание Союза ССР — живое воплощение идей В. И. Ленина, разработанных им принципов национальной политики. Ленин обосновал необходимость объединения советских республик для успешного решения задач социалистического строительства, защиты Отечества от посягательств империализма. Основными принципами этого союза В. И. Ленин считал полное взаимное доверие, добровольное согласие, исключение любой формы неравенства в отношениях между нациями. Разработанные им идеи были претворены в жизнь.

Особую гордость всех советских людей вызывает то обстоятельство, что народы бывших колониальных окраин, обреченные прежде на вековую отсталость, уверенно шагнули в социализм и достигли вершин современной культуры. Л. И. Брежнев, выступая 24 марта 1982 г. в Ташкенте на торжественном заседании, посвященном вручению Узбекской ССР ордена Ленина, особо подчеркнул выдающиеся успехи республики в экономическом и культурном развитии. И действительно, в тесном союзе с братскими республиками Узбекистан достойно участвует в развитии и укреплении единого народнохозяйственного комплекса, вносит весомый вклад в национальное богатство Союза ССР. Узбекский народ самоотверженно трудится над выполнением решений XXVI съезда КПСС и уверенно идет к 60-летию образования СССР. «Именно потому, что Советский Узбекистан все время шел бок о бок, в неразрывном строю со всеми братскими народами СССР, он смог так быстро подняться из былой отсталости и превратиться во всесторонне развитую, процветающую республику, одно из самых передовых государств Востока», — отметил Л. И. Брежнев⁴.

И ныне речь уже идет не о помощи русского народа узбекскому, а об их взаимодействии в решении хозяйственных и социальных вопросов.

В период строительства социализма и коммунизма действуют, как известно, две взаимосвязанные прогрессивные тенденции в национальных отношениях: всестороннего развития и сближения наций. В сфере экономики они проявляются, с одной стороны, в комплексном развитии хозяйства республик; с другой — в углублении специализации и кооперации между ними. Обе тенденции действуют в неразрывном единстве. Каждая советская республика в своем развитии опирается на весь научно-технический потенциал страны, широко использует совокупный производственный опыт народов СССР. Уровень развития каждой из республик обеспечивается объединенным трудом всего советского народа.

Социалистическое разделение труда на основе специализации и интеграции экономики, расширение взаимного обмена кадрами между национальными республиками все больше усиливают и углубляют повседневное общение трудящихся различных национальностей во всех областях жизни, что ведет к интернационализации советского народа. Многонациональные коллективы высокой производственной культуры сложились практически во всех регионах страны, что способствует интеграционным процессам.

На XXVI съезде КПСС была отмечена настоятельная необходимость активней вовлекать население ряда республик, где имеется избыток рабочей силы, в освоение новых территорий страны, приобщать его к индустриальному труду, шире вести подготовку квалифицированных рабо-

⁴ Правда, 25 марта 1982 г., с. 1.

чих. Есть уже немало примеров того, как по-партийному, по-государственному решаются эти сложные проблемы. В нынешнем учебном году в профессионально-технические училища Горьковской, Ярославской, Тульской, Рязанской областей приехал двухтысячный отряд таджикской молодежи. Всего за одиннадцатую пятилетку республика планирует подготовить таким образом около 12 тыс. квалифицированных рабочих. Уже сейчас посланцы Таджикистана трудятся на БАМе, «Атоммаше», помогают строить Чебоксарский завод промышленных тракторов⁵.

Происходящее на основе такого углубления экономического сотрудничества народов возрастание многонациональности состава населения в ряде республик и областей является прогрессивным процессом. Одновременно идет интенсивный процесс хозяйственного развития каждой из республик. В 1980-е годы все они вступили с высокоразвитой экономикой и культурой. За 1976—1980 годы объем промышленного производства увеличился, например, в Белоруссии — на 42 процента, в Узбекистане — на 27, в Грузии — на 41, в Азербайджане — на 47, в Литве — на 17, в Молдавии — на 32, в Таджикистане — на 29, в Армении — на 46, в Эстонии — на 24 процента⁶. Как и всегда, наиболее масштабные и актуальные социально-экономические задачи решались объединенными усилиями разных республик.

В 1970-е годы ЦК КПСС и Советом Министров СССР приняты специальные постановления, предусматривающие расширение оросительных систем в Средней Азии, развитие оленеводства в районах Крайнего Севера, овцеводства в Киргизии, подъем экономики и культуры Абхазии, Тувы, Бурятии, охрану водных ресурсов озера Севан, наконец, огромной важности решение о развитии Нечерноземной зоны РСФСР. «...Даже простой перечень принятых в отчетный период постановлений и предусмотренных в них мер рельефно показывает, сколь широк и многообразен круг вопросов, которыми занимались ЦК КПСС и правительство, решая назревшие проблемы развития всех республик нашей страны, упорочения Союза ССР», — говорил на XXVI съезде КПСС Л. И. Брежнев⁷.

Существенное значение для укрепления интернационального единства народов СССР имеет дальнейшее сближение уровней экономического развития республик. Эта политика нашла отражение и в планах одиннадцатой пятилетки. В соответствии с ее особенностями определены масштабы и темпы дальнейшего выравнивания уровней экономического развития республик. Так, если производство промышленной продукции в целом по Союзу намечено увеличить на 26 процентов, то в ряде республик прирост будет несколько выше: в Белоруссии — на 28 процентов, в Азербайджане — на 30, в Узбекистане — на 30, в Армении и Грузии — на 31. Но это не значит, что все вопросы национальных отношений в сфере экономики уже решены. Развитие общества постоянно рождает новые и новые проблемы, требующие чуткого внимания партии.

Возьмем для примера Узбекистан. Можно ли считать нормальным, что в хлопковой республике не хватает хозяйственной ваты? Здесь ее производство обходится намного дешевле, так как в дело идут отходы хлопкоочистительного производства. Но оборудования у республиканской промышленности для этих целей нет, хотя оно не отличается ни сложностью, ни дороговизной. В свою очередь недостаток ваты не позволяет в широких масштабах налаживать изготовление одеял, матрацев, теплой одежды. Не решена и проблема переработки стеблей хлопчатника — сырья для производства картона, бумаги, строительных плит, кормовых дрожжей и т. д. Оборудование для соответствующих специализированных заводов никто не изготавливает⁸.

⁵ Рабочий класс Страны Советов. Передовая. — Правда, 5 марта 1982 г.

⁶ Великий союз равных. Передовая. — Правда, 15 марта 1982 г.

⁷ Материалы XXVI съезда КПСС. М.: Политиздат, 1981, с. 56.

⁸ См. Ахмедов К. Сталь и хрусталь. — Правда, 3 апреля 1982 г.

В Таджикской ССР за последнее десятилетие не удалось сбалансировать прирост трудовых ресурсов и рабочих мест. Количество последних росло медленнее. В результате усложнились проблемы трудоустройства, особенно молодежи⁹.

На современном этапе, когда интенсивные факторы определяют успех экономического роста, необходимо подходить к решению народнохозяйственных вопросов прежде всего с точки зрения интересов СССР в целом, повышения эффективности экономики всей страны. На XXVI съезде КПСС и в Постановлении о 60-лети образования СССР подчеркнута задача максимального использования материального и духовного потенциала каждой республики для гармонического развития Союза ССР. Этот потенциал образуют, прежде всего, трудящиеся с их квалификацией, опытом, умением и желанием работать на благо Родины. В современном производстве экономическое поведение людей образует своего рода «солнечное сплетение» социально-экономических проблем развития. Ведь в условиях научно-технической революции гораздо более жесткими стали требования к профессионально-квалификационным и личностным характеристикам работников. Последние же существенно зависят от национальных особенностей и трудовых традиций.

Основное направление решения проблемы трудовых ресурсов состоит в максимально полном использовании возможностей всех народов СССР с учетом трудовых навыков и традиций. Это требует знания особенностей образа жизни, уходящих своими корнями в далекое прошлое народов. В рамках национальных культур, как их важная составная часть, сложился своеобразный опыт трудовой деятельности. Если быть рачительными хозяевами, то целесообразно беречь и применять на деле ценные трудовые навыки, накопленные многими поколениями людей. В то же время необходимо и преобразование трудовых навыков и традиций, их обогащение. Сказанное означает, что нужны основательные исследования этнокультурных условий развития экономических процессов, в частности воспроизводства и использования трудовых ресурсов.

В Постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик» рассмотрены вопросы социального развития советского общества, прежде всего, совершенствования его социально-классовой структуры, ведущего к становлению бесклассовой структуры общества в исторических рамках зрелого социализма. Решающей силой этого процесса является рабочий класс.

В 1970-е годы вырос рабочий класс у всех наций и народностей СССР, но особенно заметно в тех республиках, где удельный вес его в структуре населения был ниже общесоюзного. Рост рядов рабочего класса за счет представителей коренной национальности способствует усилению социальной однородности многонационального населения республик. В республиках Средней Азии особое значение имеет наращивание мощностей действующих предприятий за счет строительства филиалов и цехов в малых городах, поселках городского типа, сельских районных центрах, располагающих избытком трудовых ресурсов.

СССР занимает передовые позиции в мировой науке и культуре. В этом огромная заслуга советской многонациональной интеллигенции. Крупные отряды инженерно-технической, научной, художественной интеллигенции, врачей, учителей за исторически короткий срок сложились во всех республиках. Их творческий потенциал огромен. Задача состоит в том, чтобы правильно использовать его. Условием повышения эффективности деятельности интеллигенции является внимательное, заботливое отношение к ней. И партия показывает пример такого отношения. В своей речи в Ташкенте Л. И. Брежнев сказал: «Вы справедливо храните и чтите великие традиции древней культуры, связанные с именами Ибн Сины, Навои, Улугбека или воплощенные в архитектурных памятниках Самарканда, Бухары, Хивы. Но этого было бы мало, если бы Вы не сумели обогатить свою культуру достижениями современной цивилиза-

⁹ Чижова Л. Эффективность использования трудовых ресурсов в народном хозяйстве. — Вопросы экономики, 1982, № 3, с. 153.

ции, духовными ценностями социализма, опытом других братских народов. Выросшая за годы Советской власти узбекская интеллигенция прославила свою республику и свой народ замечательными научными открытиями и инженерно-техническими достижениями, великолепными художественными творениями»¹⁰.

В Постановлении особо отмечено то обстоятельство, что образование СССР, установление отношений дружбы, доверия, взаимопомощи между народами придало гигантское ускорение духовному развитию общества. Социализм на основе ленинской культурной политики разрешил задачу всемирно-исторического значения — вооружить достижениями культуры каждого труженика, каждого члена общества независимо от социального положения и национальности. В стране созданы широкие возможности для расцвета культуры всех наций и народностей, для творческой деятельности масс в области науки и искусства. На благодатной почве зрелого социализма сформировалась и крепнет единая интернациональная культура советского народа. Она аккумулирует все общезначимое в достижениях и самобытных традициях национальных культур. Социалистическая по содержанию, интернациональная по духу и характеру советская культура стала великой силой идейно-нравственного сплочения наций и народностей СССР.

Социализм не ведет к утрате народами своего неповторимого лица, особенностей культуры, традиций. В социалистическом обществе роль традиций как общественного регулятора взаимоотношений членов общества остается значительной, хотя динамизм современной жизни и создает порой ошибочное впечатление, что роль эта не столь уж и существенна. Традиции и сегодня продолжают оставаться универсальным механизмом, который благодаря историческому отбору человеческого опыта, его сосредоточению и пространственно-временной трансмиссии позволяет обеспечивать устойчивое воспроизводство этносов¹¹. Они «регулируют все течение нашей жизни, от мало заметных мелочей быта и до важнейших общественных институтов»¹².

Прогрессивные и революционные традиции — фактор, положительно влияющий на сознательное участие советского человека в коммунистическом строительстве. В современных условиях, при сохранении национальных особенностей и традиций утвердился образ жизни, общий для всего советского народа, определяющий наиболее существенные, наиболее важные проявления жизнедеятельности людей, цементирующий их интернациональное содружество.

Укреплению новой исторической общности содействует распространение русского языка. Ныне в зрелом социалистическом обществе при наличии единого народнохозяйственного комплекса, в условиях теснейших экономических, научно-технических и культурных связей, «русский язык в силу жизненных потребностей различных наций и народностей вошел в общественную практику как язык межнационального общения»¹³.

Каждый человек дорожит передовыми традициями своей нации, ее достижениями. Но если естественное чувство любви, привязанности к своему народу замыкается в рамках только национального, заслоняет величественные горизонты созидаемого всеми нациями и народностями коммунистического будущего, то мы имеем дело не с подлинным патриотизмом, а с проявлениями национального эгоизма, национальной кичливости, против которых решительно выступает партия.

Ленинская теория национального вопроса и национальная политика получили дальнейшую глубокую разработку и конкретизацию в решени-

¹⁰ Правда, 25 марта 1982 г.

¹¹ Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции. — Сов. этнография, 1981, № 2; Минайлов В. И. Революционные традиции рабочего класса, их роль в социалистическом переустройстве общества. — Рабочий класс и современный мир, 1982, № 2.

¹² Токарев С. А. Обычай и обряды как объект этнографических исследований. — Сов. этнография, 1980, № 3, с. 30—31.

¹³ Федосеев П. Н. Новая социальная и интернациональная общность. — Правда, 9 апреля 1982 г.

ях съездов КПСС и пленумов ЦК партии, в новой Конституции СССР, в трудах Л. И. Брежнева. Важнейшие теоретические проблемы национальных отношений, процессы развития и сближения наций в условиях социализма стали предметом пристального внимания советских ученых, в том числе этнографов и этносоциологов. На основе проведенных исследований опубликованы фундаментальные коллективные и индивидуальные труды. Общественное признание итоговой работы советских этнографов «Современные этнические процессы в СССР» нашло выражение в присуждении коллективу авторов во главе с академиком Ю. В. Бромлеем Государственной премии СССР. Это обязывает этнографов усилить и углубить разработку актуальных проблем современности, чтобы делом ответить на высокую оценку Партией и Правительством их научной деятельности. Необходимо постоянно держать в поле зрения все процессы в области национальных отношений, глубоко изучать их, своевременно делать необходимые практические выводы.

Ленинская партия исходит из того, что реальность национальных отношений и на этапе зрелого социализма выдвигает свои проблемы. Одна из них — отношения между людьми разных национальностей в масштабах отдельных республик, отдельных местностей.

Состав населения союзных и автономных республик многонационален. Межнациональные, межэтнические связи составляют немаловажную сторону живых, развивающихся социальных структур, порождают специфические особенности в труде, быту и досуге людей. Постоянные изменения этнографической ситуации, широкое развитие многообразных форм непосредственного общения людей разных национальностей, усиление подвижности населения республик, миграционные процессы, явления естественной ассимиляции — все это характерно для национальных отношений как внутри республик, так и между ними. Все эти процессы неоднозначны по характеру и формам протекания. Они могут порождать порой и противоречивые, конфликтные ситуации. Ответственная задача ученых — своевременно изучать эти явления и процессы, обеспечивать научно-методическую базу для решения таких вопросов партийными и советскими органами.

В Постановлении отмечено увеличение в ряде республик за последние годы численности жителей некоренных национальностей, имеющих свои специфические запросы в области языка, культуры и быта. Решение возникающих в связи с этим практических задач определяет одно из важных направлений этнографических исследований — изучение специфики этнического развития групп некоренного населения, живущих в иноэтническом окружении. Столь же значимы и изыскания по проблемам этнического развития малых народов.

Ныне национальные особенности проявляются наиболее заметно в культуре и языке, национальном самосознании и национальных особенностях психологии, в быте, традициях, обычаях, другими словами, — в традиционных для исследовательской работы этнографа сторонах жизнедеятельности народов. Надо глубоко понять происходящие процессы, знать, к чему они ведут и как их направлять.

Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая ныне завершается важное исследование «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР» на примере Грузинской, Молдавской, Узбекской, Эстонской ССР и некоторых автономных республик и областей РСФСР. Полученные материалы красноречиво свидетельствуют, что советские нации приобрели множество общих черт, сходных элементов культуры и быта. Особенно наглядно этот сдвиг прослеживается на примере молодежи. Конкретные (этносоциологические прежде всего) исследования показывают, что существовавшие прежде различия в уровне и интенсивности потребления различных видов духовной культуры представителями разных национальностей уже почти полностью сглажены. Иначе говоря, социалистические нации не только имеют одинаково широкий доступ ко всем видам культуры, но и с равной активностью используют эти возможности. И главный вывод из этих ис-

следований тот, что люди разных национальностей разделяют общее мировоззрение, их объединяет общая цель — построение коммунизма.

Постановление вновь раскрывает особую значимость фундаментальных теоретических исследований. В этой связи существенна дальнейшая разработка советскими этнографами общей теории этноса, рассматриваемого в качестве сложной динамической системы. Сюда относятся и такие вопросы как определение места этносов среди других человеческих общностей, соотношение этноса и культуры, этноса и этнического самосознания, типологии этносов и этнических процессов.

Разработка в годы, прошедшие после 50-летнего юбилея образования СССР, теоретических вопросов, связанных с изучением различных аспектов теории этноса, дала возможность углубить представление о предмете этнографии, уточнить системные границы этнографии как науки, определить пути междисциплинарного взаимодействия с демографией, географией, социологией, антропологией и др. Совершенно очевидно, что целесообразно активизировать междисциплинарное сотрудничество, решать многие задачи, стоящие перед этнографической наукой, в союзе с другими научными дисциплинами.

Постановление ЦК КПСС о 60-летию образования СССР выдвигает в числе основных задач борьбу с национализмом — одним из главных средств в подрывной деятельности империализма против реального социализма. Советским этнографам следует усилить разработку тем, тесно связанных с задачами идеологической борьбы, уделять больше внимания научному разоблачению теории и практики современного расизма, всяческих попыток обоснования расизма на антропологических и этнографических материалах, а также критическому анализу зарубежных этнографических школ. Чрезвычайно важно при этом обеспечить публикацию таких работ советских этнографов на основных западноевропейских языках.

В свете Постановления ЦК КПСС о 60-летию образования СССР этнографическим учреждениям необходимо еще раз продумать вопрос о концентрации исследований на крупных, общественно-значимых проблемах, на направлениях, важных для теории и практики коммунистического строительства.

С. И. Брук, В. М. Кабузан

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И РАССЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЭТНОСА (1678—1917 гг.)

В изучении этнических и этнокультурных процессов за 60 лет существования Советского государства одно из главных мест занимает исследование движения численности народов и их расселения по территории страны. Однако такое исследование возможно лишь на базе достаточно ясного представления о том, как складывалось расселение народов к моменту победы Великой Октябрьской социалистической революции, как протекало их культурное взаимодействие, каковы были этнокультурные предпосылки последующего братского сотрудничества народов в рамках Союза Советских Социалистических Республик. Важнейшую роль в выявлении таких предпосылок играет анализ расселения по территории страны крупнейшего из ее народов — русского народа, внесшего неопределимый вклад в строительство социалистического общества.

Цель настоящей статьи — проследить, как на протяжении почти 2,5 столетий росла численность и изменялись ареалы расселения русского этноса, рассмотреть причины этих изменений: различный уровень естественного прироста в разных географических районах, миграцион-

и ассимиляционные процессы¹. Кроме того, мы пытаемся также определить примерную численность и удельный вес русских по крупным административным единицам и экономическим районам страны. Все расчеты даются в границах Российской империи конца XIX в.

Русский народ на протяжении ряда веков составлял основное ядро многонационального Русского государства. Русские всегда играли ведущую роль в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Русские помогли ранее отсталым народам поднять свой материальный и культурный уровень. Русские крестьяне и ремесленники переносили на отсталые окраины свои производственные навыки, создавали здесь новые города, способствовали развитию промышленности и формированию местного пролетариата, несмотря, а нередко и вопреки колонизаторской политике царского правительства. Русский язык уже в дореволюционный период начал превращаться, а в советское время стал вторым родным языком для многих народов СССР.

По своему происхождению русские связаны с восточнославянскими племенами, которые во второй половине I тысячелетия до н. э. занимали значительную часть нынешней территории Европейской части СССР; в их формировании принял участие и ряд неславянских, преимущественно угро-финских и балтийских народов этого региона (мещера, голядь, весь, чудь и др.).

В IX в. в Восточной Европе сформировалось Древнерусское государство (Киевская Русь); в его составе в IX—XIII вв. из различных славянских племен сложилась единая древнерусская народность, на основе которой после распада Древнерусского государства стали формироваться три родственные восточнославянские народности — русская, украинская и белорусская. Русская народность складывалась в XIV—XV вв. в области Великого Новгорода (Озерный район) и Волго-Окского междуречья (будущие Центрально-Промышленный и Северный районы) в процессе длительной и ожесточенной борьбы против ордынского ига. С начала XIV в. происходит постепенное возвышение Москвы и сплочение вокруг нее населения северо-востока и севера Руси. Однонациональное в своей основе Великое княжество Московское, объединив соседние с ним русские земли, стало расширять свои границы за пределы русской этнической территории. К началу XV в. к нему была присоединена северо-западная часть Северного Поволжья, населенная мордвой и марийцами. Во второй половине XV в. в состав Московской Руси вошли земли (ранее находившиеся в сфере влияния Новгорода), заселенные карелами и коми; в это же время в результате продвижения на юго-запад — в Приднепровье — в состав государства включаются некоторые украинские земли.

С образованием Русского централизованного государства происходит непрерывное расширение этнической территории русского этноса преимущественно за счет слабозаселенных восточных, северных и южных районов. Особенно значительно расширились границы Русского государства в XVI—XVII вв., когда в состав его были включены территории Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. Русские начинают заселение и хозяйственное освоение Среднего и Нижнего Поволжья, Северного и Южного Приуралья, Северного Кавказа и Сибири. Несмотря на вхождение в состав государства сравнительно многочисленных народов Поволжья — татар, башкир, ногайцев и др., русские в последней четверти XVII в. составляли почти $\frac{3}{4}$ всего населения страны (в существовавших тогда границах)².

В XVIII—XX вв. границы Российской империи еще более расширяются. В XVIII в. в ее состав вошли Прибалтика, Крымское ханство, Белоруссия и Литва, Правобережная Украина и большая часть Ново-

¹ Динамика численности и расселения русских после Великой Октябрьской социалистической революции будут охарактеризованы в следующем номере журнала.

² По данным I ревизии 1719 г. русские в тогдашних границах России составляли 70,7% населения страны. См. Брук С. И., Кабузан В. М. Этнический состав населения России (1719—1917 гг.). — Сов. этнография, 1980, № 6, с. 26 (табл. 2).

россии, а в XIX в.— Финляндия, Бессарабия, Царство Польское, Закавказье и Средняя Азия, был возвращен временно утраченный в XVII в. Дальний Восток.

Все это привело к расширению территории, занимаемой русским этносом, и к уменьшению доли его в общем населении страны. Совместно с украинцами и другими народами русские заселяют Казахстан, Новороссию, отдельные территории Закавказья. Появляется сравнительно немногочисленное русское население в Царстве Польском, Белоруссии, Правобережной Украине, Финляндии, Средней Азии. Однако на эти земли, имевшие свое довольно густое собственное население, не было значительных миграций из центральных русских губерний. Здесь расселялись преимущественно русские чиновники, военнослужащие, старообрядцы (последние в основном в Белоруссии). В целом же русские поселения возникли в самых отдаленных районах страны — на берегах Баренцева, Белого и других морей Северного Ледовитого океана, на побережье Тихого океана, в долинах Средней Азии и Кавказа.

С созданием централизованного государства, зарождением и развитием капитализма и по мере формирования всероссийского рынка русская народность консолидируется в буржуазную нацию. После Великой Октябрьской социалистической революции с ликвидацией капитализма и победой социализма сложилась нация нового типа — социалистическая русская нация, которая вместе с другими социалистическими нациями и народностями СССР образовала новую историческую общность — советский народ.

До Октябрьской революции русский этнос размещался почти исключительно на территории Русского государства (с XVIII в. — Российская империя). Лишь отдельные группы старообрядцев поселились в конце XVII—XVIII в. на территории Австро-Венгрии (главным образом на Буковине) и Османской империи (в Добрудже). В 1831 г. небольшое число русских старообрядцев осело в Восточной Пруссии, но к 1870-м годам большая их часть вернулась в Россию³. С 1828 по 1856 г. в устье Дуная, принадлежавшем тогда России, также осело значительное число старообрядцев. По переписи 1859 г., здесь было учтено 8,5 тыс. так называемых липован (по имени одного из руководителей религиозной секты — Филиппа)⁴.

С конца XIX в. возникает переселенческое движение русских в Америку (в США, Канаду, Бразилию, Аргентину, Уругвай) и Австралию, однако по своим масштабам оно сильно уступало польскому, украинскому или литовскому. Всего за пределами России в 1917 г. жило не более 1% всех русских. При этом следует иметь в виду, что часть украинских и белорусских переселенцев в Америке и Австралии относилась к русским.

Определение численности и ареалов расселения русского этноса в до-революционный период — одна из наименее изученных проблем отечественной этнической статистики. Историография располагает небольшим числом работ, посвященных этой проблеме, но и в них движение русского населения прослеживается лишь за ограниченные хронологические периоды и, как правило, по отдельным регионам⁵. Наибольший интерес представляют специальные исследования А. Ф. Риттиха, в которых по

³ Кузнецов Ю. П. Сообщение о старообрядцах в Пруссии. — Известия Русского географического общества. СПб., 1872, т. VIII, с. 222.

⁴ Мошкин Н. Придунайская Болгария. — Славянский сборник. СПб., 1877, с. 353.

⁵ Риттих А. Ф. Племенной состав контингентов русской армии и мужского населения Европейской России. СПб., 1875; его же. Этнографическая карта Европейской России. СПб., 1875; Кабузан В. М. Изменения в удельном весе и территориальном размещении русского населения России в XVIII — первой половине XIX века. — В кн.: Проблемы исторической демографии. СССР. Сб. статей. Таллин: Изд-во АН ЭССР, 1977, с. 186—197; Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII — начале XIX в. Омск, 1973; Ковальченко И. Д. Русские крепостные крестьяне в первой половине XIX в. М.: Изд-во МГУ, 1967; Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма (конец XIX в. — 1917 г.). — История СССР, 1980, № 3, с. 77—80; их же. Этнический состав населения России (1719—1917 гг.), с. 23—28; Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М.: Наука, 1981.

материалам полицейского исчисления 1867 г. рассмотрены численность и поузездное размещение русского и других этносов империи. В этнодемографических трудах виднейшего русского статистика и картографа акад. П. И. Кеппена нет сведений о русских, хотя они собирались им в ходе выявления материалов для составления первой в истории России этнографической карты страны⁶.

В 1970-х годах авторы настоящей статьи опубликовали ряд работ, в которых рассматривался этнический состав населения России в XVIII—начале XX в., однако русскому этносу в них уделялось недостаточное внимание.

Между тем для разработки проблемы этнической статистики русского населения имеются исключительно богатые и разнообразные источники.

Первые несовершенные попытки учета населения в России предпринимаются с конца XV в. До середины XVII в. население регистрировалось в так называемых писцовых описаниях. Самыми ценными из общерусских описаний, по которым сохранилось наибольшее число писцовых книг, были описания 80—90-х годов XVI в. и 20-х годов XVII в. Сведения о численности и составе населения страны, содержащиеся в писцовых книгах, весьма неполны, так как в них обычно учитывались только владельцы тягловых дворов (поэтому о многих категориях населения — представителях высших слоев, половниках, задворных и деловых людях и т. д. — данных вообще нет).

С середины XVII в. по 1717 г. жители России учитывались общегосударственными подворными переписями (1646, 1678—1679 гг., 1710 и 1715—1717 гг.). Результаты подворных переписей зафиксированы в переписных книгах, в которых по сословию учтено все мужское население (в начале XVIII в. — и женское) тягловых дворов и ряд его неподатных категорий (податное: дворы посадских жителей и различных групп крестьянства; неподатное: разночинцы и служилые люди по «прибору»).

Анализ сведений писцового и подворного учетов населения России проведен Я. Е. Водарским⁷. Мы считаем, что расчеты автора на 70-е годы XVII в. — начальная дата нашего исследования — в целом верно отражают основные тенденции демографических процессов (правда, принимаемая им общая численность населения страны, вероятно, занижена процентов на 15—20). Расчеты эти, в частности, свидетельствуют о том, что в середине XVII в. большая часть русского этноса обитала в районах его формирования (Центрально-Промышленный, Северный и Озерный регионы, Смоленская земля Белорусско-Литовского региона, часть Центрально-Земледельческого региона), хотя уже полным ходом шло освоение Среднего Поволжья, большей части Центрально-Земледельческого региона и Северного Приуралья. Остальные регионы еще или не были освоены, или только начали заселяться (Новороссия, Сибирь⁸ и др.).

С 1719 г. на смену подворным переписям приходят ревизии, которые учитывали подавляющее большинство (до 98%) жителей страны (I, II и VI ревизии фиксировали только лиц мужского пола). Население территорий, вошедших в состав России в XIX в., учитывалось специальными церковными или полицейскими исчислениями (камеральные описания, кибиточные переписи и т. д.). Так регистрировались жители Польши, Финляндии, Закавказья, Казахстана.

С 30-х годов XIX в. в России предпринимаются попытки организации административно-полицейского учета всего населения, и с 1858 г. этот учет сменяет ревизии. Если писцовыми описаниями, подворными пере-

⁶ Кеппен П. И. Этнографическая карта Европейской России. Спб., 1851, *его же*. Об этнографической карте Европейской России. Спб., 1852.

⁷ Водарский Я. Е. Население России за 400 лет (XVI — начало XX в.). М.: Просвещение, 1973; *его же*. Население России в конце XVII — начале XVIII века. М.: Наука, 1977.

⁸ Коренное население Сибири было настолько немногочисленным, что русские, несмотря на слабое еще развитие миграционных процессов, составили в последней четверти XVII в. уже более половины населения края.

писания и ревизиями регистрировалось только так называемое приписанное население, т. е. приписанное к определенному пункту для уплаты податей, то текущий полицейский учет фиксировал все наличное население на конец года. Это позволило точнее определять размещение жителей на территории страны, в первую очередь в городах. Текущий полицейский учет просуществовал до 1917 г.

Кроме того, во второй половине XIX в. в отдельных частях империи (Прибалтика, Костромская и Иркутская губернии и др.) и в наиболее крупных городах (Москва, Петербург, Варшава, Одесса и др.) проводились однодневные научно организованные переписи, а в 1897 г. была проведена общероссийская однодневная перепись населения (кроме Финляндии). В 1916 г. была осуществлена перепись сельского, а в 1917 г. — сельского и городского населения. Все переписи фиксировали как наличное, так и постоянное население страны (в 1917 г. — «обычное население»)⁹.

В XVIII в. ревизии (I—V, 1719—1795 гг.), как правило, фиксировали отдельно различные народности страны. Ревизии XIX в. (VI—X, 1811—1858 гг.) постепенно перестали отмечать этническую принадлежность жителей. Начиная с 1840-х годов в губернаторских отчетах (составляемых на основе текущего полицейского учета) регистрировалось нерусское население (в графах «инородцы» и «иноверцы») ¹⁰. Церковный учет в России с 1737 г. фиксировал только вероисповедную принадлежность жителей (поэтому украинцы, русские и белорусы, а также ряд других народностей империи попадали в общую графу «православное население»). В середине XIX в. по инициативе П. И. Кеппена приходскими священниками по всей империи были собраны сведения об этническом составе и вероисповедании жителей (по состоянию на 1857—1858 гг.), включая и русских ¹¹. Они заменили весьма неполные данные об этнической принадлежности, содержащиеся в ревизиях и полицейских исчислениях первой половины XIX в.

Во второй половине XIX—начале XX в. этническая принадлежность населения фиксировалась текущим учетом 1867 г., переписями 1897 и отчасти 1916—1917 гг., а также годовыми отчетами губернаторов ¹².

Взятые за большой хронологический период все указанные источники позволяют не только определить численность и удельный вес русских на разные даты с 1678 по 1917 г., но и выявить существенные изменения в темпах их естественного прироста и размещении. Для получения более точной картины необходимо привлечь еще данные церковной статистики о рождаемости и смертности православного населения, а также сведения ревизий, полицейского учета и переписи 1897 г. о размерах внутренней и внешней миграции.

Обобщенные результаты наших исследований приведены в табл. 1—3.

За рассматриваемый период (239 лет) население страны (в сопоставимых границах конца XIX в.) увеличилось в 8,6 раза, численность же русских возросла в 9,4 раза. Их доля в населении страны повысилась с 40,6% в 1678 г. до 44,6% в 1917 г. Еще большие изменения произошли в размещении русских. Если в начальный период исследования в четырех исконно русских регионах — Центрально-Промышленном, Цент-

⁹ Характеристику этих учетов см.: *Кабузан В. М.* Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М.: Наука, 1963, с. 46—94; *его же.* Изменения в удельном весе и территориальном размещении русского населения России в XVIII — первой половине XIX века, с. 186—188; *Брук С. И., Кабузан В. М.* Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма..., с. 74—85.

¹⁰ Анализ источников об этническом составе населения России XVIII — первой половины XIX в. см.: *Кабузан В. М.* Источники для составления карт этнического состава населения России XVIII в. — первой половины XIX в. — В кн.: Историческая география России. Вопросы географии. Сб. 83. М.: Мысль, 1970, с. 126—132; *его же.* Изменения в удельном весе и территориальном размещении русского населения России в XVIII — первой половине XIX в., с. 186—188.

¹¹ Архив АН СССР (Ленинградское отделение), ф. 30, оп. 2, д. 2—84.

¹² Характеристику источников и литературы за 1897—1917 гг. см.: *Брук С. И., Кабузан В. М.* Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма..., с. 74—80.

**Изменения численности и удельного веса русского населения Российской империи
в 1678—1917 гг. (в границах конца XIX в.) ***

Вид и год учета населения	Численность, тыс. человек		Доля русских в общем насе- лении, %	Среднегодовой прирост, %	
	всего населения	русских		всего населения	русских
Подворный учет 1678 г.	20 000	8 120	40,6	7,5	7,7
I ревизия 1719 г.	27 180	11 128	40,9	6,7	7,7
IV ревизия 1782 г.	40 261	18 082	44,9	11,0	8,2
V ревизия 1795 г.	46 587	20 118	43,2	9,3	9,1
VIII ревизия 1834 г.	66 731	28 644	42,9	7,9	8,2
X ревизия 1858 г.	80 499	34 821	43,3	12,0	12,1
Перепись 1897 г.	128 203	55 765	43,5	14,7	16,0
Перепись 1916— 1917 гг.	171 750	76 676	44,6		
1678—1917 гг.	—	—	—	9,1	9,5

* При пользовании табл. 1—3 надо иметь в виду следующее.

1. Общую численность населения на 1678 г. мы смогли определить весьма приблизительно, так как существовавший в XVII в. подворный учет был неточен и не распространялся на всю территорию страны. Размещение населения и его численность по основным территориям России на этот год были исследованы Водарским (*Водарский Я. Е. Население России за 400 лет...*, с. 27—51). В существовавших тогда границах он определил число жителей страны в 10,5 млн. человек. Несколько более высокую цифру (11,5 млн. человек) указывает Урланис (*Урланис Б. Ц. Рост населения в Европе. М., 1941, с. 181—194*), который полнее учел жителей окраин (Прибалтики, Земли Войска Донского и др.). В своих расчетах мы взяли за основу цифру Урланиса, но при районном анализе и установлении доли русских приняли подсчеты Водарского. Выявляя общую численность населения страны в границах конца XIX в., мы учли соотношение 1719 г., по которому 42,5% жителей было расселено за пределами существовавших тогда границ (примерно такое соотношение характерно и для более позднего времени).

2. Данные на 1719—1917 гг. определены нами по материалам 10 ревизий, проведенных с 1719 по 1858 г., и переписей населения 1897 и 1916—1917 гг. (источники см. в работах: *Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма...*, с. 74—83; *их же. Этнический состав населения России...*, с. 18—34).

3. При определении этнического состава в XVIII — первой половине XIX в. ревизский учет ориентировался на происхождение и язык населения, отдавая предпочтение происхождению. В дальнейшем, начиная с исчисления 1867 г., а также в переписях населения 1897 и 1916—1917 гг. учитывался родной язык. Однако опыт показывает, что при отсутствии в переписных анкетах других этнических определителей показатель «родной язык» довольно точно отражает этническую принадлежность населения (сами устроители переписи указывали, что в 1897 г. переписываемое население нередко понятие «родной язык» ассоциировало со своей этнической принадлежностью — см. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. В. X — Смоленская губерния, 1904, с. XVI). Это подтверждается и материалами переписи населения СССР 1926 г., в которой уже имеются два этнических определителя — «народность» и «родной язык», но с показателем дореволюционных переписей коррелируется первый определитель. Таким образом, с достаточной степенью достоверности мы можем сравнивать данные дореволюционного периода об этническом составе населения страны независимо от того, какие показатели были положены в основу определения этого состава. Некоторое исключение составят лишь последние десятилетия рассматриваемого периода, когда ассимиляционные процессы стали усиливаться. Именно поэтому В. И. Ленин, проанализировав материалы учета национального состава населения Петербургского учебного округа (1911 г.), отмечал, что применяемый с этой целью показатель родного языка по существу позволил чиновникам зависить число русских, присоединяя к ним людей с малорусским и белорусским языками (*Ленин В. И. Полн. собр. соч.*, т. 24, с. 195).

рально-Земледельческом, Северном и Озерном — было сосредоточено подавляющее большинство русского населения страны ($\frac{9}{10}$), то к 1917 г. — менее половины его. Главные причины всех этих изменений — неодинаковый уровень естественного прироста у разных народов России, развитые миграционные процессы, связанные преимущественно с освоением новых территорий, ассимиляционные процессы, которые, однако, стали оказывать существенное влияние на численность народов лишь в последние десятилетия рассматриваемого периода.

На основной территории расселения русских в конце XVII — начале XX в. отмечаются пониженные темпы естественного прироста населения (в целом по империи в XVIII в. наблюдался умеренный, но более высокий чем у русских прирост). В границах 1719 г. среднегодовой прирост населения в России составил в период с I по II ревизию 0,67%, со II по III — 0,94, с III по IV — 1,02, с IV по V — 0,61%¹³. Однако в районах преимущественного расселения русских он был гораздо ниже (в Центрально-Промышленном районе — соответственно 0,10%; 0,47; 0,72; 0,26%; Северном — 0,07, 0,56; 0,72; 0,36%; Озерном — 0,92; 0,21; 0,92 и 0,42%), чем в районах, где доля других народностей была сравнительно высокой. И хотя на показатели общего прироста определенное влияние оказывали миграции, уровень естественного прироста в центре и на севере страны, бесспорно, оказался ниже, чем в других районах.

В первой половине XIX в. (исключая период 1821—1830 гг.) показатели среднегодового естественного прироста в России неуклонно падали (в 1801—1810 гг. — 1,66%, 1811—1820 гг. — 1,35; 1821—1830 гг. — 1,52; 1831—1840 гг. — 1,20; в 1841—1850 гг. — 1,03%)¹⁴. В целом показатели прироста были самыми высокими в начале XIX в. В 1811—1820 гг. они заметно понижаются (в значительной мере это связано с Отечественной войной 1812 г.). В 20-е годы отмечается последний заметный подъем, хотя уровень начала XIX в. так и не был достигнут. В 30—40-е годы XIX в. показатели естественного прироста резко снижаются. В 1841—1850 гг. вследствие эпидемии холеры, унесшей около 1 млн. человек, они составили всего 1,03% — величину, до уровня которой не опускался естественный прирост за всю историю существования организованного церковного учета в России.

Церковная статистика убедительно свидетельствует о том, что естественный прирост в первой половине XIX в. был самым высоким на окраинах, населенных в основном нерусскими народностями, где крепостничество не пустило глубоких корней и где природно-климатические условия были более благоприятны для жизни. В 40—60-х годах XIX в., когда в стране был организован учет движения населения всех вероисповеданий, среднегодовой естественный прирост составил в Новороссии 1,56%, в Нижнем Поволжье и Южном Приуралье — 1,74, в Северном Приуралье — 1,50, в Среднем Поволжье — 1,24, в Центрально-Земледельческом регионе — 1,33%, т. е. был в 2—3 раза выше, чем в регионах преимущественного проживания русских (Озерный район — 0,38%, Центрально-Промышленный — 0,75%, Северный — 0,96%)¹⁵.

Рассмотрим в качестве примера Озерный регион — один из основных районов формирования русского этноса. В 1678 г. в нем было сосредоточено 11,1% русских империи (в границах конца XIX в.), а в 1917 г. — лишь 7,3%. Определяющую роль в общем движении населения района играл пониженный естественный прирост. В особенно тяжелом положении находилась Петербургская губерния. За период с 1804 по 1849 г. среднегодовая смертность здесь в течение 30 лет превышала рождаемость, а в остальные 15 лет естественный прирост был незначи-

¹³ Кабузан В. М. Народонаселение России в XVIII — первой половине XIX в., с. 164—165.

¹⁴ Покровский В. И. Влияние колебания урожая и хлебных цен на естественное движение населения. — В кн.: Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства. Спб., 1897, с. 182.

¹⁵ Яцунский В. К. Изменения в размещении населения в Европейской России в 1724—1916 гг. — История СССР, 1957, № 1, с. 205.

телен¹⁶. Очень высокой была смертность в 1808 г. (на 100 умерших приходилось только 42 родившихся), в 1811 г. (63 родившихся), в 1848 г. (65 родившихся) и в 1840 г. (68 родившихся). В других губерниях региона ситуация была более благоприятной, но в целом показатели естественного прироста были невысоки.

В Южном Приуралье показатели естественного прироста, напротив, были очень высоки, чему способствовали небольшой удельный вес крепостного населения и наличие плодородных массивов неосвоенных земель. С 1804 по 1849 г. в течение 13 лет здесь на 100 умерших приходилось более 200 родившихся, а в остальные годы — более 150. Этот регион не испытал влияния Отечественной войны 1812 г., холерной эпидемии 30-х годов XIX в., а эпидемия конца 40-х годов XIX в. коснулась его сравнительно умеренно.

С 60-х годов XIX в. показатели естественного прироста в стране неуклонно возрастают, достигнув максимума в 1897—1906 гг., и лишь первая мировая война резко ухудшила демографическую ситуацию в Европейской части России¹⁷. Отмена крепостного права и первые успехи медицины способствовали некоторому повышению жизненного уровня и росту темпов естественного прироста, прежде всего за счет снижения смертности. Характерно, однако, что естественный прирост по-прежнему оказался пониженным в исконных великорусских регионах (Центрально-Промышленный, Озерный, Северный). На уровень естественного прироста здесь большое влияние оказывали пережитки крепостничества, неблагоприятные природно-климатические условия и, как следствие этого, — огромные размеры отходничества: сотни тысяч людей, главным образом мужчин производительных возрастов, надолго уходили из родных мест на заработки.

Пониженный уровень естественного прироста в регионах преимущественного расселения русского этноса, казалось бы, должен был снижать его удельный вес в населении империи. Однако этого не произошло. Как показывает табл. 2, в границах империи конца XIX в. удельный вес русских с 1678 по 1917 г. вырос на 4%. До 80-х годов XVIII в. он последовательно повышался, а затем начал постепенно понижаться (до 42,9% в 1834 г.), так как уровень естественного прироста в центральных русских губерниях был понижен, а другие тенденции (ассимиляционные процессы) действовали еще слабо. И лишь со второй половины XIX в. начинается новый период роста удельного веса русских в стране (1858 г.—43,4%; 1897 г.—43,5%; 1917 г.—44,6%). Одновременно русское население из регионов своего исконного обитания распространилось буквально на все части империи.

На изменение удельного веса и расширение ареалов расселения русского населения наряду с естественным приростом большое влияние оказывали миграционные и ассимиляционные процессы.

Социально-экономическое развитие страны привело к сильному территориальному смещению национальностей. В первую очередь это проявилось в заселении русскими (и в значительно меньшей степени — украинцами и другими народами) слабо развитых в хозяйственном отношении и редко заселенных южных, юго-восточных и восточных районов империи. Первоначально переселения на новые места осуществлялись независимо, а нередко и вопреки интересам правящих кругов, так как господствующие классы лишались дешевой рабочей силы. Царское правительство еще в XVIII в. в какой-то мере было вынуждено учитывать настроения и интересы народных масс и легализовывать реально протекающие миграции. Его роль в организации переселений возрастает с начала XIX в., хотя и тогда государственный аппарат чаще выступал в качестве регистратора событий. Только с последних десятилетий XIX в. он регулирует переселенческое движение, пытаясь использовать

¹⁶ Корсаков С. Движение православного населения в России с 1804 по 1849 год. — Вестник русского географического общества. Спб., 1852, кн. 2, с. 180.

¹⁷ См. Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма., с. 81 (табл. 2).

Таблица 2

Численность и расселение русских по регионам Российской империи в границах конца XIX в. (в тыс. человек и процентах к населению каждого региона)

Регион	Учет 1678 г.		I ревизия 1719 г.		IV ревизия 1782 г.		V ревизия 1795 г.		VIII ревизия 1834 г.		X ревизия 1858 г.		Перепись 1897 г.		Перепись 1916—1917 гг.	
	число	%	число	%	число	%	число	%	число	%	число	%	число	%	число	%
Европейская Россия	7966	39,8	10 801	45,6	17 372	49,1	19 188	47,9	26 659	47,9	32 107	48,1	48 876	46,4	64 485	46,8
Центрально-Промышленный	3880	97,0	4 535	97,7	5 795	96,5	6 106	96,2	7 428	96,0	8 204	95,4	10 573	97,1	13 855	97,8
Центрально-Земледельческий	1700	93,4	2 805	90,6	4 726	87,9	5 241	87,4	7 420	87,6	8 560	86,8	11 216	87,3	14 382	86,8
Северный	644	92,0	515	92,0	689	90,9	739	91,3	900	90,8	1 105	90,1	1 521	90,1	2 006	89,8
Озерный	900	90,0	1 051	89,4	1 830	92,0	1 916	92,1	2 399	88,7	2 883	88,4	4 406	88,7	5 628	90,9
Среднее Поволжье	462	51,3	935	59,7	1 343	64,8	1 414	63,2	1 974	62,6	2 425	62,8	3 091	59,8	3 918	59,7
Нижнее Поволжье	—	—	100	33,0	576	62,4	899	66,7	1 883	68,2	2 463	67,5	4 032	65,4	5 553	65,5
Северное Приуралье	270	90,0*	561	90,8	1 412	84,5	1 626	84,0	2 572	84,8	3 553	85,1	5 052	83,9	6 101	83,2
Южное Приуралье	—	—	19	10,5	183	40,9	253	40,2	553	43,4	967	47,5	1 966	51,8	3 007	54,3
Белоруссия и Литва	83	4,0	165	4,5	433	9,4	493	9,5	607	9,9	645	9,9	1 961	16,9	3 510	23,6
Прибалтика	—	—	3	0,3	13	1,2	13	1,1	49	3,2	63	3,6	114	4,8	180	6,3
Левобережная Украина	—	—	40	2,2	178	5,4	175	5,2	209	4,9	301	6,1	1 010	13,3	1 249	12,8
Правобережная Украина	—	—	—	—	***	—	4	0,1	15	0,3	33	0,6	413	4,3	426	3,4
Новороссия	27*	6,7	72	15,6	193	22,2	308	19,1	614	18,1	1 063	21,6	3 213	29,8	4 496	30,7
Царство Польское	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0,1	6	0,1	298	3,2	167	1,3
Финляндия	—	—	—	—	1	—	1	—	31	2,2	36	2,1	10	0,4	7	0,3
Северный Кавказ	—	—	4	0,7	17	2,5	111	6,9	279	13,2	373	16,9	1 608	42,5	2 744	46,9
Закавказье	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0,2	32	1,0	261	4,7	474	6,3
Средняя Азия и Казахстан	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	1,0	588	7,6	1 548	14,3
Сибирь и Дальний Восток	154	51,8	323	66,9	693	67,6	819	68,9	1 702	73,8	2 259	74,1	4 432	76,9	7 425	77,6
По империи в целом	8120	40,6	11 128	40,9	18 082	44,9	20 118	43,2	28 644	42,9	34 821	43,3	55 765	43,5	76 676	44,6

* Пронштейн А. П. Земля Донская в XVIII веке. Ростов-на-Дону, 1961. с. 71.

** Здесь и в дальнейшем означает менее 1 тыс. чел., или менее 0,1%.

Размещение русского населения по крупным регионам Российской империи
(в процентах ко всем русским в границах России конца XIX в.)

Регион	Учет 1678 г.	I ревизия 1719 г.	IV ревизия 1782 г.	V ревизия 1795 г.	VII ревизия 1815 г.	VIII ревизия 1834 г.	IX ревизия 1850 г.	X ревизия 1858 г.	Перепись 1897 г.	Перепись 1916—1917 гг.
Европейская Россия	98,1	97,1	96,1	95,3	93,6	93,1	92,6	92,2	87,6	84,1
Центрально-Промышленный	47,8	40,8	32,0	30,3	27,7	25,9	24,6	23,6	19,0	18,1
Центрально-Земледельческий	20,9	25,2	26,2	26,1	26,3	25,9	24,4	24,6	20,1	18,8
Северный	8,0	4,6	3,9	3,6	3,3	3,2	3,2	3,2	2,7	2,6
Озерный	11,1	9,4	10,1	9,5	9,6	8,4	7,9	7,7	7,9	7,3
Среднее Поволжье	5,7	8,4	7,4	7,0	6,8	6,9	7,0	7,0	5,5	5,1
Нижнее Поволжье	—	0,9	3,2	4,5	5,1	6,7	6,6	7,1	7,2	7,2
Северное Приуралье	3,3	5,0	7,8	8,1	8,5	9,0	10,1	10,2	9,2	8,0
Южное Приуралье	—	0,2	0,9	1,3	1,5	1,9	3,1	2,8	3,5	3,9
Белоруссия и Литва	1,0	1,5	2,4	2,4	2,2	2,1	2,0	1,8	3,5	4,6
Прибалтика	—	...	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Левобережная Украина	—	0,4	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,9	1,8	1,6
Правобережная Украина	—	—	0,1	0,1	0,7	0,6
Новороссия	0,3	0,7	1,2	1,5	1,7	2,1	2,5	3,0	5,8	5,9
Царство Польское	—	—	—	—	—	...	0,2	...	0,5	0,2
Финляндия	—	0,1	0,1	0,1
Северный Кавказ	—	...	0,1	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	2,9	3,6
Закавказье	—	—	—	—	0,1	0,5	0,6
Средняя Азия и Казахстан	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	1,1	2,0
Сибирь и Дальний Восток	1,9	2,9	3,8	4,1	5,7	6,0	6,3	6,5	7,9	9,7
По империи в целом	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

его для спасения помещичьего землевладения и существующего строя.

Для 20—70-х годов XVIII в. можно лишь в общих чертах определить число мигрантов и направления переселенческого движения. Основными районами оттока жителей являлись преимущественно населенные русскими Центрально-Промышленный и Северный регионы, северные и центральные части Центрально-Земледельческого региона, Озерный регион и населенная в основном украинцами Левобережная Украина. Население уходило в первую очередь в южные части Центрально-Земледельческого региона, на Среднее и Нижнее Поволжье и в Южное Приуралье. Так, из Московской губернии в границах до административной реформы 1775—1785 гг. (Центрально-Промышленный и северная часть Центрально-Земледельческого региона) в 1719—1744 гг. бежало и легально выселилось более 350 тыс. человек (переселилось 215,6 тыс., а бежало — 135,7 тыс.)¹⁸.

За счет миграции быстро растет население окраин. Число жителей Саратовской губернии Нижнего Поволжья с I по II ревизию, например, увеличилось на 65,8% при среднем по стране росте в 16,2%. При этом в Саратовском уезде прирост составил 74,9%, в Дмитриевском — 53,3, в Петровском — 143,6%.

Остановимся подробнее на Южном Приуралье. До XVIII в. этот регион (будущие Оренбургская и Уфимская губернии) заселялся слабо, русское население здесь почти отсутствовало. В первой четверти XVIII в. приток сюда беглого люда возрастает. В 1720—1722 гг. башкиры возвратили царским властям около 20 тыс. беглых, поселившихся в Башкирии

¹⁸ ЦГАДА, ф. 248, оп. 22, д. 10/1626, лл. 69—114.

в течение первых двух десятилетий XVIII в.¹⁹ Тем не менее это не прекратило притока новых мигрантов.

Сохранились данные о численности и национальном составе переселенцев, прибывших в Южное Приуралье в 1744—1781 гг. (между II и IV ревизиями). За это время здесь осело свыше 155 тыс. человек²⁰. Это были преимущественно государственные крестьяне, среди которых находились представители многих народов России. На долю русских приходилось около 46% мигрантов. Численно они превосходили любую другую народность, но в целом дали менее половины всех новоселов. Характерно, что русские переселенцы численно преобладали в 40—50-х годах (57% мигрантов). В 1763—1781 гг. их доля, однако, резко снизилась (29%). В этот период 49% всех переселенцев дали татары с тептярями и бобылями.

Заселялось Южное Приуралье, в основном за счет соседней Казанской губернии (в 20—70-х годах XVIII в. — Среднее Поволжье и Северное Приуралье). Отсюда вышло примерно $\frac{3}{5}$ новоселов Южного Приуралья. В 1744—1762 гг. около 34% переселенцев Южного Приуралья прибыло из Казанского и Симбирского уездов. При этом среди новоселов, мигрировавших из Симбирского уезда, преобладали русские и чуваша, а из Казанского — татары.

Если в Южное Приуралье и Нижнее Поволжье переселялись в основном русские (хотя доля народностей Поволжья также была высокой), то среди новоселов южной части Центрально-Земледельческого региона и особенно Новороссии преобладали украинцы.

В 40—70-х годах XVIII в. большая часть переселенцев осела в Воронежской губернии Центрально-Земледельческого региона (370 тыс.), Саратовской и Самарской губерниях Нижнего Поволжья (115 тыс.), Южном Приуралье (155 тыс.) и Новороссии (135 тыс.). Кроме того, в 20—70-е годы XVIII в. продолжали заселяться Северное Приуралье и Сибирь, однако более умеренными темпами.

С 80-х годов XVIII в. мы располагаем уже ежегодными данными губернских казенных палат о миграционном движении. Они сохранились в погубернских²¹ и общероссийских²² окладных книгах, а также в губернаторских отчетах (с 1804 г.)²³. На основании этих источников нами составлена табл. 4, в которой приводятся данные о численности переселенцев, прибывших в основные заселяемые районы империи в 80-е годы XVIII—50-е годы XIX в. В этот период заселяются преимущественно Новороссия, Южное Приуралье, Нижнее Поволжье и Северный Кавказ, а с 30-х годов XIX в. — также и Сибирь. Всего в эти районы переехало более 3,5 млн. человек, из которых было не менее 2 млн. русских.

Основными местами выхода оставались центральные великорусские регионы страны и Левобережная Украина. Царизм в переселенческой политике не делал особых различий между народами России. Представители различных этносов принимали участие в заселении пустынных окраинных территорий, но ведущая роль в этом принадлежала русским.

Крепостничество, распространенное в наибольшей мере среди русского этноса, оказало отрицательное влияние на заселение страны. В границах России 20-х годов XVIII в. на долю русских приходилось по I ревизии 81,1%, а по X—73,8% закрепощенного населения страны, в то время как на этой же территории русские составляли по I ревизии 70,7%, а по X—67,2% всего населения.

Во второй половине XIX в. миграционное движение на окраины продолжалось. Темпы его усиливаются с 70-х годов XIX в., несмотря на то, что царизм лишь с 80-х годов признает переселения полезными и несколько облегчает условия перевода крестьян на новые места. Как и

¹⁹ Фирсов Н. А. Инородческое население прежнего Казанского царства в новой России до 1762 года и колонизация Закамских земель. Казань, 1869, с. 548.

²⁰ ЦГАДА, ф. 259, оп. 19, л. 23, лл. 586—603; ЦГИА, ф. 558, оп. 2, д. 293, лл. 17—200 об.

²¹ ЦГИА СССР, ф. 558, оп. 2, д. 1—282.

²² Там же, ф. 571, оп. 9, д. 18, 24—53.

²³ Там же, ф. 1281, оп. 3—6, 11, 1265.

Численность и удельный вес переселенцев, прибывших в основные заселяемые районы России в 1782—1858 гг. *

Регион	1782—1795 гг.		1796—1815 гг.		1816—1835 гг.		1836—1850 гг.		1851—1858 гг.		1782—1858 гг.	
	тыс. человек	%	тыс. человек	%	тыс. человек	%	тыс. человек	%	тыс. человек	%	тыс. человек	%
Новороссия	180	56,6	437	47,8	533	50,9	272	28,6	89	27,6	1511	42,5
Северный Кавказ	51	16,0	101	11,0	139	13,3	185	19,4	88	27,2	564	15,9
Нижнее Поволжье	56	17,6	205	22,4	101	9,6	118	12,4	13	4,0	493	13,9
Южное Приуралье	31	9,8	139	15,2	133	12,7	144	15,1	23	7,1	470	13,2
Сибирь	33	3,6	141	13,5	233	24,5	110	34,1	517	14,5
Итого	318	100,0	915	100,0	1047	100,0	952	100,0	323	100,0	3555	100,0

* Кабузан В. М. Заселение Новороссии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII — первой половине XIX века (1719—1858 гг.). М.: Наука, 1976, с. 164, 185, 212, 230; его же. Заселение Сибири и Дальнего Востока в конце XVIII — начале XX в. (1795—1917 гг.). — История СССР, 1979, № 3, с. 22—38.

ранее, в общей массе новоселов преобладают русские, но одновременно возрастает удельный вес украинцев, белорусов и других народностей империи.

В 70—90-х годах XIX в. на окраины переселилось 3,8 млн. человек²⁴. Сибирь выдвигается на первое место по числу осевших в ней новоселов — здесь разместились почти $\frac{1}{3}$ всех переселенцев. Растет роль Закавказья, однако Новороссия, Южное Приуралье и Северный Кавказ по-прежнему сохраняют значение важнейших заселяемых районов страны. Регионами преимущественного выхода остаются Центрально-Земледельческий и Северное Приуралье, к ним добавляются Среднее Поволжье и Белоруссия. Сохраняется и значение Левобережной Украины в заселении Новороссии, Северного Кавказа (а с 80-х годов и Дальнего Востока), но с Левобережной Украины шли уже украинские мигранты.

Отлив земледельческого населения на окраины в эпоху империализма (1897—1917 гг.) достиг 5,2 млн. человек. В этот период Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и Средняя Азия привлекли около $\frac{3}{4}$ всех земледельческих мигрантов, среди которых преобладали русские. Однако и в эти годы продолжается заселение районов более раннего освоения (Новороссии и Северного Кавказа), причем сюда устремляется много русских из Центрально-Земледельческого региона (Орловская, Курская, Воронежская, Тульская и другие губернии). Северное же Приуралье окончательно превращается в регион оттока населения. К традиционным регионам выхода мигрантов прибавляется Правобережная Украина (в основном Киевская губерния). Всего в пореформенные годы на окраины России переселилось более 9 млн. человек, среди которых резко преобладали русские.

Миграционные процессы оказывали решающее влияние только на географическое размещение русского населения. Повышение же его удельного веса в целом по стране (при условии, что темпы естественного прироста у русских были ниже, чем у большинства других народов) объясняется развитием ассимиляционных процессов. Таблица 2 показывает, что в ослабленном виде они начали действовать с 30-х годов XIX в., но особенно усилились к началу XX в. Поэтому в сопоставимых границах конца XIX в. удельный вес русских стал расти после VIII ревизии (1834 г.). По весьма примерным подсчетам, только в 60—90-х годах XIX в. обрусели 1 млн. 400 тыс. украинцев, около 1 млн. белорусов, более 100 тыс. мордвы и т. д. В начале XX в. активно шел процесс обрусения белорусов (в Смоленской и восточных частях Витебской и Могилевской губерний) и карел (в Тверской губернии).

Влияние трех рассмотренных выше факторов (неодинаковый естественный прирост населения, миграционные и ассимиляционные процессы)

²⁴ Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма..., с. 84 (табл. 3).

на численность, расселение и удельный вес русских хорошо прослеживается по табл. 2 и 3. Если в последней четверти XVII в. абсолютное большинство русских размещалось в трех регионах их исконного обитания — Центрально-Промышленном, Северном и Озерном — 66,9% их общего числа, то к 1917 г. они составляли здесь уже только 28,0%. Основной причиной этого был пониженный уровень естественного прироста (миграция с этой территории была невелика), а ассимиляция русскими таких народов, как карелы, мордва, белорусы, действовала в обратном направлении, т. е. должна была увеличивать долю русских. Особенно сильно понижается доля русского этнического компонента Центрально-Промышленного региона, где еще в конце XVII в. была сосредоточена почти половина русского населения империи. К середине XIX в. Центрально-Земледельческий регион догоняет Центрально-Промышленный по числу русских, а впоследствии и обгоняет его. Очень сильно (более чем в 3 раза) понизилась доля русского населения, приходившегося на Северный регион — с 8,0 до 2,6%. Еще в конце XVII в. по численности русских он уступал только Центрально-Промышленному, Центрально-Земледельческому и Озерному регионам, а в 1917 г. — большинству регионов империи. Доля русских Озерного региона среди русского населения империи снижалась сравнительно умеренно (с 11,1 до 7,3%), благодаря притоку русских мигрантов в ее столицу — Петербург. Так, с 1764 по 1914 г. механический прирост составил здесь 2282,3 тыс. человек²⁵.

Особое положение занимают Центрально-Земледельческий регион, Среднее Поволжье и Северное Приуралье. Интенсивное заселение их русскими переселенцами началось с XVI в. В целом с конца XVII в. по 1917 г. удельный вес русских во всем русском населении здесь вырос с 29,9 до 31,9%. При этом в Северном Приуралье доля русских росла до конца 50-х годов XIX в., так как это был регион интенсивного заселения, а затем начала падать (1858 г. — 10,2%; 1917 г. — 8,0%) в связи с усилением миграции русских отсюда в Сибирь.

Среднее Поволжье к 20-м годам XVIII в. было уже густо заселено местными народами. К этому времени здесь было много и русских. Удельный вес их во всем русском населении империи увеличивался лишь до 1719 г. (1678 г. — 5,7%; 1719 г. — 8,4%), а потом стал постепенно снижаться (1795 г. — 7,0%; 1917 г. — 5,1%). Характерно, что из Среднего Поволжья русские интенсивно переселялись в Северное и Южное Приуралье и Нижнее Поволжье.

Что же касается Центрально-Земледельческого региона, то южные части его интенсивно заселялись русскими до 20-х годов XIX в. (1678 г. — 20,9%; 1815 г. — 26,3% всех русских, живших в империи). Однако позже усиливается переселенческое движение из этого региона на Кавказ, Нижнее Поволжье и Южное Приуралье²⁶, а в пореформенный период — в Сибирь и Казахстан. Удельный вес русских в Центрально-Земледельческом регионе начал быстро снижаться, несмотря на повышенный уровень естественного прироста (в 1834 г. здесь значилось 25,9% всех русских страны, а в 1917 г. — 18,8%). Тем не менее и в 1917 г. в нем было сосредоточено максимальное число русских, больше, чем в любом другом районе, включая и Центрально-Промышленный регион.

Во многих других регионах России доля русских быстро росла, причем в большинстве из них еще на рубеже XVIII в. русских было очень немного или они вообще отсутствовали. В Сибири и на Дальнем Востоке в 1678 г. было расселено менее 2% всего русского населения империи, а в 1917 г. — 9,7%. Такой стремительный рост был обусловлен как мощ-

²⁵ Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии. Пг., 1922, с. 1—14.

²⁶ Только в начале 30-х годов XIX в. отсюда в Южное Приуралье переселилось более 90 тыс. государственных русских крестьян, в том числе из Тамбовской губ. — 40,4 тыс., из Воронежской — 20,6 тыс., из Курской — 20,1 тыс., из Рязанской — 6,4 тыс., из Орловской — 1,9 тыс. и из Тульской — 1,6 тыс. человек (ЦГИА СССР, ф. 1263, оп. 1, д. 865, лл. 220—221).

ным миграционным движением (главным образом с 40-х годов XIX в.), так и весьма высоким уровнем естественного прироста²⁷. К 1917 г. в Нижнем Поволжье размещалось 7,2% всех русских империи, в Новороссии — 5,9, в Южном Приуралье — 3,9, на Северном Кавказе — 3,6, а в Средней Азии и Казахстане — 2,0%.

В то же время русских переселенцев было мало в Финляндии, Царстве Польском, Прибалтике, Правобережной Украине и Закавказье. Даже в 1917 г. их доля там по отношению ко всем русским страны оставалась незначительной. Это объясняется рядом причин. Во-первых, все указанные регионы сравнительно поздно вошли в состав империи. Во-вторых, они, как правило, располагали своим значительным населением. В-третьих, здесь не было больших резервов неосвоенных земель или их качество было невысоким (например, в Финляндии). В Финляндии и Польше проживало лишь небольшое число старообрядцев, чиновников и военнослужащих. Только в Прибалтике значительные группы русских были сосредоточены в городах. В Закавказье кроме чиновников и военных разместились небольшие группы русских переселенцев. На территории Правобережной Украины также находилось ограниченное число чиновников и военных, но в городах (особенно в Киеве) происходил процесс ассимиляции русскими части местного украинского населения.

Таблица 2 показывает изменение удельного веса русских по отношению ко всему населению регионов. Русские в 1678 г. численно преобладали в шести регионах империи (в пяти из них на их долю приходилось более 90% общего числа жителей). Кроме Центрально-Земледельческого региона и Северного Приуралья, это были территории исконного обитания великорусского этноса. Земли же Центрально-Земледельческого региона и Северного Приуралья интенсивно осваивались русскими людьми в XVII — первой половине XIX в. Характерно, что в течение исследуемого периода доля русских росла, хотя и незначительно, только в Центрально-Промышленном и Озерном регионах и понизилась в Центрально-Земледельческом и Северном регионах и в Северном Приуралье. Это объясняется тем, что русские из трех последних регионов гораздо активнее участвовали в заселении окраин страны, чем издревле проживавшее в этих регионах нерусское население (карелы, коми-зыряне, удмурты, мордва и др.). Кроме того, уровень естественного прироста у русских также был несколько ниже, чем у других народностей.

В целом за рассматриваемый период доля русских повысилась в Среднем Поволжье и особенно в Сибири. В первый из этих регионов русские начали переселяться с середины XVI в., после присоединения к России Казанского ханства. Миграция сюда в значительных размерах продолжалась до 80-х годов XVIII в., что привело к увеличению доли русских (1678 г. — 51,3%; 1719 г. — 59,7%; 1782 г. — 64,8%). Затем усиливается отток из региона русских в Нижнее Поволжье, на Северный Кавказ и в Южное Приуралье. Количественно он намного превышал переселения из региона других народностей: татар, чувашей, мордвы и др. Кроме того, уровень естественного прироста оказался выше у татар, мордвы и других народностей, а ассимиляционные процессы в их среде развивались медленно. В результате доля русских начала снижаться (в 1795 г. — 63,2%, в 1858 г. — 62,8%, в 1917 г. — 59,7%).

В Сибири в последней четверти XVII в. русские составляли около половины всех жителей, а в 1917 г. — 77,6%. Процент русских увеличился здесь постоянно (1678 г. — 51,8%, 1719 г. — 66,9, 1795 г. — 68,9, 1858 г. — 74,1, 1917 г. — 77,6%), что было обусловлено как высоким уровнем естественного прироста, так и все возрастающей миграцией из Европейской России (см. табл. 4). В Западной Сибири русские составляли абсолютное большинство жителей уже в начале XVIII в., в Восточной же Сибири — только к середине XIX в. (в 1858 г. — 53,9%, в 1917 г. — 61,2%). В Якутской, Камчатской, Амурской и Приморской областях русские не составляли большинства даже в 1917 г., причем в Якутии и

²⁷ Колесников А. Д. Указ. раб., с. 133.

на Камчатке их было немногим более 10% всего населения. Что же касается Дальнего Востока (Приморья и в значительной мере Приамурья), то сюда с 80-х годов XIX в. начинает переселяться много украинцев, и это снижало долю русского этнического компонента.

В ряде регионов русское население на рубеже XVIII и XIX вв. практически отсутствовало, а в 1917 г. стало преобладающим (Южное Приуралье и Северный Кавказ, а также Астраханская губерния Нижнего Поволжья).

В целом же по Нижнему Поволжью в начале XVIII в. русские составляли 33% населения. При этом в Саратовской и Самарской губерниях они абсолютно преобладали (около 99% всего населения), а в Астраханской их было лишь 5,7% (в этой губернии жили преимущественно калмыки — около 200 тыс. человек, более $\frac{9}{10}$ всего населения). К 80-м годам XVIII в. ситуация коренным образом меняется. В Нижнее Поволжье переселяется много русских, украинцев и немцев, а большинство калмыков уходит в Джунгарию. В результате по IV ревизии (1782 г.) доля русских в целом по региону составила уже 62,4%, по V ревизии (1795 г.) — 66,7% и по VIII (1834 г.) — 68,2%. При этом в Саратовской и Самарской губерниях доля русских понизилась, а в Астраханской, откуда ушли калмыки, резко возросла. В первой половине XIX в. и особенно в пореформенный период в Нижнее Поволжье переселяется много казахов и украинцев. Следствием этого было снижение в 1917 г. доли русских в регионе до 65,5%. Они составили в Саратовской губернии 75,6%, в Самарской — 65,2 и в Астраханской — 42,9% всего населения (в последней было много калмыков и казахов).

В Южном Приуралье в 1678 г. русских практически не было, а в 1917 г. они составили большинство населения (54,3%). На территории Оренбургской губернии русские преобладали уже в 1719 г. (53,2%), а в 1917 г. их было более 70%. В Уфимской губернии, заселенной в основном башкирами, ситуация была иной. Сюда с конца XVIII в. наряду с русскими переселялось много татар, чувашей, мордвы, удмуртов и др. В 1719 г. русских там почти не было. В конце XVIII в. они уже составили 24,6%, а в 1858 г. — 30,2% жителей губернии. По переписи 1897 г. доля русских поднялась до 38,2%, но башкир было больше — 41,0%. Однако в 1917 г. и в Уфимской губернии русские по численности выходят на первое место — 42,5% (башкиры — 36,6%).

На Северном Кавказе русские в 1719 г. составляли всего 0,7% всего населения. В 80-е годы XVIII в. по IV ревизии их доля увеличилась до 2,5%. Интенсивное заселение региона русскими и украинцами начинается только в 80-е годы XVIII в. По V ревизии русских было уже 111 тыс. человек, и они составили почти 7% жителей региона. По VIII ревизии доля их поднялась до 13,2%, а по X — до 16,9%. В целом в дореформенный период русские оставались в явном меньшинстве, хотя в Ставропольской губернии уже к концу XVIII в. они выходят по численности на первое место (зато в соседней Кубанской области в дореформенный период численно преобладали украинцы).

В пореформенные годы темпы заселения русскими Северного Кавказа усиливаются. Из других губерний Европейской России в 1871—1896 г. сюда прибыло почти 870 тыс. переселенцев, а в 1897—1916 гг. — 510 тыс.²⁸ К концу XIX в. русские на Северном Кавказе численно уже опережают другие народности. В 1897 г. они составили 42,5% общего числа жителей, а украинцы — 34,1%. В 1917 г. русских было 46,9%, а украинцев — 34,5%. В Ставропольской губернии русские составляли половину населения уже по V ревизии (1795 г.), а в Кубанской области даже в 1917 г. преобладали по численности украинцы (47,3%), но русские мало им уступали (44,9%). В Терской области в 1917 г. более половины населения составляли местные коренные народности, а русские — 42,5%.

²⁸ Брук С. И., Кабузан В. М. Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма..., с. 84.

В целом же в Нижнем Поволжье, Южном Приуралье и на Северном Кавказе, где в 1678 г. русские практически отсутствовали, их численность в 1917 г. достигла 11,3 млн. человек (т. е. 14,7% всех русских России).

В особом положении находилась Сибирь. Это был регион не только высокого уровня естественного прироста населения, но и массовой миграции, которая резко усиливается с 40-х годов XIX в. В результате в регионе в 1917 г. было сосредоточено уже 9,7% всех русских империи (в 1678 г. — только 1,9%). Накануне Октября в Сибири (включая и Дальний Восток) проживал почти каждый десятый русский (7,4 млн., что составило 77,6% населения этого региона). Русские численно преобладали в большинстве областей и губерний региона (в 1917 г. в Томской — 88,2%, в Тобольской — 87,6, в Енисейской — 81,9, в Иркутской — 77,7, в Забайкальской — 70,3, в Сахалинской — 62,4%). Однако в остальных областях (Якутской, Камчатской, Амурской и Приморской) их было еще менее половины всего населения (в Камчатской области — всего 11,6%).

Своеобразное положение занимала Новороссия. Район этот с начала XVIII в. чрезвычайно интенсивно заселялся как украинцами, так и русскими. Как показывает табл. 4, только в 1782—1858 гг. сюда прибыли 1,5 млн. новоселов. В пореформенные годы в регионе, особенно в крупных городах, некоторая часть украинцев перешла на русский разговорный язык. Доля живших в Новороссии русских (по отношению ко всем русским империи) возросла с 1678 до 1917 г. с 0,3 до 5,9%. В 1719 г. русские составляли 15,6% жителей региона, а в 1917 г. — 30,7%. Они всегда численно преобладали в Донской области, значительный процент их был в Таврической, Екатеринославской и Херсонской губерниях. Лишь в Бессарабии русских было немного (в 1917 г. — 5,9% ее населения).

В Средней Азии и Казахстане русских почти не было до середины XIX в. В 1858 г. их насчитывалось там около 50 тыс., причем лишь в Акмолинской обл. — 17 тыс. (или 5,7% ее населения). Однако в 1897 г. в Средней Азии и Казахстане проживало уже около 588 тыс. русских (7,6% жителей региона), а в 1917 — 1548 тыс. (14,3%). При этом в областях собственно Средней Азии (Закаспийской, Самаркандской, Ферганской) русских в дореволюционный период было мало (3,4% их населения). Однако в ряде других областей их удельный вес в 1917 г. стал довольно значительным (в Акмолинской — 27,2%, в Уральской — 41,4%, в Семиреченской — 19,4%).

Остальные регионы России, где русских было очень мало, не являлись областями сколько-нибудь заметной русской миграции. В Царстве Польском и Финляндии доля русских оставалась незначительной. В 1897 г. в Царстве Польском было зарегистрировано 298 тыс. русских, в Финляндии — 10 тыс., а в 1917 г. — соответственно 167 и 7 тыс. (следует иметь в виду, что речь идет о постоянном населении), т. е. происходило даже сокращение их числа, что было обусловлено условиями военного времени.

В Прибалтике доля русских по отношению к их общему числу в империи всегда была незначительна и даже в 1917 г. составляла лишь 0,2%. Однако их абсолютная численность и удельный вес в населении региона росли довольно заметно (1719 г. — 0,3%, 1858 г. — 3,6%, 1917 г. — 6,3%). Быстрее всего численность русских увеличивалась в Лифляндии (1719 г. — 2 тыс., 1917 г. — 122 тыс.), так как много русских переселялось, особенно в пореформенные годы, в Ригу.

В Закавказье доля русских также была невелика. Еще в начале XIX в. здесь не было постоянного русского населения. В 1858 г. в этом регионе насчитывалось лишь 32 тыс. русских (1% населения региона). Однако в 1917 г. в Закавказье проживало уже 474 тыс. русских, что составило 6,3% населения региона. Большая часть русских была сосредоточена в городах Тифлисской и Бакинской губерний.

На Левобережной и Правобережной Украине в 1678 г. русских практически не было, в 1719 г. их численность не превышала 40 тыс., а в

1858 г. достигла 334 тыс. Более быстрыми темпами стала расти численность русских в последней четверти XIX — начале XX в. В 1917 г. на Левобережной Украине насчитывалось 1249 тыс. и на Правобережной — 426 тыс. (соответственно 12,8 и 3,4% населения регионов); в обоих регионах в это время проживало 2,2% всех русских империи. Миграция сюда русских не была значительной, и доля русскоязычного населения росла преимущественно за счет ассимиляции украинцев русскими в городах (Харькове, Киеве и др.).

Выше мы рассмотрели изменения в численности и расселении русских преимущественно по 19 экономическим регионам России, деление на которые принято в научной литературе. Реальными же административными единицами Российской империи были губернии, области и округа (по административному делению конца XIX в. первых насчитывалось 76, вторых — 23 и третьих — 2). Если же исходить из этих единиц, то в 1719 г. в девяти губерниях (Московской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Костромской, Тульской, Рязанской, Псковской и Саратовской) и одной области (Войска Донского) русские практически были единственным населением — они составляли здесь более 99% всех жителей. В восьми губерниях (Нижегородской, Тамбовской, Орловской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Самарской и Пермской) они составляли подавляющее большинство населения — 90—99% и еще в 13—50—90% всех жителей. К 1917 г. в первую группу уже не входят Московская и Псковская губернии (они перешли во вторую группу), а также Саратовская губерния, где процент русских снизился до 75,6, и Область Войска Донского — до 69,0, но зато вошла Орловская губерния. Ко второй же группе добавились Тверская и Смоленская губернии, но зато вышли из нее Архангельская (85,0% русских) и Самарская (65,2%) губернии; более половины населения русские составляли еще в 18 губерниях и двух областях. Следует подчеркнуть, что в исконно, великорусских губерниях процент русских за исследуемый период практически не снижался. Это объясняется слабым развитием миграционных процессов в экономически отсталых нерусских районах империи.

В целом же анализ источников убедительно показывает, что в течение почти 240-летнего отрезка времени в России значительно возросла доля русских в населении страны и расширились ареалы их расселения. В 1917 г. они составляли компактные группы практически во всех регионах империи. При этом в регионах основного и давнего расселения русских их доля существенно не изменилась. Все эти процессы в общем виде можно проиллюстрировать несколькими обобщенными цифрами. В 1678 г. в четырех регионах наибольшего сосредоточения русского этноса (Центрально-Промышленный, Центрально-Земледельческий, Озерный и Северный) жило 87,8% всех русских, и они там составляли 97,4% всего населения. В остальных 15 регионах было расселено 12,2% русских империи, а их процент в населении этого региона — 7,9. В 1917 г. в первых четырех регионах жило уже менее половины всех русских страны (46,8%), а их доля в населении этих регионов снизилась до 91,6%. Что касается других регионов, то в них уже было сосредоточено 53,2% русских империи, а доля последних в их населении поднялась до 38,8%.

ЭТНОГЕНЕЗ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ ВОСТОЧНЫХ БАШКИР

В последние два десятилетия появилось значительное число работ, посвященных этнической истории башкирского народа. Однако именно это обстоятельство показало неразработанность или дискуссионность целого ряда вопросов истории формирования башкирского этноса. Древнейшая и древняя история Волго-Уральского региона и процессы формирования физического типа автохтонных племен, расселившихся на территории Башкирии с эпохи неолита, изучены более обстоятельно¹.

Территория Южного Урала и Приуралья с древнейших времен до конца I тысячелетия н. э. была ареной постоянных контактов между уральскими, индоевропейскими, алтайскими и другими этническими образованиями. Части их могли оказаться в составе племен, положивших начало башкирскому этносу. Правда, многие археологи ведущую роль в процессе этногенеза башкир отводят племенам, обитавшим на Южном Урале в середине I тысячелетия (хотя в этноязыковом отношении эти племена по археологическим материалам охарактеризовать невозможно, в литературе появляются гипотетические суждения об их угорской, тюркской или тюрко-угорской принадлежности). Этнографы же склонны считать, что такая роль принадлежала тюркским мигрантам VIII—IX и последующих веков, проникшим сюда из южных степей и расселившимся впоследствии севернее и восточнее, в горно-лесных районах Южного Урала². В то же время необходимо подчеркнуть, что среди изученных на территории исторической Башкирии археологических памятников I тысячелетия н. э. не удалось выявить культуру, носителей которой можно было бы с достаточной определенностью считать непосредственными предками башкир³.

Таким образом, противоречивость исторических данных свидетельствует о сложности проблемы этногенеза башкир. Долгое время дискуссионным оставался вопрос об угорской или тюркской основе этноса; в зависимости от подхода к его решению ученые разделились на сторонников угро-мадьярской и тюркской гипотез происхождения башкирского народа⁴. Впервые развернутую аргументацию тюркской концепции представил С. И. Руденко. По его мнению, сложение башкирского народа произошло уже к началу I тысячелетия н. э.⁵ Однако недавние исследования в области этнографии, археологии, исторической лингвистики показали, что этническим *башкорт* и, соответственно, группа племен, которую в литературе принято называть «древнебашкирской», появились на левобережье Средней Волги примерно в то время, когда часть «великих болгар» отошла на Среднюю Волгу. Позднее древнебашкирские племена, в этнокультурном отношении близкие к волжским булгарам или входившие в их состав, пережили сложные процессы взаимо-

¹ См.: Акимова М. С. Антропологический состав населения пьяноборской культуры.— Вопросы антропологии, 1961, в. 8, с. 130—134; *ее же*. Антропологические материалы бахмутинской культуры.— В кн.: Археология и этнография Башкирии. Уфа: Изд-во БФ АН СССР, 1962, т. I, с. 363; Трофимова Т. А. Антропологические материалы из Аланского могильника возле Стерлитамака в Башкирии.— Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1952, в. XVII, с. 64—65; Смирнов А. П. Железный век в Башкирии.— Материалы и исследования по археологии СССР. М., 1957, с. 105—107.

² Халиков А. Х. К вопросу о начале тюркизации населения Поволжья и Приуралья.— Сов. этнография, 1972, № 1, с. 100—104; Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав, история расселения. М.: Наука, 1974, с. 425—434; *его же*. Историческая этнография башкирского народа. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1978, с. 159.

³ Мажитов Н. А. Южный Урал в VII—XIV вв. М.: Наука, 1977, с. 175—186.

⁴ Обзор литературы см.: Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа..., с. 16—30.

⁵ Руденко С. И. Башкиры. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1955, с. 347.

действия с местным финно-угорским населением, а также с пришлыми из Приуралья, южных степей Западной и Южной Сибири этническими группами⁶. Эти положения, касающиеся этнической истории не только башкир, но и других тюркских народов Волго-Уральского региона, нуждаются в дальнейшей аргументации с привлечением новых более точно датированных источников. Слишком резкое расхождение взглядов о времени появления башкир на Урале можно объяснить недостатком палеоантропологических данных, относящихся к VII—XVII вв. н. э.

Средневековые этапы этнической истории башкир, казалось бы, известны лучше благодаря щежере и совокупности источников, названных С. М. Абрамзоном и Л. П. Потаповым «народной этногонией»⁷. Однако в связи с тем, что многие исследователи, особенно языковеды и археологи, акцентируют внимание главным образом на ранних этапах этнической истории башкир (равно и татар), роль печенежско-кипчакских племен в окончательном сложении этнокультурных характеристик этих народов долгое время оставалась слабо изученной и, видимо, поэтому заметно преуменьшенной⁸.

Анализ имеющихся данных о формировании башкирского этноса привел ученых — антропологов, археологов, этнографов и лингвистов — к заключению, что отдельные части этноса различаются между собой по происхождению и неоднородны по составу. Сказанное в полной мере относится к восточным, в том числе зауральским башкирам. Восточные башкирские племена — бурзян, табын, усергян, тамьян и др. — сыграли важную роль в сложении народа. Установлено, что древнебашкирская группа племен была генетически связана с народами Центральной и отчасти Средней Азии и Алтая. До заселения Южного Урала она, вероятно, имела контакты с предками современных восточнотюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских народов. Об этом свидетельствуют многочисленные этнонимические параллели башкир с тюркскими и монгольскими народами Алтая, Южной Сибири и МНР, а также ряд специфических особенностей восточного диалекта башкирского языка, относящегося к тюркской группе алтайской языковой общности⁹. Проникновение древнебашкирских племен на Южный Урал сопровождалось различного рода взаимодействиями с этнополитическими объединениями раннего средневековья (гуннов, болгар, печенегов и огузов), которые происходили в разное время и на разных территориях. Эти контакты, естественно, наложили определенный отпечаток на этнокультурный облик древних башкир. Последующее смешение их с местными племенами финно-угров и сармато-алан уже в Приуралье во многом, по-видимому, определило отличие современных восточных башкир от западных¹⁰.

Чрезвычайная сложность этногенетических процессов в эпоху миграции тюркских групп в Восточную Европу не позволяет посредством традиционных методов исторических дисциплин достоверно установить главные компоненты, которые явились основой формирования башкир-

⁶ Акимова М. С. Антропология древнего населения Приуралья. М.: Наука, 1968, с. 97; Кузеев Р. Г. Урало-Аральские этнические связи в конце I тысячелетия н. э. и история формирования башкирской народности. — В кн.: Археология и этнография Башкирии. Уфа: Изд-во БФ АН СССР, 1971, т. IV, с. 24—25.

⁷ Соколов Д. Н. Опыт разбора одной башкирской летописи. — Труды Оренбургской ученой комиссии. Оренбург, 1898, в. IV; *его же*. О башкирских тамгах с приложением башкирских тамг. — Там же, 1904, т. XIII; Абрамзон С. М., Потапов Л. П. Народная этногония как один из источников для изучения этнической и социальной истории. — Сов. этнография, 1975, № 6, с. 28—29.

⁸ Смирнов А. П. Железный век в Башкирии, с. 75; Сальников К. В. Об этническом составе населения лесостепного Зауралья в сарматское время. — Сов. этнография, 1966, № 5, с. 124.

⁹ Гарипов Т. М., Кузеев Р. Г. Следы алтайской этнонимии в родо-племенной номенклатуре башкир. — В кн.: Проблемы общности алтайских языков. Л.: Наука, 1969, с. 218—219.

¹⁰ Асхаган М. Ш., Кузьмина Т. Я. Результаты исследования групп крови у народностей Башкирской АССР. — Хозяйство Башкирии. Уфа, 1929, № 6—7, с. 179—182; Аргамонов М. И. История хазар. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962, с. 338; Смирнов А. П. Археологические данные об угро-венграх в Поволжье. — В кн.: Проблемы археологии и древней истории угров. М.: Наука, 1972, с. 94.

ского этноса. При крайней бедности данных о происхождении башкир в письменных источниках, недостаточной изученности средневековых археологических памятников Башкирии, неразработанности критериев для выделения археологических культур и определения этнической принадлежности их носителей, задача реконструкции этнической истории может быть решена лишь при условии комплексного исследования с привлечением данных разных дисциплин.

Расположение Башкирии на границе Европы и Азии сказалось на современном антропологическом облике народа как своеобразный градиент перехода европеоидных и монголоидных черт, при этом их соотношения неодинаковы в разных этнографических группах башкир¹¹. Так, по степени выраженности монголоидных и европеоидных черт выделяется несколько локальных вариантов. Наибольшие различия наблюдаются между башкирами северо-западных районов республики и Зауралья. Остальные группы по одним признакам имеют сходство с северо-западными, или зауральскими, башкирами, по другим — занимают промежуточное положение. Башкиры восточной, особенно юго-восточной, части республики отличаются наибольшей монголоидностью. Различия между этими группами проявились и в дерматоглифических характеристиках: восточные башкиры оказались более монголоидными.

В то же время сопоставление башкир с соседними народами выявляет их промежуточное положение между народами Волго-Камья, с одной стороны, и казахами и киргизами — с другой. По мнению некоторых исследователей, формирование башкир и соседних народов Волго-Уральского региона происходило на близкой основе¹². Все это приводит к мысли о назревшей необходимости генетического изучения этнической истории башкир. Большое значение приобретает в этом свете последовательная реконструкция генетической структуры популяции на разных этапах истории, выяснение характера взаимодействия автохтонного и пришлого компонентов, а также выявление вклада каждого из них в формирование башкирского народа.

Популяционно-генетические методы исследования привлекают внимание антропологов и этнографов возможностями анализа именно генетических различий между популяциями, особенно если эти популяции очерчены этнически и пространственно, доступны изучению, а наследственные признаки в них стабильны и не меняются в течение жизни индивидов. Такой анализ дает возможность воспроизведения исторических звеньев древней цепи проникавших на ту или иную территорию популяций. Их история в определенной степени отражается в генетической структуре современных популяций. Кроме того, популяционно-генетический анализ — это поиски происхождения, родства, расселения и контактов разных народов.

Широкие популяционно-генетические исследования коренного населения Башкирии проводятся впервые¹³. Имеющиеся работы по антропологии башкир характеризуются немногочисленностью выборок и генетических маркеров, что, естественно, не позволяет делать обобщающих выводов¹⁴.

Популяционно-генетический анализ современных потомков древнебашкирских племен бурзян, усерган, тамьян, табын, а также карагай-кыпчаков проведен в 25 микропопуляциях Зианчуринского, Баймакско-

¹¹ Акимова М. С. Антропологические исследования в Башкирии. — В кн.: Антропология и геногеография. М.: Наука, 1974, с. 85—86.

¹² Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы. Краниологическое исследование. М.: Наука, 1969, с. 153—158; *его же*. География человеческих рас. М.: Мысль, 1974, с. 195—198.

¹³ Авторы выражают искреннюю благодарность Ю. Г. Рычкову за помощь, оказанную при проведении исследований.

¹⁴ Малиев Н. М. Антропологический очерк башкир. — Труды О-ва естествоиспытателей при Казанском университете. Казань, 1876, т. V, в. 5; Назаров П. С. К антропологии башкир. — Изв. О-ва любителей естествознания (Труды антропологического отделения). М., 1890, т. 2; Акимова М. С. Значение данных антропологии, дерматоглифики и серологии для изучения смешанных групп (на башкирском материале). — Вопросы антропологии, 1973, в. 44, с. 85.

го, Абзелиловского, Бурзянского и Учалинского районов республики; выбор популяций основан на историко-этнографических исследованиях родо-племенного состава башкир¹⁵. Генетический материал, генеалогические и демографические данные собраны экспедициями Отдела биохимии и цитохимии Башкирского филиала АН СССР в 1972—1977 гг. Каждая популяция, являющаяся объектом популяционно-генетического анализа, охарактеризована как самостоятельная единица, т. е. определены динамика численности, пространственная и временная организация в рамках данной популяционной системы. В настоящей статье подробно освещаются только те моменты, которые необходимы для реконструкции родословного древа восточных башкир, т. е. ставится задача уточнения параметров эволюционного древа, а именно, установление его типа, характера ветвления, временных характеристик реконструированных точек ветвления¹⁶.

Для изучения генетической структуры в каждой микропопуляции взята выборка, составляющая 20—25% от общей численности населения. Внутривенный забор крови проводился в асептических условиях медпунктов. Определение групп крови по системам ABO и MN осуществлялось в день взятия крови. Выявление типов сывороточного белка гаптоглобина методом диск-электрофореза в полиакриламидном геле и исследования по системам резус $Rh-Hr$ и Келл — Челлано проводились лабораторно. Частоты генов системы ABO рассчитаны по формулам Бернштейна; частоты генов системы MN и белка гаптоглобина определены с учетом кодоминантного типа наследования. Для систем с полным доминированием резус $Rh-Hr$ и Келл — Челлано частоты рецессивных генов (d, c, e, k) определены как корень квадратный из частоты соответствующего фенотипа.

На основании собранных демографических данных установлены общий и репродуктивный объемы популяции. Эффективная величина воспроизводящей части (N_e) определялась с учетом дифференциальной плодovitости и неравного соотношения людей разного пола, находящихся в репродуктивном возрасте. При расчете времени дивергенции использовали гармоническую среднюю величину эффективно-репродуктивного объема популяции восточных башкир ($HNe=105$), вычисленную с учетом неравного соотношения полов, так как большая величина дисперсии числа детей (по отношению к \bar{K} — среднему числу детей, приходящихся на одного индивида) $\sigma_k^2 > \bar{K}$ является свидетельством нерегулируемой рождаемости и приводит к значительному снижению эффективно-репродуктивного объема¹⁷. Для определения генетических концентраций реконструированных вершин применяли гармонические средние значения эффективно-репродуктивных объемов родо-племенных подразделений, даже если в сравниваемой паре известно только одно значение (табл. 1).

Анализ генетической структуры современных популяций позволяет определить родословное древо, т. е. реконструировать генетическую историю бурзян, усерган, тамьян, табын и карагай-кыпчаков. Это оказалось возможным благодаря тому, что колебания частот генов в ряду популяций математически равнозначны их колебаниям в поколениях¹⁸. Модель генеалогического древа признает решающую роль генетического дрейфа в микроэволюционных преобразованиях, т. е. диффузионный тип динамики изменений концентраций 7 локусов (15 аллелей, из которых 8 независимы), при этом либо не учитывается влияние отбора, либо допускается возможность минимального воздействия его на популяцию. Таким условиям отвечают малые сельские популяции. Влияния факторов генетической изоляции в них несравненно выше, чем в крупных го-

¹⁵ Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа..., с. 188—192.

¹⁶ Mayr E. Numerical Phenetics and taxonomic Theory.— Systematic Zoology. Harvard Univ. Press, 1965, v. 14, p. 73.

¹⁷ Ли Ч. Введение в популяционную генетику. М.: Мир, 1978, с. 493.

¹⁸ Рычков Ю. Г., Русакова О. Л., Раппопорт М. П., Шереметьева В. А. Факторы генетической дифференциации популяционной системы коренного населения Северной Азии. Сообщение I.— Генетика. М.: Наука, 1973, т. IX, № 2, с. 136.

Среднее гармонические значения (H) общего N_T , репродуктивного N_r и эффективно-репродуктивного N_e объемов в микропопуляциях восточных башкир

Микропопуляции, населенные пункты	N_T	N_r	\bar{K}	σ_k^2	N_{e1}	N_{e2}
Бурзян						
Чингизово	549	131—116	3,93	4,223	128—114	246 (123)
Буранбаево	417	99—97	3,27	7,970	69—68	196 (98)
Н-Субхангулово	425	99—95	2,94	3,855	90—86	194 (97)
Гадельгареево	468	113—107	2,43	3,984	90—85	220 (110)
Туркменево	410	100—98	3,28	7,890	70—68	198 (99)
Абзакovo	403	98—92	3,69	4,373	91—86	190 (95)
Ахмерово	479	115—109	2,49	3,965	92—84	210 (105)
H						104
Усерган						
Баишево	577	113—127	2,30	3,928	100—97	258 (129)
Сагитово	407	91—97	2,86	4,596	75—80	188 (94)
Утягулово	505	119—109	4,14	6,775	103—95	228 (114)
Идияшево	585	141—137	4,84	6,634	131—127	278 (139)
Байдавлетово	403	97—91	3,27	5,776	76—74	188 (94)
Казарма	406	91—89	3,11	4,616	79—77	180 (90)
Ибраево	810	192—169	4,13	6,163	172—151	359 (180)
H						113
Тамьян						
Салаватово	453	117—102	2,76	4,634	94—82	218 (109)
Кужаново	407	98—91	3,10	4,245	88—81	189 (95)
Елембетово	403	101—99	2,84	4,460	84—82	200 (100)
H						101
Табын						
Ишкинево	532	122—106	3,30	10,88	72—63	227 (113)
Истамгулово	457	118—101	2,80	10,73	59—50	218 (109)
Расулево	416	104—96	2,60	7,73	59—55	200 (100)
H						107
Карагай-кыпчаки						
Абдулмамбетово	557	129—121	2,29	3,897	99—90	248 (124)
Н-Мунасипово	407	92—88	3,16	4,609	78—70	163 (84)
Набиево	430	115—107	2,81	4,655	95—81	216 (108)
Байназарово	583	137—129	2,41	3,984	102—91	246 (123)
Яумбаево	392	95—89	3,21	5,717	77—69	176 (88)
H						103

Примечания: \bar{K} — среднее число детей, приходящихся на одного индивида; σ_k^2 — дисперсия этого числа; N_{e1} — эффективно-репродуктивный систем, учитывающий с учетом дифференциальной плодородности; N_{e2} — эффективно-репродуктивный систем, учитывающий с учетом неравного соотношения лиц репродуктивного возраста.

родских популяциях, что благоприятствует накоплению микроэволюционных изменений и в конечном счете эволюции. Так как исходными данными являются концентрации генов, а в них фиксируется влияние систематических факторов эволюции, то систематическими ошибками можно пренебречь и считать модель полностью приложимой к конкретному материалу.

Существуют различные методы генеалогической реконструкции¹⁹. К популяции башкир с неравными эффективно-репродуктивными объемами и данными по частотам генов шести локусов групп крови, а также сывороточного белка гаптоглобина нами применен метод М. Б. Малютова и В. П. Пасекова.

¹⁹ Edwards A., Cavalli-Sforza L. Reconstruction of evolutionary Trees.— Phenetic and Phylogenetic Classification/Eds Heywood V., McNeill J. London: Systematics Association Publ., 1964, v. 6, p. 67; Малютов М. Б., Пасеков В. П. Реконструкция родословных деревьев изолированных популяций. Препринт № 19. М.: Изд-во МГУ, 1971, с. 27—33; Пасеков В. П., Коростелев А. П. Об оценке параметров эволюционного процесса дивергенции популяций в результате случайного генного дрейфа.— Успехи современной биологии. М.: Наука, 1971, т. 72, в. 3 (6), с. 422—424.

Исходные значения генных частот по локусам *ABO*, *MN*, *Hr*, резус *Rh—Hr*,
Келл—Челлано в субпопуляциях башкир

Гены	Субпопуляции				
	бурзян 7*	усерган 7*	тамыян 3*	табын 3*	карагай-кыпчаки 5*
<i>r</i>	0,5585	0,5322	0,5941	0,6076	0,5753
<i>p</i>	0,1977	0,2563	0,1552	0,2049	0,1816
<i>q</i>	0,2438	0,2115	0,2507	0,1875	0,2431
<i>N</i>	0,2334	0,2496	0,1432	0,5192	0,3444
<i>M</i>	0,7666	0,7504	0,8568	0,4808	0,6556
<i>Hr</i> ³	0,3813	0,3916	0,3492	0,3523	0,4197
<i>Hr</i> ²	0,6186	0,6084	0,6508	0,6477	0,5803
<i>D</i>	0,7722	0,7518	0,7400	0,7207	0,7276
<i>d</i>	0,2278	0,2482	0,2600	0,2793	0,2724
<i>C</i>	0,4920	0,5292	0,5114	0,5263	0,5082
<i>c</i>	0,5080	0,4708	0,4886	0,4737	0,4918
<i>E</i>	0,1934	0,2473	0,2031	0,2192	0,2296
<i>e</i>	0,8066	0,7527	0,7969	0,7808	0,7704
<i>K</i>	0,0164	0,0135	0,0051	0,0098	0,0146
<i>k</i>	0,9836	0,9865	0,9949	0,9902	0,9854

* Число исследованных микропопуляций.

В табл. 2 приведены исходные концентрации генов по локусам *ABO*, *MN*, резус *Rh—Hr*, *Келл—Челлано* и белку гаптоглобину (*Hr*) в пяти этнических группах восточных башкир (25 микропопуляций). Проведенные расчеты выявили однородность выборок внутри исследуемых субпопуляций.

Коротко изложим основные этапы реконструкции.

1. Сначала между субпопуляциями попарно вычисляем обобщенное генетическое расстояние как своеобразную меру генетических различий между ними (угловая трансформация в радианах) по формулам 1 и 2:

$$\theta_{ij} = \arccos \sum_{l=1}^n \sqrt{x_i \cdot x_j}, \quad (1)$$

$$\bar{\theta}_{ij}^2 = \sum_{l=1}^m \theta_{ij}^2, \quad (2)$$

где m — общее количество изучаемых генетических систем, x_{ij} — концентрации гена в i и j популяциях.

В табл. 3 приведена построенная матрица генетических расстояний.

2. В предположении дихотомического характера ветвления и для соотноснения пяти субпопуляций с двумя родоначальными ветвями применен усовершенствованный В. П. Пасековым и А. П. Коростелевым метод деления на кластеры (формулы 3 и 4):

$$\bar{P}^2 = \frac{P_{ij}^2}{(\text{количество слагаемых})} = \max, \quad (3)$$

$$P^2 = \frac{N_i N_j}{N_i + N_j} \bar{\theta}_{ij}^2, \quad (4)$$

где N_i и N_j — эффективно-репродуктивные объемы исследуемых субпопуляций (см. рис.).

3. Определяем время расхождения субпопуляций 1 и 2 по формуле 5 (табл. 4):

$$\bar{\theta}^2 = t/4 Ne. \quad (5)$$

4. Вычисляем концентрации генов в реконструированной точке 6 и показатель ошибки концентрации аллелей по формуле 6 (табл. 5):

$$d = \frac{t_{6c}}{8(N_6 + N_c)} \quad (6); \quad б, с — разошедшиеся популяции.$$

5. Находим генетическое расстояние $\bar{\theta}_{3-6}^2 = 0,0600$.

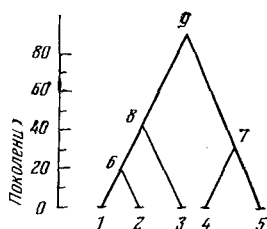
6. Определяем время расхождения субпопуляций 3 и 6 из точки 8.

7. Уточняем общее время расхождения субпопуляций 1, 2, 3 из точки 8:

$$T_1 = t_8 + \max(t_3, t_6).$$

8. Определяем концентрации генов и показатель ошибки вершины 8.

9. Устанавливаем время расхождения субпопуляций 4 и 5 из точки 7 (аналогично, формула 5).



Реконструированное время (t) дивергенции субпопуляций восточных башкир в поколениях (продолжительность жизни одного поколения — 25 лет):
1 — бурзян; 2 — усерган; 3 — тамьян; 4 — карагай-кыпчаки; 5 — табын

10. Определяем концентрации генов вершины 7 и показатель ошибки полученных концентраций (аналогично, формула 6).

11. Находим генетическое расстояние $\bar{\theta}_{7-8}^2 = 0,1086$.

12. Вычисляем время расхождения двух родоначальных ветвей из точки 9 и общее время дифференциации исследуемых субпопуляций:

$$T = t_9 + \max(t_8) = 88,1 \text{ поколения.}$$

Таким образом, по схеме, предложенной М. Б. Малютовым и В. П. Пасековым, проведен филогенетический анализ субпопуляций усерган, бурзян, тамьян (древнебашкирская группа), а также карагай-кыпчаков и табын (имеющих сложную смешанную структуру; они поселились на Южном Урале в эпоху кыпчакских передвижений). Реконструируемый по генетическим и демографическим данным интервал времени дивергенции прапопуляции башкир датируется III в. до н. э., что исторически соответствует времени нахождения восточнотюркских предков башкир в Центральной Азии. Наиболее интересна та часть древа, которая отражает время формирования современного этнического облика подразделений с характерной для них генетической структурой. Все три временные точки: X в. для тамьян, XII в. для табын и карагай-кыпчаков, XVI в. для бурзян и усерган — свидетельствуют о том, что картина современной генетической дифференциации окончательно сложилась на территории Башкирии.

Сопоставление полученных временных характеристик реконструированного родословного древа восточных башкир с историческими данными подтверждает основные выводы сторонников позднего прихода башкир на Урал. Учитывая массовое появление тюрков и их активность на западе Евразийских степей в VI—VII вв. н. э., эта гипотеза, подкрепляемая нашими исследованиями, исторически более реальна²⁰. Отмеченную при реконструкции «молодость» весьма древних по историческим сведениям племен можно объяснить двумя причинами:

1. Возможность высокой степени смешения между племенами и, как следствие этого, высокой степенью их родства. Для бурзян, усерган, тамьян такое предположение вполне логично, если учесть единое центрально-азиатское происхождение, кочевой образ жизни и общие пути миграции в Приаралье, в долину Сырдарьи, на Бугульминскую возвышенность и Южный Урал через северокавказские степи и Поволжье. Наше допу-

²⁰ Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М.: Наука, 1967, с. 5, 47.

Матрица генетических расстояний

	Субпопуляции	1	2	3	4	5
1	Бурзян	—	0,0412	0,0519	0,1127	0,0520
2	Усерган		—	0,0707	0,1077	0,0529
3	Тамьян			—	0,1576	0,0911
4	Табын				—	0,0762
5	Карагай-кыпчаки					—

Таблица 4

Реконструированное время (t) в точках ветвления, общее время (T) для левой ветви (бурзян, усерган, тамьян) и общая оценка времени дивергенции (T_1) в поколениях и годах

Точка отсчета времени	Поколения	Число лет	Точка отсчета времени	Поколения	Число лет
t_6	17,3	433	t_9	45,6	1140
t_7	32,0	800	T_1	42,5	1060
t_8	25,2	630	T_2	45,6+42,5=88,1	2203

Таблица 5

Частоты генов по локусам *ABO*, *MN*, *Hr*, резус *Rh—Hr* и *Келл — Челлано* в реконструированных точках ветвления древа восточных башкир

Гены	Точки ветвления древа			Гены	Точки ветвления древа		
	6	7	8		6	7	8
<i>r</i>	0,5458	0,5911	0,5694	<i>d</i>	0,2428	0,2757	0,2512
<i>p</i>	0,2248	0,1929	0,1889	<i>C</i>	0,5096	0,5171	0,5105
<i>q</i>	0,2281	0,2147	0,2390	<i>c</i>	0,4900	0,4829	0,4893
<i>N</i>	0,2411	0,4263	0,1897	<i>E</i>	0,2184	0,2245	0,2108
<i>M</i>	0,7590	0,5658	0,8062	<i>e</i>	0,7806	0,7755	0,7885
<i>Hr</i> ¹	0,3861	0,3856	0,3677	<i>K</i>	0,0150	0,0121	0,0095
<i>Hr</i> ²	0,6137	0,6131	0,6317	<i>k</i>	0,9849	0,9878	0,9896
<i>D</i>	0,7571	0,7242	0,7486				

шение не противоречит также этнической истории карагай-кыпчаков и табын. Обе субпопуляции являются сложными конгломератами, характерными для степей Поволжья и Казахстана в предмонгольское и монгольское время. Однако полученная величина коэффициента миграции $m=0,0407$ не подтверждает предположение об интенсивных процессах смешения между этими древними племенами, но и не отрицает его полностью, так как скорость миграции, равная обмену четырьмя мигрантами за поколение (25 лет), может привести к определенным изменениям структуры популяции с малым эффективно-репродуктивным объемом²¹.

2. Сильным влиянием на пришлый генофонд тюркоязычных кочевников местных сармато-аланских, булгаро-мадьярских, финно-угорских и других племен, ассимилированных в ходе исторического развития²². Почти полное отсутствие следов угорского языкового компонента в башкирском языке объяснимо быстротой смены событий, т. е. отсутствием периода длительного соседства и обмена мигрантами. Судя по форме древа, генетическая структура популяции башкир вплоть до конца 1 тыся-

²¹ Рафиков Х. С., Юмагузина Н. Х., Белова И. Ю. Структура популяции башкир в регионе Среднего Поволжья и Урала. — В кн.: Популяционно-генетические исследования народов Южного Урала. Уфа: Изд-во БФ АН СССР, 1980, с. 6, 16; Рафиков Х. С., Кузеев Р. Г., Юмагузина Н. Х. Генетическая дивергенция башкир в аспектах этногенеза. — Там же, с. 49—50.

²² Токарев С. А. Этнография народов СССР. М.: Изд-во МГУ, 1958, с. 193—194 (раздел «Башкиры»).

челетия н. э. не испытывала значительных изменений, способных привести к отдаленным дивергенциям. Другими словами, этапы большого и длительного по времени миграционного пути на запад через Приаралье и долину Сырдарьи не отразились в форме древа, что свидетельствует о тесном общении близкородственных кочевых групп, населявших эти области.

Полученные при реконструкции родословного древа восточных башкир предварительные данные, интересные в плане этнической истории, требуют подтверждения и дальнейшей разработки с привлечением материала по западным группам башкир, а также другим популяциям Волго-Уральского региона, Средней Азии, Южной Сибири и Северного Кавказа.

Б. А. Литвинский

**«ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ» В ДРЕВНИХ
ПОГРЕБЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
(опыт истолкования в свете истории религии)**

Открытие богатейшего княжеского захоронения в Южном Казахстане (могилы «золотого человека», как писала пресса), в Иссыке, а затем поразительно богатых захоронений на Тилля-тепе («Золотом холме») в Северном Афганистане поставило целый комплекс очень сложных историко-культурных проблем. В этой статье мы намерены остановиться, с одной стороны, на самом факте почти сплошного покрытия покойников золотом — они были как бы одеты в «золотые одеяния», а с другой — на истолковании символично-мифологического смысла золотых и серебряных сосудов в этих погребениях и попытаться реконструировать круг верований, определявших особенности этого погребального обряда. Мы исходим из предпосылки, что погребенные в этнокультурном отношении принадлежали к восточным иранцам. Это совершенно бесспорно для сакского погребения Иссика¹, а также для Тилля-тепе, если считать погребенных в нем бактрийцами (отнесение же тиллятепинских погребений к юэчжам переводит иранскую атрибуцию из бесспорных в категорию наиболее вероятных). Еще один аспект проблемы состоит в том, что, согласно данным лингвистических и археологических исследований, протоиранская волна на территории Средней Азии наслочилась на остатки предшествующей протоиндийской этнической волны². В результате в верованиях и обычаях восточных иранцев, особенно, как мы проследили в специальной работе, памирцев³, до новейшего времени сохранялись мифологемы и мифологические циклы, восходящие к протоиндийскому источнику. Учитывая это, а также предельно-фрагментарный характер материалов по древнеиранской мифологии, для объяснения различных явлений идеологической жизни восточноиранского населения Центральной Азии не только закономерно, но нередко и необходимо привлекать также древнеиндийские источники.

Несколько слов о самих погребениях. В кургане Иссик (IV в. до н. э.) на погребенном был богато украшенный золотыми бляхами и пластинами головной убор; «в мочке левого уха находилась золотая серьга с

¹ Об этнолингвистической позиции среднеазиатских сакских племен см. *Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира»*. М.: Наука, 1972, с. 156 сл.

² *Литвинский Б. А. Проблемы этнической истории Средней Азии во II тысячелетии до н. э. (Среднеазиатский аспект арийской проблемы)*. — В кн.: Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н. э.). М.: Наука, 1981.

³ *Литвинский Б. А. Семантика древних верований и обрядов памирцев (I)*. — В кн.: Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. М.: Наука, 1981.

зернью и подвесками из голубой бирюзы; на шее — золотая кольчатая гривна; на теле — нижняя рубаша, орнаментированная по груди и рукам причудливыми узорами из сочетания золотых бляшек разных форм, поверх нее кожаный красноватого цвета короткий кафтан, сплошь обшитый золотыми бляхами и бляшками; на пальцах рук — два золотых перстня; кафтан подпоясан тяжелым наборным поясом, сверкающим шестнадцатью массивными бляхами-накладками, выполненными в зооморфном стиле; ...войлочные или кожаные сапоги с высокими голенищами, украшенными золотыми фигурными бляхами»⁴. Всего в погребении было найдено свыше 4000 золотых предметов, а также два серебряных сосуда⁵.

В погребениях на Тилля-тепе примечательны две специфические черты. Первая — на погребенных были одежды, украшенные золотым шитьем и золотыми нашивками, причем в каждой могиле было от 2500 до 4000 золотых бляшек, т. е. погребенные были облачены как бы в золотые одеяния. «...Скелеты буквально утопали под желтыми, искрящимися на солнце золотыми украшениями. Сотни и порой даже тысячи ярких золотых пуговиц, бляшек, колокольчиков, дисков с лазуритовыми, бирюзовыми, гранатовыми вставками были нашиты на погребальные одежды. Ткань была как бы соткана из золота — золотые нити и многие сотни жемчужин образовывали сплошной орнамент в виде побегов виноградной лозы»⁶. Вторая черта — «наиболее выдающихся лиц хоронили в золотых коронах, а под голову им укладывали серебряные или золотые сосуды». Датировка этих погребений, согласно В. И. Сараниди, — I в. до н. э. — I в. н. э.⁷

Первое истолкование обилия золота в погребениях вытекает из предположки, что они представляют собой царские захоронения или захоронения знати. Золото символизирует царскую власть. Действительно, в Шатапатха-брахмана (XXXIII, 2, 2, 17) золото — форма (олицетворение) военной власти.

Далее. Царь (знать) — это один из составных элементов индоиранского мифологического цикла: *царь — огонь — золото*. По древнеиндийским верованиям, знаменитые цари превосходили все существа в силе, затмевали всех в блеске (Калидаса. Рагхуванша, I, 14). Согласно «Законам Ману» (7,6), царь подобен солнцу, он сжигает глаза и сердца, потому никто не может глядеть на него. Эпитет царя *pratāpin* означает, в частности, «горящий», «сияющий», в то же время «великолепный», «могущественный». В этом отношении он сравнивается с солнцем и с Агни — богом огня. Выдающиеся цари носили титулы *махатеджас* — «великий блеск (сияние)» или «великое могущество»; *амичатеджас* — обладающий «беспредельным блеском (сиянием)» или «беспредельным могуществом». *Теджас* (понятие, объединяющее физический и духовный аспекты «силы») царя сравнивается с *теджас* солнца, огня; о царе в источниках говорится «пылающий». Для понимания характера *теджас* важен пассаж в Калика-пурана (31, 40 сл.), в котором сообщается, что тело Вишну-кабана утратило силу, когда *теджас* ушло из него⁸. Таким образом, *теджас* обнаруживает параллелизм с иранским *фарном*, особенно царским *фарном* (о нем см. ниже).

Драгоценные украшения, помещенные в могилу, должны были не только символизировать власть царя (или представителя знати), но им придавалось и магическое значение. По индийским источникам, боги и

⁴ Акишев К. А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. М.: Искусство, 1972, с. 52.

⁵ Акишев К. А. Указ раб., с. 23, 31.

⁶ Сараниди В. Золото хунанской Бактрии. — Наука и жизнь, 1979, № 12, с. 33.

⁷ Сараниди В. И. Золото безмянных царей. — Курьер ЮНЕСКО, 1980, январь, с. 29. См. также: Sarianidi V. I. The Treasure of Golden Hill. — American Journal of Archaeology, V. 84. Princeton, 1980; *idem*. The Treasure of the Golden Mound. — Archaeology, V. 33, № 3, N. Y., 1980; *idem*. Le tombe ragali della «collina d'oro». — Mesopotamia, XV. Torino, 1980.

⁸ Gonda J. Ancient Indian Kingship from the Religious Point of View. Leiden, 1966, p. 5, 14, 25—27, 35—36; Невелева С. Л. Вопросы поэтики древнеиндийского эпоса. Эпитет и сравнение. М.: Наука, 1979, с. 18, 81—82.

царь владела семье сокровищами. В число их входили золото и драгоценные камни — царские украшения. Считалось, что они обладали магической силой, которая передавалась владеющему ими человеку, делала его способным правильно выполнять обязанности правителя⁹.

Особые отношения связывали правление, царствование со Шри — «красотой», «блеском», «благом», «счастьем». Уже в Шатапатха-брахмане (II, 4,4,6) царь женится на Шри — богине судьбы. У Калидасы (Рагхуванша, 3,36; 4,14) Шри описывается как пребывающая в царе. Поэтому он шримант — «владеющий Шри»¹⁰.

Обратимся к Ирану. В иранской традиции формула огонь (солнце) — золото — царская власть представлена в полном и неполном вариантах. Так, согласно одному из скифских преданий, при предках скифов — братьях Липоксае, Арпоксае и младшем Колаксае — якобы с неба упали на землю золотые плуг, ярмо, секира и чаша. Когда к этим предметам по очереди подходили два старших брата, золото воспламенялось и не допускало их к себе. При приближении же младшего, Колаксае, горение прекратилось, и он забрал вещи. «Старшие братья, поняв значение этого чуда, передали младшему все царство» (Геродот, IV, 5). Согласно В. И. Абаеву, имя Колаксай — греческая передача скифского имени *Xola-xšaya, — восходящего к древнеиранскому Hvar-xšaya — «Солнцесарь»¹¹. В скифской генеалогической легенде¹² царь (буквально «Владыка Солнца») является обладателем происходящих с Небес золотых атрибутов; их принадлежность к Солнцу удостоверяется присущей им способностью при необходимости воспламеняться¹³.

Плутарх сообщает, что персы называют солнце словом «Кир» (Плутарх. Артоксеркс, 1). Этимология имени Кир (древнеперсидское Куруш) вызвала длительную дискуссию, которая еще не привела к окончательному решению, как и обсуждение самого сообщения Плутарха¹⁴. Как нам кажется, нельзя исключить предположения, что в словах Плутарха отразилось иранское представление о солнечной сущности царя (или основателя царской династии).

В отдельных источниках эта формула неоднократно выявляется в неполном виде. Основатель Ахеменидской империи, Кир II, согласно Аристубулу, был похоронен в своей гробнице в Пасаргадах в золотом саркофаге; там же находились золотое ложе (или ложе с золотыми ножками), застланное шкурами, выкрашенными в пурпурный цвет, золотые украшения, драгоценные сосуды (Страбон, XV, 3,7; Арриан, VI, 29, 5—7). Согласно Иосифу Флавию, «у парфян лишь цари могли спать

⁹ Gonda J. Op. cit., p. 38—39.

¹⁰ Gonda J. Op. cit., p. 46.

¹¹ Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. I. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1949, с. 243; *его же*. Скифо-европейские изоглоссы. М.: Наука, 1965, с. 39—41.

¹² Детальный анализ этой легенды — см. Раевский Д. С. Очерки идеологии скифских племен. Опыт реконструкции скифской мифологии. М.: Наука, 1977.

¹³ В качестве параллели можно сослаться на нуристанскую мифологию. В происходящем на горе собрании богов, когда возник вопрос, кому принадлежат находившиеся там золотые ложе и трон, считавшиеся ранее общим достоянием всех богов, Имра объявил, что он, их владелец, занял ложе — и никто не посмел ему воспрепятствовать. Именно после этого (и благодаря этому) Имра стал верховным богом. См. Robertson G. S. The Kafirs of the Hindukush. London, 1896, p. 387; Snoy P. Die Kafiren. Formen der Wirtschaft und geistigen Kultur. Stuttgart, 1962, S. 133—134; Jettmar K. Die Religionen des Hindukusch. Stuttgart, 1975, S. 67. Скифские верования, отраженные в рассказе Геродота, вместе с тем соприкасаются с кругом индоевропейских верований, где блещущее золото идентифицируется с пылающим огнем. Поразительно близкую параллель дают славянские поверья: «Клад, как известно, есть огонь, потому что горит пламенем белым, красным, желтым, смотря по металлу. По польскому рассказу, каждая попытка одной пани взять горсть золота из клада ведет за собой пожар в одном из ее сел». См. Потёбня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914, с. 175; Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры. — В кн.: Византия, южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура. М.: Наука, 1973, с. 51.

¹⁴ Обзор точек зрения и ссылки на литературу — см. Gall H. Bemerkungen zum Kyrosgrab in Pasargadae und zu verwandten Denkmälern. — Archäologische Mitteilungen aus Iran. В. 12. Berlin, 1979, S. 275—276. Лингвистический анализ см. Абаев В. И. К этимологии древнеперсидских имен Kuruš, Kambujaya, Cīšpīš. — Этимология 1965. М.: Наука, 1967 с. 286—291.

на золотом ложе — это было привилегией и символом власти парфянских царей» (Иосиф Флавий. Иудейские древности, XX, 3,3).

Царские одежды в древнем Иране были красными, но, когда царь выполнял жреческие функции, он надевал белые одежды. Согласно Квинту Курцию (III, 3,17), одежда царя была пурпурной «с белым центром». «Космическая позиция царя отражалась в его одежде»¹⁵.

Древние цари Ирана носили титул *фратадара* — «хранитель огня»¹⁶. У Аршакидов официальное обожествление царя происходило одновременно с его коронацией. Одновременно в г. Асааке (Астауэна) возжигался вечный огонь (Исидор Харакский. Парфянские стоянки, II). Таким образом, можно считать, что в г. Асааке существовал храм огня, в святилище которого вечный огонь возжигался в момент коронации¹⁷. Диодор Сицилийский (XVII, 114, 4) сообщает, что у иранцев гасят священный огонь, когда царь умирает.

Аполлоний Тианский был свидетелем того, как парфянский царь принес в жертву Солнцу белую лошадь нисайской породы (Филострат, I, 31). В сасанидское время приносили в жертву богу огня белых быков и оленей¹⁸. Современники сообщали, что в VII в. в сасанидской резиденции было изображение сасанидского царя, как бы помещенное на небеса, а вокруг — солнце, луна, звезды¹⁹. Согласно Аммиану Марцелину (XVII, 5,1), Шапур II в своем письме к императору Константину называл себя «царем царей, товарищем звезд, братом Солнца и Луны».

Как сообщает Бируни, «Джемшид любил странствовать по разным местам, и, когда ему захотелось побывать в Азербайджане, он сел на золотой престол и люди понесли его на своих шеях. И когда лучи солнца упали на Джемшида и люди увидели его, они восхитились и обрадовались, и объявили этот день праздником»²⁰.

Аналогичный обычай и однотипные представления существовали в Византии — имеется в виду византийский коронационный ритуал²¹, а также у многих других народов²², в том числе древневосточных²³. В средневековой таджикско-персидской поэзии восхваляемые цари сравниваются с «огнем», называются «Светочем», «Солнцем» и «Солнцем мира»²⁴. Как известно, «божественный статус иранских царей, как и идея их божественности, — общий индоиранский принцип»²⁵.

Индийские верования, как указывалось выше, находят соответствия и в иранских представлениях о хварне (фарне), в частности о царском фарне²⁶. Так, в Михр-яште (127) говорится: «Перед Митрой летит пылающий огонь, который является могущественным фарном кавиев»²⁷.

Из согдийско-манихейской версии сказки о Кесаре и ворах²⁸ явст-

¹⁵ Widengren G. The Sacral Kingship of Iran. In: The Sacral Kingship. Leiden, 1959 (Studies in the History of Religions. Supplements to Numen. IV), p. 255.

¹⁶ Widengren G. The Sacral Kingship, p. 251.

¹⁷ Кошеленко Г. А. Царская власть и ее обоснование в ранней Парфии. — В кн.: История Иранского государства и культуры. М.: Наука, 1971, с. 215.

¹⁸ Widengren G. The Sacral Kingship, p. 251.

¹⁹ L'Orange H. P. Cosmic Kingship in the Ancient World. — In: The Sacral Kingship. Leiden, 1957 (Studies in the History of Religions. — Supplements to Numen, IV), p. 484.

²⁰ Бируни Абурейхан. Памятники минувших поколений. Избр. произведения. Т. I. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1957, с. 226.

²¹ L'Orange H. P. Studies on the Iconography of Cosmic Kingship in the Ancient World. Oslo, 1953, p. 88—89.

²² Frankfort H. Kingship and the Gods. Chicago, 1958, p. 148—161; 307—310.

²³ L'Orange H. P. Studies, p. 90 et al.

²⁴ Османов М.-Н. О. Стиль персидско-таджикской поэзии XI—X вв. М.: Наука, 1974, с. 95.

²⁵ Widengren G. The Sacral Kingship, p. 247.

²⁶ Это обосновал уже Г. Ломмель — см. Lommel H. Die Vāšt's des Avesta/Übersetzt und eingeleitet von Lommel H. Göttingen, 1927, S. 170—171; см. также: Duchesne-Guillemin J. Fire in Iran and in Greece. East and West. V. 13, № 2—3, Rome, 1962; Dumézil G. Mythe et épopée. Types épiques indo-européens: un héros, un sorcier, un roi. Paris, 1971, p. 284—286.

²⁷ Cershevitch J. The Avestan Hymn to Mithra. Cambridge, 1967, p. 137, 278—279.

²⁸ Henning W. B. Sogdian Tales. — Bulletin of the School of Oriental and African Studies, V. XI, pt 3. L., 1945, p. 477—479. Бируни сообщает, что во время арабского завоевания была раскопана одна из гробниц (наусов) какого-то «царя из Хосроев», там

вует, что в согдийско-манихейской среде фарн воспринимался как муж, носящий царские одежды и царскую корону, причем присутствие фарна в гробнице рассматривалось как заурядное явление.

В этой связи следует указать на свидетельство, к которым впервые привлёк внимание Г. Виденгрена²⁹. Имеются в виду сообщения Фавстоса Бузанда и Моисея Хоренского о действиях одного персидского полководца, совершившего набег на Армению и захватившего несметные сокровища. По его приказу «...разрыли могилы прежних армянских царей — храбрых мужей Аршакуни, — и кости царей увезли в плен». Персидские воины объясняли это требованиями своей (т. е. иранской) религии. «Мы, — говорили они, — для того перевозим останки армянских царей в нашу страну, чтобы слава царей и счастье и храбрость этой страны вместе с останками царей перешли в нашу страну» (Фавстос Бузанд, V, 24)³⁰. В тексте источника средствами армянской письменности переданы среднеперсидские термины *фарн* и *бах*³¹. Именно поэтому, чтобы захватить царский фарн и царское счастье, считает Г. Виденгрена, стремились осквернить и разрыть царские гробницы (см. Геродот, IV, 127; Дион Кассий, XXVIII, 1 и сл.)³².

Таким образом, останки покойного правителя являются воплощением его фарна. Но у многих народов именно голова (череп) рассматривается как средоточие жизни, как местопребывание души. Поэтому в обширном спектре культур голова считается священной частью тела, она связывается со многими табу. В Шатапатха-брахмана (VI, I, 1, 2—6) жизненная сущность семи существ, из которых был создан Праджапати, сделалась его головой. По современным индусским верованиям, различные божества пребывают в разных частях тела, голова же — местопребывание Верховного Существа.

Разнообразные представления и обычаи, связанные с магическо-охранительной силой головы (черепа) покойного члена семейно-родовой группы, известны в Африке, Австралии, Меланезии и других регионах. В кельтской мифологии голова предков необычайно могущественна, она даже может защитить страну от вторжения³³.

Были представления такого рода и у древних народов Средней Азии и прилегающих областей, в частности у исседонов (Геродот, IV, 26)³⁴.

В кушанской Бактрии существовал культ человеческого черепа. При наших раскопках в низовьях Кафирнигана, на Хирман-тепе³⁵, в нише одного из помещений находился череп. Как любезно сообщил нам Л. И. Альбаум, в раскопанном им буддийском монастыре Фаяз-тепе (Термез) в нишу был поставлен череп на подставке из алебастра. Эти находки позволяют предположить наличие религиозной ситуации, связанной с почитанием черепа, близкой той, которая охарактеризована Геродотом для исседонов, и вместе с тем конкретизируют наши представления о кушанско-бактрийском зороастризме — эти находки вполне «вписываются» в систему зороастрийской религии³⁶.

была драгоценная корона. — См. *Ал-Бируни*. Собрание сведений для познания драгоценностей (минералогия). Л.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 65.

²⁹ *Widengren G.* Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte. — *Numen*. V. I., fasc. 1. Leiden, 1954, S. 57—58; *idem*. The Sacral Kingship, p. 254.

³⁰ История Армении Фавстоса Бузанда. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1953, с. 112—113. См. также: *Моисей Хоренский*, III. 27 (Моисей Хоренский. История Армении/Пер. Эмина Н. О. М., 1893, с. 164—165; *Moses Khorenats'i. History of the Armenians/Transl.* by Thomson R. W. London, 1978, p. 282—283).

³¹ *Widengren G.* Stand und Aufgaben..., S. 57—58, Anm. 211.

³² *Widengren G.* Stand und Aufgaben..., S. 57—58.

³³ *Mac Culloch J. A.* Head. — In: *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, v. VI/Ed. by Hastings J. Edinburgh, 1913, p. 532, 535, 536; *Onians R. B.* The Origin of European Thought. Cambridge, 1954, *passim*.

³⁴ Об этом круге верований см. *Рапопорт Ю. А.* Из истории религии древнего Хорезма. М.: Изд-во АН СССР, 1961, с. 35—37.

³⁵ *Литвинский Б. А.* Раскопки Южнотаджикистанского отряда в 1972 г. (Памятники Шаартузского района). — В кн.: Археологические работы в Таджикистане. В. XII (1972 г.). Душанбе, 1976, с. 84.

³⁶ *Литвинский Б. А., Седов А. В.* Тепан-шах (культура и связи кушанской Бактрии) (в печати).

Все это позволяет высказать предположение, что в восточноиранской среде фарн царя (человека) сопоставлялся с его головой. Из верований такого рода вытекало, что именно на голову как на воплощение «пылающего фарна»³⁷ следовало надеть золотую корону, поместить ее в золотую (или серебряную чашу), ибо золото воплощало сияние, огонь³⁸.

Аналогичные представления были и в средневековом Иране, где корона и оружие, как следует из таджикско-персидской литературы — золотые³⁹; у греков золотые изделия и предметы считались символом царской власти (см., например, Илиада; I, 245 сл., I, 279; II, 100 сл.; II, 186; VI, 159, и др.). Такие представления существовали и в других традициях, например у древних египтян, народов Сибири и т. д.

Употребление «золотых одежд» как сакральных одеяний богов известно уже в Месопотамии, причем очень древнего времени; в Ассирии эти одежды, кроме того, были царской регалией. Сведения об этом впервые встречаются в надписи из Эшнунны, где говорится: «Одежда из золота для бога Тишпак». Изучение текстов приводит к заключению, что одежда, изготовленная для статуй богов, была сплошь покрыта маленькими золотыми украшениями: розетками, звездами, дисками, кольцами, растительными и зооморфными изображениями. Для починки или чистки их иногда снимали.

Изображения такого рода одежд в произведениях искусства появляются с XII в. до н. э. и продолжают существовать в месопотамской иконографии до ахеменидского периода.

Покрытые нашитыми золотыми бляшками одежды, по мнению Л. Оппенгейма, может быть, появились первоначально в Эламе, затем распространились в Месопотамии. Из нее они попали в Иран (из него, позже, в Византию), с другой стороны в Средиземноморье, а затем в Европу⁴⁰. Разумеется, вторая часть этого рассуждения весьма гипотетична, если не сказать — сомнительна. И в Средиземноморье, и у индоиранцев были свои традиции, связанные с царской властью, и лишь однотипность их (в этом отношении) привела к распространению у этих народов золотых царских одеяний.

Вполне вероятно, что при украшении царственных покойников огромным количеством золота в казахстанских и афганистанских погребениях доминировала именно эта идея (золото — символ царя, царской власти, царской судьбы и счастья — фарна); их буквально «завертывали» в золото. Но исчерпывается ли этим смысл помещения золота в могилу? Конечно, сейчас мы можем лишь строить догадки. Но некоторые детали погребений в сопоставлении с определенными мифологическими циклами заставляют думать, что такое объяснение не было бы исчерпывающим.

Тело божества огня Агни — «чистое золото» (Ригведа, 4,10,6)⁴¹. Авторы брахман также идентифицируют золото и огонь. Золото рассматривается ими как «семя Агни». Золото считается «светом Агни». В Шатапатха-брахмана (XIII, 4,1,7) золото на самом деле — огонь, свет, бессмертие. Уже в Ригведе (I, 46,10) солнце — эквивалент золота. В Шатапатха-брахмана (VII, 4, 1, 10) золотая пластина идентифицируется с солнцем. В других брахманах золото — местопребывание Агни и одно-

³⁷ Литвинский Б. А. Кангуйско-сарматский фарн (к историко-культурным связям племен Южной России и Средней Азии). Душанбе: Дониш, 1968, с. 75—77; Rosenfield J. The Dynastic Art of the Kushanas. Berkeley and Los Angeles, 1967, p. 96, 198—199.

³⁸ Onians R. B. Op. cit., p. 166. Впрочем, уже в XI в. рационалист Бируни писал: «...блеск чистого золота и его сияние под лучами солнца не удивительны» (Ал-Бируни. Собрание сведений, с. 225).

³⁹ Фарханги забони тоҷики, II, М.: Советская энциклопедия, 1969, с. 375; Kowalski T. Studia nad Sāh-nāme. V. 1—II. Krakow, 1952—1953; Hansen K. H. Die Krone in Sāh-nāme.— Der Islam. B. 31. Berlin, 1953.

⁴⁰ Oppenheim L. The Golden Garments of the Gods.— Journal of Near Eastern Studies, V. VIII, № 3. Chicago, 1949.

⁴¹ Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt von K. F. Geldner. I. Teil. (The Harvard Oriental Series. V. 33). Cambridge, Mass.—London. Nachdruck. Göttingen, 1978, S. 430.

временно его тело⁴². Золото — форма проявления не только Агни, но и других богов (Шатапатха-брахмана, X, I, 4, 9).

В древнеиндийском эпосе бог — «златоокый», «златокожий», на нем пурпурное одеяние, на голове золотая тиара, у него золотой панцирь и венки⁴³. Аналогичные верования были у древних греков⁴⁴. Древние иранцы верили, что, в частности, бог Вайу носит окрашенное в красный цвет одеяние с золотом, серебром и драгоценными камнями⁴⁵.

В древней Индии при церемонии *агничаяна*, согласно одному из описаний, при постройке алтаря огня, в частности, клали золотой лист, а на нем устанавливали обращенную на восток золотую человеческую фигуру. Считалось, что эта скульптура воспроизводит божества Праджапати, Агни и бессмертную сущность самого жертвователя (Шатапатха-брахмана, 7,4,1,15). Затем под пение соответствующих священных текстов осуществляется церемония почитания статуи⁴⁶.

Золото может составлять и сущность некоторых людей. В Шатапатха-брахмана (VII, 4,2,17) в отношении церемонии *агничаяна* говорится: божественное тело жреца — это золотой человек, а «этот кирпич (сделанный из глины) — его человеческое тело». «Золотой человек, его бессмертная форма, его небесная форма». Жрец, производящий церемонию *агничаяна*, обожествляется: «он рождается в ином мире как сделанный из золота» (Шатапатха-брахмана, X, I, 4,9). Он при этом уподобляется Праджапати, окончательной формой которого было золотое тело⁴⁷.

Ашвагхоша в «Жизни Будды» (I, I, 14), характеризуя только что родившегося младенца — будущего Будду Шакьямуни, сообщает, что его тело было лучезарно, подобно солнцу и сияло золотом. Далее (I, I, 45) говорится, что оно было золотого цвета⁴⁸. Вообще в ранней буддийской литературе Будда носит эпитет «цвета золота». Позже в соответствии с предпосылкой, что золото — признак необычайной духовной просветленности, все изображения Будды делались позолоченными⁴⁹.

Но и обычный человек, который жертвовал кусок ткани с привязанным куском золота, полагал, что он получит место в мире богов. В одном тексте прямо говорится, что тот, кто дает золото брахманам, должен превратиться в свет и жить на небесах⁵⁰. Весь этот круг представлений — лишь одно из проявлений более широких и глубоких концепций.

Человек, по индийским (вероятно, по индоиранским) представлениям, имел «огненную» сущность, обладал «огненной» субстанцией. Некоторое представление об этом дает Брихадараньяка Упанишада. Внутри человека находится огонь — Вайшнуvara (V, 9, I). «Поистине человек, Гаутама — это огонь. Открытый рот — его топливо. Дыхание — дым. Речь — пламя. Глаз — угли. Ухо — искры» (VI, 2,12). Когда же человек умирает, «то его несут к (погребальному. — Б. Л.) огню. ...На этом огне боги совершают подношение человека. Из этого подношения возникает человек, покрытый сиянием» (VI, 2,14). Считалось, что весь

⁴² Gonda J. Background and Variants of the Hiranyagarbha Conception.— Studies in Indo-Asian Art and Culture, V. 3, New Delhi, 1974, p. 40—41, 43.

⁴³ Невелева С. Л. Вопросы поэтики..., с. 11—12.

⁴⁴ Onians R. B. Op cit. Мотив золотоволосого юноши, наделенного богатырской силой, широко распространенный в сказках Европы, Индии и др. (Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 243), очевидно, восходит к этому источнику.

⁴⁵ Wikander S. Vayu, I. Lund, 1942, S. 29; Widengren G. Die Religionen..., S. 39.

⁴⁶ Widengren G. Die Religionen..., S. 192. Сводку источников об этой церемонии см. Sharma G. R. The Excavations at Kauśāmbi (1957—1959). Allahabad, 1960, p. 129—189.

⁴⁷ Gonda J. Background..., p. 43.

⁴⁸ Beal S. The Fo-sho-hing-tsan-king. A Life of Buddha by Asvaghosha Bodhisattva/Translated from Sanscrit into Chinese by Dharmaraksha, A. D. 420 and from Chinese into English by S. Beal.—The Sacred Books of the East. V. XIX. Oxford, 1883, p. 3.

⁴⁹ Tucci G. Buddhism.—Encyclopedia of World Art. V. I. N. Y., Toronto, L., 1958, p. 689 (на эту статью мое внимание обратила Е. Огнева).

⁵⁰ Gonda J. Background..., p. 43—44.

мир — это жертвенный огонь (VI, 2,9). Сожжение покойника — это приобщение его к универсальной стихии огня⁵¹.

В. Н. Топоров любезно обратил мое внимание еще на один аспект проблемы, которую он сформулировал следующим образом. Смерть царя=заходу солнца. В греческой традиции солнце=царю, оно царствует, т. е. светит. Параллелизм царя и солнца переносится в загробный ритуал. По бокам мертвого царя кладутся изображения солнца; на гробнице рисуют солнце. Золото и особенно круглые золотые предметы могут воплощать солнце. Мертвый царь уподобляется зашедшему солнцу. Как взойдет (возродится) солнце, так возродится и царь. Царь золотой, так как он воплощение солнца на земле⁵².

Весь этот обширный круг представлений был связан и с представлениями о загробном мире. По иранским верованиям, лучи сияющего солнца должны падать на покойника — иначе у него нет надежды достигнутьрая (Видевдат, 5,13,7,45; пехлевийский Риваят, CXVIII). Существовало представление о тропе из солнечных лучей, ведущей на Небеса⁵³. Огонь, как показывает эпизод с Кэрэсасой (Денкард, IX, 15,3), может разрешить или не разрешить душе подняться на Небеса.

Но огонь был связан с загробным миром и в другом отношении: в «Гатах» он называется «Красный Атар» и упоминается в рассказе о Страшном суде (Ясна, LI, 9).

В ряде манихейских текстов на парфянском языке душа праведника, поднимающаяся на Небеса, вступает в зал и получает трон и корону. Мани при своем путешествии на небо обретает одеяние, светящуюся корону и красивую диадему⁵⁴. Эти дары соответствуют тем, что вручаются душе в Каушитаки Упанишада. «Это совпадение,— замечает Г. Виденгрэн,— подчеркивает, что здесь мы встречаемся еще с индоиранскими представлениями»⁵⁵.

Поразительно интересно в этом плане сообщение Ктесия о том, что саки над могилой своей царицы Заринеи соорудили гробницу, надгробие которой имело вид огромной пирамиды. Над ней «возвели ее колоссальную золотую статую, воздали героические почести и всякие другие...» (Диодор, II, 34, I). Выражение «всякие другие», возможно, говорит о сложных ритуальных действиях, связанных уже с ее другим, «божественным» качеством. (Представление о характере таких ритуалов и соответствующих им верованиях в этнически родственной среде дают приведенные ниже сведения из индийских источников, где также говорится о золотой статуе.)

Значительно позже, в X в., Мардавидж бен Зийар (ум. в 935 г.) воспринял царские эмблемы домусульманских правителей Ирана: золотой трон, золотую корону и др. Секретари и астрологи рассказали ему, что царь всемирного царства должен иметь желтые ноги и особые отметины на теле. И Мардавидж провозгласил, что его ноги золотистого цвета и поэтому он — монарх для всех⁵⁶. Следовательно, на протяжении огромного исторического периода, от Ахеменидов до средневе-

⁵¹ В этом отношении показательно, что у хеттов место ритуального трупоположения *uktuṛi* «называлось термином, образованным от *uktuṛi* („вечный“, „постоянный“ „постоянный огонь“), — см. Иванов В. В. Культ огня у хеттов. — В кн.: Древний мир. М.: Изд-во вост. лит.-ры, 1962, с. 272; прим. 35. Интересен анализ проблемы идеологических представлений, связанных с трупосожжением, — см. Лелеков Л. А. Отражение некоторых мифологических воззрений в архитектуре восточноиранских народов в первой половине I тысячелетия до н. э. В кн.: История и культура народов Средней Азии (древность и раннее средневековье). М.: Наука, 1976.

⁵² Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность Т. Я. Елизаренковой и В. Н. Топорову за ценные консультации.

⁵³ Boyce M. A. A History of Zoroastrinism, V. I. — In: Handbuch der Orientalistik. VIII, I, 2, 2a. Leiden — Köln, 1975, p. 328.

⁵⁴ Wikander S. Op. cit., S. 43—48; Widengren G. Die Religionen..., S. 30, 194—195.

⁵⁵ Widengren G. Die Religionen..., S. 38.

⁵⁶ Widengren G. The Sacral Kingship, p. 249; Minorsky V. La domination des Dailamites. — In: Minorsky V. Iranica. Teheran, 1964, p. 17—18, 23; Bosworth O. E. The Heritage of Rulership in Early Islamic Iran and the Search for Dynastic Connections with Past. — Iranian Studies, 1978, v. XI, p. 19—20.

ковья, в Иране не только существовало представление о соляной сущности царя, но его также отождествляли с золотом⁵⁷.

Для нашей темы очень важна одна из манифестаций этого цикла верований, а именно что золото в ведическое время рассматривалось как жизнь, собственно *прана* — жизненная сила или еще более часто — «продолжительность жизни, полный жизненный цикл, так называемое бессмертие»⁵⁸. По зороастрийским же мифам, где главенствует идея не о золоте, а об огне, последний существует во всех созданиях. Семя всех живых существ (человека и животных) происходит из огня. Природа солнца — также огонь⁵⁹.

При ритуальном возлиянии *махиман*, при ашвамедхе, две чаши с сомой предназначаются для Праджапати. Они олицетворяют царское достоинство и наливаются соответственно в золотой и серебряный сосуды (Шатапатха-брахмана, XIII, 2,23; XIII, 5,3,7). В других источниках лицо или реальная форма Пуруши (Пушана) покрыто или скрыто золотым сосудом⁶⁰. Исходной формой космогенеза является золотое яйцо, в котором возникает Пуруша (Законы Ману, I,9—13).

Следует иметь в виду, что не только золото, но и серебро играло значительную роль в индийской мифологии. Чхандогья Упанишада (III, 19) рассказывает, что мир, начав свое существование, превратился в яйцо. Из его серебряной половины образовалась земля, из золотой — небо.

Но и у древних иранцев сосуд (чаша) имел сакрально-магическое значение (реликты таких представлений сохранились у осетин), являлся атрибутом жреческого сословия⁶¹. Среди предметов, упавших с неба, согласно скифской легенде Геродота (IV, 5), была и золотая чаша (см. выше). В средневековой иранской литературе чаша — одно из воплощений царского фарна⁶².

Реликтом древних представлений и обычаев, связанных с чашей, является употребление современными иранскими зороастрийцами в поминальном культе бронзовой чаши, внутри которой выгравировано имя покойного друга или родственника⁶³.

В «Атхарваведе» описывается церемония, обеспечивающая ритуальное соединение царя с золотым яйцом⁶⁴. Важное место занимают действия, связанные с золотым сосудом. Для выполнения церемонии царь садится в этот сосуд, а выйдя из него, прикрывает его золотым колесом. «Несомненно, — пишет современный исследователь, — в этом процессе ритуального возрождения момент пребывания в золотом сосуде является существенным. Это напоминает следующее ритуальное предписание: что человек, долго отсутствовавший и считавшийся умершим, после своего возвращения должен был совершить ритуал возрождения в золотом (или глиняном) сосуде, наполненном расплавленным маслом и водой»⁶⁵.

⁵⁷ Интересно, что в памятниках таджикско-персидской поэзии слово «зар» наряду со значением «золото» имело и другое — «старик», «старуха», например, в стихах Дакики, — см. Фарханги забони тоҷики. I. М.: Советская энциклопедия, 1969, с. 438—439.

⁵⁸ Gonda J. Background..., p. 41.

⁵⁹ Boyce M. Op. cit., p. 140—141.

⁶⁰ Gonda J. Background..., p. 49. О других индийских представлениях о сакральной роли сосуда см. Shellgrove D. L. The Notion of Divine Kingship in Tantric Buddhism. — In: The Sacral Kingship, p. 202—208. В качестве параллели можно привести следующее. Как сообщили капитану Ф. Бартону, в момент находки Амударьинского клада на золотую скульптурную голову безбородого мужчины была надетя полусферическая золотая чаша (Dalton O. M. The Treasure of the Oxus. London, 1964, p. 3, 9).

⁶¹ Dumézil G. La préhistoire Indo-Iranienne des castes. — JA, 1930, t. 216, № 1—2, p. 120—123.

⁶² Coyajee J. C. Studies in Shāhnāme. Bombay, 1939, p. 53—54.

⁶³ Browne E. G. Year amongst the Persians. Cambridge, 1927, p. 410—411.

⁶⁴ Gonda J. Background..., p. 49. См. также: Caland W. Die Altindischen Todten und Bestattungsgebräuche. Amsterdam, 1896, S. 89; Kane P. V. History of Dharmaśāstra. V. IV. Poona, 1953, p. 225. Об этой концепции см. Топоров В. Н. К реконструкции мифа о мировом яйце (на материале русских сказок). — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, В. 198. Тарту, 1967.

⁶⁵ Gonda J. Background..., p. 49.

Таким образом, иранская традиция, сохранившаяся значительно хуже, все же по ряду позиций стоит в одном ряду с древнеиндийской, а многие элементы должны иметь общендоевропейское происхождение, ибо зафиксированы также в нуристанской, древнегреческой и иных традициях.

Итак, символика этих погребений состоит из сочетания нескольких слоев верований. К представлению о золоте как символе социального и общественного статуса присоединяются другие, связанные с тем, что золото представляет внутреннюю, божественную сущность знатного погребенного, которая остается после исчезновения земного олицетворения.

Именно в этой связи можно рассматривать помещение головы покойника в могиле в золотом или серебряном сосуде⁶⁶ — это должно было обеспечивать безусловное возрождение или более высокую (полную) степень такого возрождения отдельных социально маркированных покойников. Вероятно, той же цели служили и помещаемые в той или иной части могилы сосуды из золота (серебра), а также золотая корона (венец).

⁶⁶ Во многих мифологических традициях, говоря словами С. Ю. Неклюдова, «...в оппозиции „золото/серебро“ не только правый член является слабоакцентированным, но и само противопоставление может остаться совершенно невыраженным, передавая идею не контраста, а повтора с вариацией» (Неклюдов С. Ю. Заметки о мифологической и фольклорно-эпической символике у монгольских народов: символика золота — *Etnografia Polska*, Т. XXIV, з. 1, Warszawa, 1980, р. 91).

А. Н. Кожановский

ИСПАНИЯ: НОВЫЙ ЭТАП ЭТНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В Испании во второй половине 70-х годов произошли события, резко изменившие направленность ее внутривнутриполитического развития и непосредственно затронувшие национальный вопрос в стране. Не случайно столь большое значение придается здесь сейчас представлению автономии отдельным регионам. Связь между политическим статусом территории проживания той или иной этнической общности и обликом этой общности достаточно очевидна. Признание самобытности данной группы, ее права на защиту и культивирование своих специфических черт (в том числе языка или диалекта), в том случае, когда это отвечает устремлениям самих членов группы, ведет к ее сохранению и консолидации. Напротив, весьма существенный ущерб наносит этнической группе противоположное отношение, получившее в той же Испании, в сравнительно недавнем прошлом, свое выражение в декларировании существования «единой испанской нации», в частности оправдывавшем политику насильственной ассимиляции в отношении «малых народов» этой страны. И все же политический статус обычно оказывает свое действие лишь как одна из составляющих в сложном комплексе причин, определяющих общую тенденцию этнического развития, причем эта тенденция может не совпадать с направлением действия «политического фактора» и даже быть противоположной ему. Примерно такая ситуация сложилась в Испании в годы существования франкистского режима.

Резкое ухудшение экономического положения Испании во второй половине 50-х годов вынудило ее тогдашнее правительство изменить направленность внутренней политики. Началась перестройка экономики по «классическому» капиталистическому образцу, с тем, чтобы сделать

рыночные отношения основным фактором решения экономических задач¹. «План стабилизации экономики», принятый в 1959 г., предусматривал отмену государственного контроля над хозяйственной деятельностью всех видов, ценами, заработной платой и т. д. Лозунгом дня стала рационализация производства. В промышленности происходило обновление основного капитала; улучшение технологий производства и ввоз современного оборудования из-за рубежа способствовали повышению производительности труда. Вместе с тем закрывалось множество мелких и средних предприятий, оказавшихся нерентабельными.

Ускоренный процесс индустриализации экономики в 60-е годы привел к тому, что уже к началу следующего десятилетия Испания вошла в число экономически развитых капиталистических стран², оказавшись, в частности, в первой десятке производителей автомобилей, судов, атомной энергии³ и т. д.

Но поистине беспримерным для практики франкистов стало их решение отказаться от поддержки мелкокрестьянского землевладения, с его архаичной организацией труда и отсталой техникой, на протяжении столетий бывшего одной из наиболее характерных черт традиционной социально-экономической структуры в деревне. С этой целью была отменена такая искусственная ограничительная мера, как установление государством закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию на уровне рентабельности наименее эффективных хозяйств; напротив, власти начали поощрять тенденцию к концентрации земли; и по одному из новых законов — «о минимальных наделах» — крестьян, участки которых были менее установленных законом размеров, обязывали передать их за определенное вознаграждение более крупным землевладельцам⁴. Остальные крестьяне были поставлены перед необходимостью конкурировать с крупными землевладельцами, использовавшими в производстве машины и механизмы.

Капиталистическая «рационализация» в сельском хозяйстве привела к быстрому численному росту категории «лишних людей» из числа мелких хозяйев, экономическое положение которых вынуждало их к отказу от прежних форм деятельности. За 10 лет, с 1960 по 1970 г., сельское хозяйство потеряло около 2 млн. человек активного населения⁵, если же добавить к ним членов семей, цифры будут еще более впечатляющими. Так, по одному из источников, на протяжении всего двух лет (1964 и 1965 гг.) деревню покинули 950 тыс. человек⁶.

С учетом того, что в конце 40-х годов в испанской деревне было сосредоточено 4,8 млн. человек активного населения, миграции 60-х годов могут быть признаны огромными, даже невиданными в истории Испании. Но ведь и раньше здесь имелись «лишние люди». Обычным был отъезд в страны Америки сыновей галисийских, астурийских или баскских крестьян, которые не попадали в число наследников и отправлялись искать счастья на чужбину. Те из них, кому удавалось накопить какую-то сумму, возвращались домой и с помощью сколоченных средств либо покупали участок земли, либо женились на наследнице крестьянина-землевладельца и таким образом добивались желаемого положения хозяина-собственника (такие удачливые возвращенцы получили прозвище «индейцы»). Крестьянские миграции этого рода, — а они были характерны и для 40—50-х годов, — имели вполне «традиционный» облик, т. е. не затрагивали существующую сельскохозяйственную структуру. Напротив, они являлись ее необходимой составной частью, клапаном,

¹ Испания, 1918—1972 гг. М.: Наука, 1972, с. 383.

² Развитые капиталистические страны. Социально-экономический справочник. М., 1979, с. 299.

³ J. Maestre Alfonso. J. Modernización y cambio en la España rural. Madrid, 1975, p. 208.

⁴ Лагутина Е. И., Лачинский В. А. Страны Пиренейского полуострова. Л., 1977, с. 59.

⁵ Leal J. L. y otr. La agricultura en el desarrollo capitalista español (1940—1970). Madrid, 1977, p. 195.

⁶ España hoy. Madrid, 1974, p. 27.

ослабляющим фактором для населения, появлявшегося главным образом за счет естественного прироста.

Несколько иначе обстояло дело с батраками. Казалось бы, эти люди, жизнь которых была наименее обеспеченной и немалая часть которых к тому же могла рассчитывать на работу лишь в период сбора урожая, с рождения должны были быть ориентированы на отъезд из родных мест. И, однако, в большинстве своем они на это не решались, связывая все надежды на изменение своего положения с земельной реформой, т. е. с получением надела⁷. К 50-м годам стало окончательно ясно, что режим сохранит свою власть, а значит, такого рода надеждам сбыться не суждено. И огромная масса батраков (составлявших в 1950 г. половину сельского населения)⁸, сначала робко и неуверенно, а затем все с большей интенсивностью стала вовлекаться в движение исхода из деревни в город — на стройки, промышленные предприятия и т. д., причем с каждым годом все большая их часть окончательно оседала на новом месте. И значение экономических реформ конца 50-х годов, в социально-психологическом плане лишивших мелкую собственность на землю прежнего ореола в качестве гарантии стабильного существования, состоит в том, что с их помощью тенденция полного разрыва с деревенским миром не только укрепилась, но и стала доминирующей, а также распространилась на мелких землевладельцев. К уезжавшим батракам во все увеличивающемся количестве стали присоединяться мелкие собственники, и, по некоторым данным, уже в 60-е годы их миграция превысила батрацкую. Причем теперь она никак не укладывалась в рамки «традиционной», служившей стабилизации привычного социального порядка в испанской деревне. Почти не осталось желающих скопить денег на чужбине, чтобы купить по возвращении землю, хотя для этого было больше возможностей, чем раньше. Вновь связать свою жизнь с сельским хозяйством решались главным образом представители старших поколений⁹. Многим очевидцам казалось, что происходит настоящее обезлюдение сельских местностей.

На первый взгляд экономических причин вполне достаточно для объяснения этого явления. Действительно, помимо упомянутых правительственных мер, положение мелких земледельцев существенно осложнил «исход» батраков. Далеко не все оказались в состоянии компенсировать подорожавший наемный труд современной техникой, не говоря уже о том, что для ее рентабельного использования требовался определенный минимум земли (например, для трактора в центральной Испании — 50 га), которым большинство не располагало. И все же какая-то часть крестьянства сумела перейти на новые формы хозяйства, нередко путем объединения в кооперативы; описаны случаи, когда целые селения, пережив более или менее продолжительный трудный период, смогли, используя конъюнктуру, существенно поднять уровень жизни своих обитателей. Но примечательно, что почти повсеместно в Испании — и в разоряющихся, и в более или менее благополучных хозяйствах — наблюдался один и тот же феномен: стремление сельских жителей, и в первую очередь молодежи, уйти в город¹⁰.

Дело в том, что собственно экономическая сторона становления современного капиталистического производства в деревне представляла собою лишь часть, — хотя и наиболее весомую и в значительной мере определяющую, — более широкого процесса, нередко называемого «модернизацией». Произошло коренное изменение соотношения двух основных укладов жизни — архаичного деревенского и промышленно-городского, причем, если раньше они бытовали как бы по соседству и первый из них даже в какой-то степени влиял на второй, навязывая ему свои

⁷ García Fernández J. La emigración exterior de España Barcelona, 1965, p. 226.

⁸ Leal J. L., y otr. Op. cit., p. 184.

⁹ Pascuals A. El retorno de los emigrantes. Barcelona, 1970, p. 151; Dessens A. L'Espagne et ses populations. Bruxelles, 1977, p. 121.

¹⁰ Braudes St. El impacto de la emigración en una aldea de los montes de Castilla. — In: Douglas W. A. y otr. Los aspectos cambiantes de la España rural. Barcelona, 1978, p. 57—58.

нормы и традиции¹¹, то теперь решительно доминировал индустриально-городской уклад. Последний вторгнулся в традиционную структуру, подвергая ее ломке, переделке в соответствии со своими потребностями. В стране возникал новый психологический климат. По мнению некоторых авторов, Испания и испанцы превращались в нечто совершенно иное, отличное от того, чем они были еще недавно; изменения 60—70-х годов нередко рассматриваются как, возможно, наиболее значительные для страны на протяжении нескольких веков¹². Этому не в последнюю очередь содействовала пропагандистская машина государства, в сравнительно короткий срок кардинально переориентировавшаяся. Ведь многие годы до тех пор идеологи франкизма настаивали на «особом характере испанской нации, якобы презирающей блага и цели материального прогресса и следующей на всем протяжении своей истории лишь трансцендентному императиву»¹³. Основой нации, ее «моральным позвоночником» провозглашалось крестьянство, традиционный быт которого идеализировался и всячески восхвалялся. Теперь же мелкий земледelec начал ощущать, что его игнорируют и, даже более того, что само существование его противоречит государственным интересам¹⁴. Радио- и телепередачи о деревенской жизни стали редки и по большей части негативны. Теперь пропагандировался с их помощью именно городской образ жизни, в самых ярких красках рисовалась эмиграция, рекламировались всякого рода промышленные товары, электрическая бытовая техника, не говоря уже о массовых формах профессиональной культуры, одежды и т. д. Эта пропаганда была тем более действенной, что количество радиоприемников и телевизоров за короткий срок увеличилось в десятки раз¹⁵; они появились в общественных местах и сделались необходимой принадлежностью кафе и таверн¹⁶, где по вечерам проводили свое время мужчины во многих уголках страны. Государство видело для себя выгоду в том, чтобы выманить как можно больше народу из деревни для работы в отечественной промышленности и за границей (не иссякала потребность в иностранной валюте, получаемой от эмигрантов).

Таким образом «модернизация» несла с собой не только упадок традиционного способа производства в сельском хозяйстве, но и дискредитацию всей связанной с ним культуры, ценности которой заменялись принципиально иными, порою противоположными. В сельскохозяйственных районах Кастилии, например, еще сравнительно недавно стабильное положение крестьянина — мелкого землевладельца считалось весьма достойным и противопоставлялось жалкой участи безземельного эмигранта, а всего несколько лет спустя земля уже рассматривалась как хлопотное бремя в сравнении с возможностью устроиться в городе, мобильность стала предпочитаться стабильности, статус мигранта оказался более престижным, чем статус крестьянина¹⁷, так что, например, брак с первым из них котиловался выше, чем со вторым, и т. д. В северных и северо-восточных областях, где веками господствовал обычай единонаследия, т. е. передачи дома и земли лишь одному из детей, а обязанности последнего по отношению к родителям и менее удачливым братьям и сестрам гарантировались подписанием особого контракта (у каталонцев — *capitols matrimoniales*), ввиду чего брак наследника был здесь сугубо деловым предприятием в интересах семейной экономики, вся эта брачно-наследственная система в короткий срок буквально развалилась. Количество «брачных договоров» в сельской Каталонии со-

¹¹ *Hermet G. Les espagnols en France*. Paris, 1967, p. 50.

¹² *Maestre Alfonso J. Op. cit.*, p. 11.

¹³ *Тертерян И. А. История начинается — история продолжается.* — Вопросы литературы, 1978, № 6, с. 148.

¹⁴ *Douglass W. A. Muchachas de servicio y pastores: emigración y continuidad en una aldea vasca.* — In: *Douglass W. A. y otr. Los aspectos cambiantes...*, p. 96.

¹⁵ Испания..., с. 396.

¹⁶ *Байо Э. Тяжкая доля испанки.* М.: Прогресс, 1976, с. 106.

¹⁷ *Perez-Diaz V. M. El proceso de cambio en las comunidades rurales castellanas.* — In: *Douglass W. A. y otr. Los aspectos cambiantes...*, p. 230—231.

кратилось до минимума, поскольку молодежь, равнодушная к «деревенскому наследству», которое связало бы ее с землей, отвергала «брак-делку» и заявляла о решимости «жениться по любви»¹⁸. Замкнутость сельских общин, поддерживавшаяся обычаем единонаследия, а также традицией, по которой преимущественным правом покупки земли пользовались родственники ее владельцев, также постепенно уходила в прошлое. Даже среди басков, обычаи которых ставили, казалось, совершение непреодолимых преград для «чужаков», все больше появлялось хозяев, не устоявших против искушения и продавших свои дома и земли богатым городским дельцам для строительства загородных вилл, гостиниц, пансионатов и т. д.¹⁹

Как странное и нелепое стало восприниматься большинством сельских жителей пристрастие к традиционной музыке и народным инструментам. Так, в деревнях Леона аккордеон и саксофон почти полностью вытеснили местную дульсайну (инструмент типа гобоя). Некогда почетная профессия дульсайнера оказалась на пороге гибели, так как музыкантам, пожилым людям, некому было передать свое искусство из-за негативного отношения молодежи; к тому же им самим пришлось в значительной степени сменить репертуар, а часто и инструмент²⁰. В работах нескольких авторов на основе изучения сельской действительности появился термин «социальная мимикрия» для обозначения стремления многих крестьян и батраков всеми средствами, и в первую очередь с помощью одежды, походить на горожан²¹.

Можно было бы привести десятки примеров, демонстрирующих проявления этого интересного и драматичного процесса, охватившего все без исключения области жизни испанских крестьян, но приходится ограничиться лишь теми его аспектами, которые более непосредственно связаны с собственно этническими процессами.

В этой связи обращают на себя внимание, помимо масштабов и субъективной цели, некоторые новые особенности миграций. Они распространились теперь на всю территорию страны, в то время как совсем недавно во многих местах отъезд из родного селения рассматривался как нечто исключительное и многие, даже неимущие батраки, готовы были скорее умереть с голоду, чем покинуть свои края²².

В самые короткие сроки произошло изменение «внешней» направленности миграционных потоков. Испанская эмиграция превратилась из «американской» в «европейскую». Уже в первые 4 года после ее начала (в 1959 г.) через Пиренеи только по официальным каналам отправилось 712 тыс. человек, что составило 80,9% всех покинувших страну за этот период²³. Необходимо учитывать и «неофициальную» эмиграцию, которая, по некоторым данным, превышала «официальную»²⁴. Особенность «европейской» эмиграции состояла в ее сравнительно непродолжительном — как правило, не дольше нескольких лет — сроке. Есть основания полагать, что многие бывшие крестьяне смотрели на работу по контракту в Европе как на возможность получить квалификацию и скопить средства, что позволило бы им по возвращении легче адаптироваться в городской среде своей страны.

В результате исторически сложившегося неравномерного распределения промышленности на территории Испании подавляющее большинство (свыше 90%) как внутренних мигрантов, так и тех, кто возвращался из эмиграции, направлялись в три зоны: Мадрид, Страну басков и

¹⁸ Hansen E. The Transformation of Family Structure in rural Catalonia.— In: Kulturvariation i Sydeuropa. København, 1973, p. 123.

¹⁹ Douglass W. The Basque Peasantry: closed or open? — In: Kulturvariation i Sydeuropa. København, 1973, p. 84.

²⁰ Davis M. The changing Role of the dulzainero in Leon, Spain.— Journal of American folklore. Austin, 1975, v. 88, № 349, p. 249—250.

²¹ Terceiro J. y otr. Problemas y soluciones de desarrollo económico de Galicia. Madrid, 1972, p. 22.

²² Gregory D. D. Migración y cambio demográfico en Andalucía.— In: Douglass W. y otr. Los aspectos cambiantes..., p. 154.

²³ García Fernández J. La emigración exterior de España. Barcelona, 1965, p. 29.

²⁴ Gregory D. D. Op. cit., p. 163.

Каталонию»²⁵. Два последних района — коренные области обитания «малых народов» Испании, соответственно басков и каталонцев — и прежде были местами межэтнических контактов, поскольку их индустриальный, передовой в сравнении с остальной частью страны характер окончательно определился еще в прошлом веке. Но в 60-е годы эти районы были буквально затоплены бывшими батраками и крестьянами, большая часть которых прибывала из южных и центральных, т. е. испаноязычных, областей страны²⁶.

В контактах местных жителей с приезжими в новых условиях обращает на себя внимание одна их существенно важная особенность. Разрыв мигрантов с исчезающим сельским «традиционным» миром требовал приспособления к другой среде, включения их в новую «городскую» культуру, с соответствующими ей моделями производства и быта. Но в том случае, если «принимающий» этнос имел свой «город» в широком смысле этого слова («свои» классы, связанные с крупным машинным производством, «свою» интеллигенцию — творца профессиональной культуры — и т. д., иначе говоря, «свой» вариант «индустриальной культуры»), эта адаптация, к которой бывший крестьянин был материально и психологически подготовлен всем ходом событий еще у себя на родине, с необходимостью должна была означать, в ее полном варианте, ассимиляцию (соответственно «каталонизацию» или «баскизацию») или, во всяком случае, тенденцию к ней, которая оказывалась тем сильнее, чем всесторонней было воздействие местной культуры и языка, позиции которых были сильно подорваны за время правления франкистов, которые отменили все национальные завоевания «малых народов» Испании. Сурово преследовалось (особенно в первые годы после гражданской войны) употребление галисийского, баскского и каталанского языков, изгнанных из школьного обучения, средств массовой информации, делопроизводства и т. д. Особенно трудным оказалось положение баскского языка, географический ареал которого уже на протяжении длительного времени неуклонно сокращался, а некоторые слои баскского общества были равнодушны к национальному движению или даже враждебны ему. Иначе обстояли дела в Каталонии, где каталанский язык продолжал оставаться средством неофициального общения для подавляющего большинства коренных жителей.

С конца 1950-х годов в среде «малых народов» Испании начинается подъем национального движения, принявший кое-где весьма радикальные формы и повсеместно выразившийся в увеличении интереса к собственной этнической истории и культуре, культивировании местных языков, возрождении традиций и этнополитической символики, проведении национальных праздников и манифестаций и т. д. Национальное возрождение распространилось и на те категории и группы местного населения, которые прежде не проявляли интереса к своей этнической специфике. В укреплении этнической самобытности национальных окраин, по-видимому, сыграл роль целый ряд факторов, порожденных «модернизацией». Во-первых, трудности, которые испытывали мелкие производство и торговля в связи с перестройкой экономики на началах капиталистической «рентабельности», усилили недовольство мадридским правительством, в котором видели основного виновника всех бедствий. Это недовольство, в силу политически подчиненного положения Страны басков и Каталонии, неизбежно должно было принять форму национального протеста.

Во-вторых, наплыв массы испаноязычных «чужаков» порождал стремление сохранить свое этническое лицо, избежать растворения, а

²⁵ Hermet G. Le problème méridional de l'Espagne. Paris, 1965.

²⁶ Начиная с 1960 г., по некоторым сведениям, в Стране басков ежегодно оседало около 25 тыс. приезжих (Salvi S. Le nazioni proibite. Firenze, 1973, p. 281). Возможно, что их число было еще больше. По данным газеты «El país» (11.3.1980, p. 11), относящимся к концу 70-х годов, около 60% населения одной из баскских провинций — Алавы — родилось за пределами Страны басков. Еще более значительным оказался наплыв в Каталонию, в некоторых районах которой приезжие даже составили основную часть населения (Treball, 18.3.1980, p. 6).

это вольно или невольно толкало к подчеркиванию самобытных черт культуры, усиливало этническое самосознание. Видимо, к тому же результату приводило и исчезновение — под действием общих для всей страны процессов — тех элементов этнической культуры, которые были законсервированы в традиционном деревенском укладе национальных окраин.

В-третьих, стремясь сблизиться со странами «Общего рынка», правящие круги были вынуждены идти на некоторые уступки национальным требованиям — разумеется, почти исключительно в сфере культуры. Но и это было немаловажно, способствовало распространению движения виширь и вглубь.

Усиление этнического самосознания коренных обитателей Страны басков и Каталонии не могло, разумеется, компенсировать официально непризнания баскского и каталанского языков. Но интересно, что естественная тенденция мигрантов-переселенцев к культурно-языковому сближению с «туземной» общиной была настолько сильна, что ее действие проявлялось, несмотря на целый ряд крайне неблагоприятных факторов, хотя в разных местах и по-разному. В одних случаях она порождала постепенную смену языка и этнокультурной ориентации вплоть до отказа в конечном счете от прежнего «этнического лица» в пользу нового. В процессы подобного рода оказались вовлеченными многие мигранты на территории Каталонии, причем при особо благоприятных обстоятельствах ассимиляция завершалась уже в первом поколении. В других случаях, характерных также для Каталонии, но в еще большей степени для Страны басков, где описанное выше течение событий представлялось до недавнего времени сравнительно редким, формировалась установка на интеграцию, о которой можно судить, в частности, по результатам опросов общественного мнения. В ходе этих опросов, проводившихся еще при Франко, подавляющее большинство некоренного населения как Каталонии, так и Страны басков высказалось за то, чтобы им самим и их детям была предоставлена возможность изучать соответственно каталанский и баскский языки²⁷ (следует помнить, что речь шла о языках, не имевших официального статуса). Косвенно о существовании такой установки свидетельствуют и выборы в «национальных областях» во второй половине 70-х годов, на которых последовательно увеличивавшаяся часть мигрантов-приезжих голосовала за местные националистические партии²⁸.

Такое положение, при котором, вопреки официальной доктрине (до середины 70-х годов), весь ход общественного развития подталкивал к ассимиляции представителей не угнетенных этносов, а, напротив, господствующего, свидетельствует об изменении роли и характера межэтнических, да и вообще внешних, контактов в жизни населения Испании, в особенности сельского. До 50-х годов страна оставалась настоящей мозаикой традиций, обычаев, нравов, форм материальной культуры, типов социальных отношений. Видимо, иначе быть и не могло. Слабое развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве, где была занята значительная часть населения, обусловило преобладание там «традиционного» уклада. А это означало хозяйственные, социальные и культурно-бытовые различия отдельных групп сельского населения, большую или меньшую их замкнутость. Город сравнительно слабо влиял на деревню, а отдельные регионы — друг на друга. Контакты представителей разных укладов, этнических и региональных групп могли быть довольно многочисленными, а в ряде случаев систематическими, но последствия их не были сколько-нибудь значительными. Заимствование отдельных элементов — будь то в одежде, интерьере или даже форме жилища — не затрагивало основы образа жизни. Ориентация многих мигрантов, живших и работавших в промышленных районах, на возвращение в родные места усиливала их отчужденность от той среды, где они временно жили, и ограничивала ее влияние на них.

²⁷ См., например, Triunfo, 1976, № 685, p. 31.

²⁸ Treball, 13.3.1980, p. 9; Tiempo de Historia, año VI, № 62, 1980, p. 57.

В 60-е годы резко усилилась роль внешнего фактора этнокультурного развития. Образцами для подражания оказались носители городской культуры, даже если они принадлежали к неполноправным этническим меньшинствам. Особо следует отметить иностранный туризм, именно это время принявший столь широкие масштабы, что уже в конце десятилетия по доходам от него Испания вышла на первое место в мире, общее ежегодное количество туристов в стране вскоре приблизилось к численности ее населения. Их воздействие на испанцев оценивается не которыми авторами явно преувеличенно, так что именно ему они отдают приоритет в происходящих процессах, считая, что «лавина туристов изменила мышление испанцев»²⁹. Но не следует забывать о том, что настороженность и даже ненависть к иностранцам, представления о своем духовном над ними превосходстве и вообще противопоставление «здорового испанского» и «вредоносного чужеземного» культивировались здесь не только в самые мрачные годы франкистской диктатуры, но и в течение многих столетий до этого. И лишь критический пересмотр прежних «традиционных» ценностей, в том числе представлений о соотношении испанского и чужеродного, об истинных и ложных достоинствах личности, привел к тому, что на множество людей из казавшегося совсем недавно чуждым и опасным «внешнего мира», людей разных национальностей и религий, говоривших на разных языках, стали смотреть как на представителей того нового для местных жителей уклада, который для них был еще трудно достижимым, и с этой точки зрения оценивать внешний облик и поведение иностранных туристов. При этом речь шла не только о прямых заимствованиях. Например, испанцы, участвовавшие в традиционных праздниках и обрядах, понимали, что туристы-зрители рассматривали происходившее как экзотические пережитки, интересные именно своей архаичностью. Какие-то группы населения начинали в связи с этим эксплуатировать отдельные элементы культуры предков, именно в расчете на получение доходов от притока туристов. Таковы в ряде случаев народные или псевдонародные сувенирные промыслы, иногда — возрождение народного костюма³⁰, всякого рода фольклорные группы, выступавшие на празднествах, в которых когда-то принимало участие все население, и т. д. Зато большинство деревенских жителей, в особенности молодежь, из-за нежелания «выглядеть дикарями» в глазах многочисленных приезжих лишь укреплялись в стремлении порвать с традиционной культурой.

Качественно новым моментом в межэтнических отношениях в стране можно, видимо, считать и внутреннюю миграцию галисийцев. Правда, необходимость существования и раньше рождала необходимость искать работы за пределами Галисии; и еще с XVI в. каждый год десятки тысяч людей отправлялись на сезонные полевые работы, главным образом в центральную Испанию и в Португалию³¹. XIX век открыл новый путь — американский. Начиная примерно с середины столетия доля галисийцев в испанской эмиграции ряда стран Америки (Кубы, Уругвая, Аргентины) возросла до 40—70%, а словом «гальего» (галисиец) там даже стали обозначать испанских эмигрантов вообще. Вплоть до конца 50-х годов XX в. картина существенно не изменилась, и с 1911 по 1965 г. за море выехали 1165 тыс. галисийцев³².

Распространение «модернизации» на Галисию резко сократило традиционную американскую эмиграцию. В начале 60-х годов галисийцы уже составляли большинство «временных» испанских эмигрантов в Швейцарии, 1/3 в ФРГ³³ и т. д. В силу слабого развития индустрии Галисии мигранты из этой области стали частью многотысячной армии бывших крестьян, окончательно оседавших в промышленных городах Испании, по преимуществу за пределами своей «малой родины». Судя

²⁹ Robert A. España en la Europa del año 2000. Madrid, 1973, p. 36.

³⁰ El folklore español. Madrid, 1968, p. 28.

³¹ Los gallegos. Madrid, 1976, p. 512.

³² Los gallegos. Madrid, 1976, p. 517.

³³ Sorel A. 4° mundo. Emigración española en Europa. Madrid, 1974, p. 78, 145.

по всему, перед ними вставали те же проблемы адаптации к новой социально- и этнокультурной среде, что и перед уроженцами других сельскохозяйственных районов Испании. Вот как — несколько меланхолично — описывает известный каталонский автор своих соседей-галисийцев: «Они собираются на углу в баре и говорят о футболе по-галисийски. Но не мечтают вернуться на родину... По-галисийски говорят по привычке, а не из патриотизма, и, боюсь, скоро совсем забудут свой язык, который дети их уже не будут знать»³⁴.

Разумеется, признание общей направленности происходящих процессов для всей обширной категории жителей деревни, порывающих связи с традиционным сельским хозяйством, отнюдь не означает утверждения об идентичности форм, в которых протекают эти процессы. Выше уже шла речь о том, что условия среды «принимающего» общества могут и благоприятствовать ассимиляции, и тормозить ее, и даже сводить практически на нет, сохраняя лишь в тенденции. Наряду с этим существует зависимость как от индивидуальных — возрастных, половых, психологических и др., — так и от групповых, и в первую очередь региональных, особенностей переселенцев (в социально-классовом отношении подавляющее их большинство сравнительно однородно).

Существенные изменения в новых условиях претерпела и региональная проблема. К середине 1970-х годов страна подразделялась на 15 регионов, или «исторических областей», границы которых, как правило, не совпадали с этнолингвистическими. Немалая часть исследователей до последнего времени полагала, что культурно-этнографический облик жителей страны определяется регионами их обитания. «Нельзя объединять все население Испании (кроме галисийцев, басков и каталонцев) в один народ, исходя лишь из языкового единства»³⁵. В ряде областей исторически сформировавшейся самобытности соответствовало столь отчетливое «региональное» самосознание, что их население можно было отнести к «этническим группам» внутри испанского народа. Это относилось не только к испаноязычному, но и к баскскому и каталанскому историко-языковым ареалам, где немалая часть населения не отождествляла себя с доминирующими в каждом из ареалов областями — соответственно Страной басков и собственно Каталонией.

Трансформации рубежа 50—60-х годов, несмотря на то что в разных частях страны они проходили весьма неравномерно, в целом способствовали нивелировке образа жизни, быта и представлений в пределах одних и тех же социальных классов и слоев населения по всей Испании, независимо от области обитания, по одним и тем же образцам. У жителей разных провинций сближались и даже становились идентичными проблемы, и решали они эти проблемы в новых условиях примерно одинаково. Эмиграция за границу тоже как будто укрепляла «испанское единство», так как в странах испанской иммиграции все уроженцы Испании рассматривались обычно как национально однородная группа. Процессы ассимиляции, в ходе которых особенно дают себя почувствовать региональные различия, здесь исключались, поскольку срок контракта ограничивался несколькими годами; невелики были и возможности социально-профессионального роста. Напротив, общие условия труда и быта, одинаковые задачи как бы уравнивали и роднили эмигрантов независимо от их регионального происхождения. И при опросах национальной принадлежности, проводившихся за границей, выходцы из испаноязычного ареала страны, как правило, относили себя к испанцам, не подчеркивая регионального происхождения³⁶.

То значение границ исторических областей, которое подразумевало различия в хозяйстве, социальной структуре, этнографических особенностях их населения, постепенно уменьшалось. Наблюдатели, например, отмечали, что, андалусийские буржуа отказывались в своем быту от ме-

³⁴ *Candel F.* Algo mas sobre los otros catalanes. Barcelona, 1973, p. 66.

³⁵ *Carretero y Jimenez A.* La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispanicos. Mexico, 1960, p. 109.

³⁶ *Hermet G.* Les espagnols en France, p. 199.

стных, развитых и глубоких, традиций. Интерьеры их жилищ оформлялись по «европейским» и «кастильским» образцам. Эти люди обнаруживали негативное отношение к прославленной андалусийской культуре «фламенко». В Андалусии изменилась даже кухня — один из наиболее консервативных элементов культуры, и в новых тавернах и барах почти перестали подавать блюда, приготовленные по местным рецептам³⁷.

Но интересно, что именно в это время отмечен рост центробежных тенденций. Так, по аналогии с движением за возрождение национальных языков среди басков, каталонцев и галисийцев заявила о себе деятельность активистов «астурийского возрождения», потребовавших для своего «бáбле», давно уже низведенного до уровня «патуа» (семейного, домашнего языка жителей сельских районов области), равноправного положения с кастильским языком³⁸. К середине 70-х годов некоторые местные газеты уже печатали целые страницы на «бáбле», а организация «Conseyu bable» («Совет бáбле») боролась как за нормализацию и унификацию этого языка, так и за восстановление его престижа и влияния среди населения Астурии³⁹.

Нечто сходное произошло и в Арагоне, где интерес к местному «патуа» — арагонэсу (aragones) — пробудился в городской среде как раз тогда, когда на нем говорило не более 8—10 тыс. крестьян и «никто уже не верил, что арагонес переживет хотя бы одно поколение»⁴⁰. Обучение посредством радио и прессы, выход книг и журнала «Renaxedura» («Возрождение») на арагонском языке, создание «Consello d'a fabla aragonesa» («Совета арагонского языка», аналогично астурийскому «Conseyu») отразили попытку превратить угасающее наречие в полноценный и полноправный язык.

По мере активизации классовой и внутриполитической борьбы в Испании на страницах газет и журналов все чаще стали упоминаться названия исторических областей. В ряде случаев именно в их рамках происходило объединение оппозиционных сил, вырабатывавших общую платформу в 70-е годы. Почти все политические партии высказались за предоставление автономии историческим областям. Возникли и чисто региональные партии, у которых оказались десятки и даже сотни тысяч сторонников.

Это явление можно было бы объяснить специфическими условиями Испании, где длительное историческое развитие породило традицию обособленности, а большие, чем прежде, возможности политической деятельности использовались для активизации сторонниками этой традиции. Но и время подъема движения, и его быстрое распространение практически на всю страну, и требования участников указывают на связь с «модернизацией». Действительно, последняя, устраняя различия между областями по одним показателям, одновременно усиливала их по другим, а значительное увеличение объема информации дало возможность каждому жителю Испании оценить уровень развития своей области, сравнить аналогичные параметры по разным регионам страны и сделать вывод о необходимости борьбы за решение областных социально-экономических проблем, достижение равенства своей «малой родины» с остальными регионами. В условиях, когда обособленность региональных групп продолжает поддерживаться различием их социально-экономического и административно-политического положения, устранение связанных с традиционным укладом специфических особенностей вызывает стремление компенсировать себя за счет культивирования других. В том случае, когда базой этнических и этнографических отличий той или иной общности является село, а собственный «городской сектор» почти или полностью отсутствует (именно так обстоит дело почти повсюду в испаноязычном ареале), ей приходится принимать модерниза-

³⁷ *Checa* A. Cuatro ensayos sobre prensa y una llamada para andaluces. Granada, 1974, p. 154, 160.

³⁸ *Triunfo*, 1976, № 687, p. 48.

³⁹ *Cambio* 16, 1976, № 214, p. 44.

⁴⁰ *Cambio* 16, 1976, № 261, p. 49.

цию в чужом, в данном случае испанском (кастильском) варианте. Именно поэтому деятельность по возрождению местных языков или диалектов принимает характер «борьбы за город», т. е. за распространение их среди всех слоев населения индустриального общества, а одновременно за их развитие, обогащение и модернизацию, с тем, чтобы эти возрождающиеся языки оказались на уровне потребностей сегодняшнего дня и реально могли конкурировать с кастильским языком. С этим связана довольно интересная особенность регионализма в новых условиях. Уже отмечено, что региональный вопрос возникает на поверхности политической жизни Испании каждый раз, когда страна переживает наиболее острые моменты своей истории. Так произошло и теперь, когда эпоха быстрого индустриального и социального развития пришла на смену долгому периоду стагнации и «лемех времени как будто выворачивает наружу скрытые и дотоле недвижные пласты общественного массива»⁴¹. Но явно в большей степени, чем прежде, видна тенденция к «этнизации» региональных движений. Возможно, она вызвана стремлением представить их более значительными в глазах правительства и общественного мнения, поскольку регионализм выглядит менее авторитетным, нежели национализм, при обосновании политических, экономических и других требований. Широко бытующее мнение о том, что «наличие или отсутствие своего языка проводит четкую границу между национализмом и регионализмом»⁴², явно вдохновляет регионалистов даже там, где о существовании собственных самостоятельных языков говорить не приходится. Так, в Андалусии стало расти число сторонников защиты местных андалусийских форм произношения, считавшихся еще недавно признаком бескультурья. Их «легализация», без сомнения, могла бы быть немаловажным аргументом в разгоревшихся спорах о том, является ли андалусийская региональная общность народностью⁴³. Нечто сходное происходило в Валенсии, где противники «панкаталанизма» доказывали самобытность «валенсиано», отказываясь признавать его диалектом каталанского языка⁴⁴.

Правда, о сколько-нибудь значительных успехах движений этого рода говорить пока еще рано. Так, хотя сторонники введения астурийского «бэбле» в школьное обучение и собрали около 30 тыс. подписей уроженцев этой области в свою поддержку, они сетовали на то, что астурийская буржуазия совершенно индифферентна к их призывам и ориентируется на модели и образцы своих кастильских «братьев по классу»⁴⁵.

Время покажет, насколько долгосрочным и мощным окажется «регионалистский подъем» 60—70-х годов. Однако уже сейчас очевидно его значение по крайней мере в двух аспектах. Во-первых, для этнокультурного облика собственно испанского народа, ибо, несмотря на то что испанская нация сложилась еще в прошлом веке, даже в середине 70-х годов нынешнего столетия видный испанский этнограф Кармело Лисон Толосана подчеркивал, что «национальному единству мешает мозаика составляющих частей»⁴⁶. Во-вторых, для взаимоотношений выходцев из испаноязычного ареала с коренными жителями Басконии и Каталонии, где усиление этнорегионального самосознания мигрантов может сыграть роль тормоза в инкорпорации в новую среду или ассимиляции ею. Во всяком случае, именно как фактор, способствующий отчуждению двух общин, оценивается некоторыми наблюдателями относительный успех регионалистской Социалистической партии Андалусии на выборах в парламент Каталонии среди живущих здесь андалусийцев.

Итак, в испанском случае мы встречаемся с довольно любопытной ситуацией. Деятельность правящих кругов, направленная на полную централизацию страны, и в частности на ее этнополитическую унификацию

⁴¹ Тертерян И. А. Указ. раб., с. 159.

⁴² Héraud G. *Peuples et langues d'Europe*. Paris — Milano, 1966, p. 52.

⁴³ Gispert C., *Prats J.* Op. cit., p. 177.

⁴⁴ La Calle, № 136, 1980, p. 9.

⁴⁵ Checa A. Op. cit., p. 160.

⁴⁶ Lisón Tolosana C. *Ensayos de antropología social*. Madrid, 1973, p. 81.

с помощью различных мер, включавших и насильственную ассимиляцию этнически самобытных окраин, оказалась обреченной на неудачу, в чем первоочередную роль сыграла сама же социально-экономическая политика государства. Существование до конца 50-х годов сельского хозяйства в его традиционных формах означало сохранение множества специфических для различных регионов и групп черт, в том числе этнических и языковых. Но и разрушение традиционного уклада под натиском «модернизации» не только отнюдь не облегчило «кастилизацию», но и привело, с одной стороны, к повсеместному этнорегиональному подъему, а с другой — к усилению ассимилирующей тенденции в промышленно развитых областях «малых народов» по отношению к испаноязычным мигрантам, что решительно противоречило господствовавшим великодержавным догмам. Именно как приведение официальной политической линии в соответствие с очевидной логикой общественного развития выглядит проведение в жизнь с конца 70-х годов конституционных положений о предоставлении автономии отдельным регионам страны.

Рассматривая события в Испании в последнее двадцатилетие, очень легко их переоценить, оказавшись под влиянием очевидцев, потрясенных происходящими изменениями. Так, проблема земельной реформы и безработицы в сельском хозяйстве, казалось бы, своеобразно «решенная» ориентацией сельского населения на отъезд в промышленные города, вновь обострилась в последние годы в ряде местностей, в частности на все том же латифундистском Юге, видимо, не в последнюю очередь в связи с индустриальным кризисом, охватившим Испанию наряду с другими западноевропейскими странами. Эта проблема по-прежнему актуальна для тех людей, — а их все еще немало, — которые не хотят или не могут покинуть родные места. Но, видимо, еще более досадной ошибкой было бы недооценить значение свершившихся трансформаций. Истекшее двадцатилетие с несомненностью означало для Испании качественно новый этап как ее социально-экономической и политической истории, так и этнического развития ее населения. Одни факторы исчезли, значение других многократно возросло, третьи возникли вновь. Но главная специфика этого развития состоит в резкой интенсификации как этноэволюционных, так и этнотрансформационных⁴⁷ процессов. Одновременно четко проявилась тесная связь этнических процессов с «внеэтническими». Например, повсеместное появление новой «референтной группы»⁴⁸ — лиц, живущих укладом современного индустриального города, — безусловно повлияло, помимо прочего, на межэтнические контакты в районах сосредоточения внутренних мигрантов. С другой стороны, с тех пор, как ввиду мощного подъема национального движения практически все политические партии Испании заняли ту или иную позицию в национальном вопросе, политические симпатии или партийная принадлежность нередко обуславливают «этническое самоопределение» отдельных личностей, что, однако, не следует считать фактором, нарушающим «нормальное» течение этнических процессов и затрудняющим их верное понимание, а лишь любопытной особенностью этих процессов в нынешней Испании.

⁴⁷ Бромлей Ю. В. К типологизации этнических процессов. — В сб.: Проблемы типологии в этнографии. М.: Наука, 1979, с. 5.

⁴⁸ Богина Ш. А. Иммигрантское население США. Л.: Наука, 1976, с. 230.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ (20—40-е ГОДЫ XX В.)

Становление современной британской социальной антропологии, которую иногда называют «новой», противопоставляя ее «старой», т. е. эволюционистской, представляло собой сложный процесс преобразования теоретико-методологических оснований этой научной дисциплины и коренного изменения в характере деятельности ее представителей. Процесс этот протекал в течение ряда лет (20—40-е годы) и был связан в значительной степени с деятельностью Б. Малиновского (1884—1942) и А. Р. Рэдклифф-Брауна (1881—1955), которые заложили основы методологического подхода, получившего название «функционализм».

В советской литературе этому научному явлению уделялось немало внимания как со стороны этнографов¹, так и философов и социологов².

Большинство авторов, изучавших функционализм, основное внимание уделяло логическому анализу концепций Малиновского и Рэдклифф-Брауна, подвергая критическому разбору их понятия и категории, методологические принципы и общетеоретические представления о природе общества.

Подобное изучение, безусловно, является необходимым для анализа развития британской социальной антропологии межвоенного периода. Однако логико-методологический подход при всей его правомерности оставил вне поля зрения один существенный момент, а именно то, что в рассматриваемый период функционализм в этой научной дисциплине был представлен не только Малиновским и Рэдклифф-Брауном. В его русле проходила научная деятельность определенного сообщества исследователей, насчитывавшего к 1940-м годам около 20 человек³.

Современное состояние марксистской критики функционализма диктует необходимость специального рассмотрения основных положений этого научного подхода не только в том логическом выражении, в котором они предстают в трудах его основоположников, но и в научной деятельности их учеников и последователей. Иными словами, необходима постановка проблемы научной школы и ее места в процессе становления функционализма.

Подобный подход встречается с рядом трудностей, прежде всего терминологического характера. Так, в советской литературе, посвященной изучению межвоенного периода истории британской социальной антропологии, употребляются такие понятия, как «функциональная школа»⁴,

¹ См.: *Аверкиева Ю. П.* Этнография и культурная/социальная антропология на Западе.— Сов. этнография, 1971, № 5, с. 9—16; *Бромлей Ю. В.* Этнос и этнография. М.: Наука, 1973, с. 178—203; *его же.* Современные проблемы этнографии. М.: Наука, 1981, с. 98—113; *Веселкин Е. А.* Теория культурных контактов и современный расизм.— Расы и народы. М.: Наука, 1973, с. 23—42; *его же.* Кризис британской социальной антропологии. М.: Наука, 1977; *Ольдерогге Д. А., Потехин И. И.* Функциональная школа в этнографии на службе империализма.— Англо-американская этнография на службе империализма. М.: Изд-во АН СССР, 1951; *Семенов Ю. И.* Теоретические проблемы «экономической антропологии».— Этнологические исследования за рубежом. М.: Наука, 1973, с. 30—76; *Токарев С. А.* История зарубежной этнографии. М.: Высшая школа, 1978, с. 229—248, и др.

² См.: *Артановский С. Н.* Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. Л.: Наука, 1967, с. 122—130; *Бахитов М. Ш.* Проблема причинности в социологии и критика функционализма.— Вопросы философии, 1963, № 9; *Здравомыслов А. Г.* Функционализм и его критика.— Структурно-функциональный анализ в современной социологии. Инф. бйол. Сов. социологической ассоциации и Ин-та конкретных социол. исследований АН СССР, 1968, № 6; Критика современной буржуазной теоретической социологии. М.: Наука, 1977, с. 18—42; *Юдин Э. Г.* Системный подход и принцип деятельности. М.: Наука, 1979, с. 123—137, и др.

³ *Fortes M.* Social Anthropology at Cambridge since 1900. Cambridge, 1953, p. 13.

⁴ *Ольдерогге Д. А., Потехин И. И.* Указ. раб.

«функционалистское направление»⁵, «структурно-функциональный подход»⁶, «структурно-функциональный анализ»⁷ и просто «функционализм»⁸, причем все эти термины обозначают научную позицию Малиновского и Рэдклифф-Брауна. Существует и точка зрения, по которой «функционализм» и «структурализм» представляют собой разные научные явления — первый связан с именем Малиновского, а второй — Рэдклифф-Брауна⁹.

Нет в советском науковедении и единой точки зрения на такие категории, как «научная школа», «направление», «подход» и т. п.¹⁰.

Отмеченное обстоятельство заставляет уделить специальное внимание определению понятийного и терминологического аппарата настоящего исследования.

В качестве предварительного замечания, обоснованию которого будет уделено специальное внимание ниже, необходимо сказать, что концепции Малиновского и Рэдклифф-Брауна нами рассматриваются как самостоятельные методологические системы, имеющие тем не менее ряд общих моментов, что позволяет объединить их под общим названием «функционализм». Для подчеркивания специфики каждой из этих концепций можно использовать уточняющие определения — «биокультурный функционализм» Малиновского и «структурный функционализм» Рэдклифф-Брауна.

Задачи настоящего исследования делают необходимым положить в основание его системы понятий категорию «научная школа», логически связать с ней остальные категории и таким образом создать некую аналитическую модель изучаемого явления, которая, как и всякая априорная модель, будет обладать известной условностью и гипотетичностью.

Научной школой мы называем коллектив ученых (принадлежность к одному научному учреждению необязательна), в рамках которого под руководством лидера осуществляется научная деятельность в трех основных аспектах: 1 — в подготовке молодого поколения исследователей; 2 — в разработке конкретных проблем по исследовательской программе, в основе которой лежат идеи главы школы; 3 — в организации и координации общих усилий и в утверждении особых норм взаимоотношений между членами научной школы как исследовательского коллектива¹¹.

Центральным пунктом предлагаемой аналитической модели является категория «исследовательская программа». Указывая на то, что в основе лежат идеи главы школы, мы подчеркиваем, что концепция последнего в целом не тождественна исследовательской программе. Отнюдь не все идеи главы школы входят в число ее программных установок. Те же положения его концепции, которые вошли в состав программы, перестают быть просто логической конструкцией. Они становятся руководящими принципами, целевыми установками научной деятельности целого коллектива.

Подобная трансформация сама по себе вызывает определенные изменения в характере исходных идей лидера, так как процесс их восприятия и приложения в конкретных исследованиях — это отнюдь не автоматический перенос, но всегда в большей или меньшей степени творческая их переработка, в которой играют роль и индивидуальные особенности каждого ученого, и условия научной деятельности, и характер изучаемого явления.

В этой связи необходимо сказать, что в нашей трактовке исследовательская программа — это, как правило, не фиксированный документ, но науковедческая абстракция, которую можно сформулировать в ре-

⁵ Токарев С. А. Указ. раб., с. 229—248.

⁶ Критика современной буржуазной теоретической социологии, с. 18—42.

⁷ Юдин Э. Г. Указ. раб., с. 123.

⁸ Там же, с. 124.

⁹ Веселкин Е. А. Кризис британской социальной антропологии.

¹⁰ См. об этом: Школы в науке. М.: Наука, 1977.

¹¹ Предлагаемая трактовка понятия «научная школа» основана главным образом на идеях М. Г. Ярошевского. См. *Ярошевский М. Г. Логика развития науки и научная школа.* — Школы в науке, с. 7—96.

зультате анализа научной деятельности представителей того или иного коллектива исследователей. Иными словами, это не просто система идей лидера, но система его идей, принятая к действию.

В нашей модели эта система идей рассматривается двояко — как феномен научного сознания, как логическая система, признаваемая группой исследователей (теоретико-методологическое направление), и как феномен деятельности, представленный ее целевыми установками и способами достижения познавательных целей (исследовательская программа).

В первом случае науковедческое исследование ориентировано на изучение инвариантных особенностей логических оснований науки в определенном периоде времени. Во втором направлено на изучение динамики развития научной школы, так как именно деятельностью является той сферой, в которой научные идеи зарождаются, подвергаются корректировке, видоизменяются.

Исследовательская программа научной школы помимо общих ориентирующих принципов и целей научной деятельности включает в себя теоретические представления о природе изучаемого объекта, систему понятий и категорий, конкретные методы описания и анализа, а также набор конкретных проблем исследования.

Сконструированная нами аналитическая модель научной школы не претендует на универсальность и не гарантирует адекватного отражения всего многообразия проявлений научной деятельности. Наука знает массу примеров, когда большие ученые работали вне каких-либо школ. Сами же научные школы выступают в чрезвычайном многообразии конкретных вариантов — от школ с ярко выраженным идейно-теоретическим и организационным единством до так называемых «незримых колледжей», т. е. групп исследователей, стоящих на разных позициях, но в отдельных аспектах своей деятельности солидарных с идеями какого-либо ученого, выступающего в роли «генератора идей»¹².

Что касается британской социальной антропологии, то наша модель в целом отвечает состоянию этой научной дисциплины в межвоенный период, когда характерной ее чертой была довольно высокая степень идейно-теоретического единства различных группировок и дисциплины в целом.

Автор настоящей статьи ставит перед собой задачу охарактеризовать основные научные школы, с которыми связано становление современной британской антропологии¹³. Недостаточная разработанность в современном науковедении проблем научной школы во многом определяет основную цель настоящей статьи как постановку сформулированной в заглавии проблемы. Это обстоятельство, а также ограниченный объем журнальной статьи заставляя в ряде случаев прибегать к тезисной форме изложения материала.

* * *

Говоря о становлении «новой» британской антропологии в 20—40-х годах и о роли научных школ в этом процессе, необходимо сразу сказать, что Малиновский и Рэдклифф-Браун в рассматриваемый период не входили в одну научную школу. Тем не менее научная позиция обоих ученых, несомненно, имеет общие черты, что особенно наглядно проявилось в их трудах 1922 г.¹⁴, которые в британской научной традиции принято считать началом «эры функционализма»¹⁵.

Малиновский и Рэдклифф-Браун были единомышленны в основных вопросах, касающихся преобразования эволюционистской антропологии.

¹² О понятии «незримый колледж» см. Гасилов В. Б. Научная школа — феномен и исследовательская программа науковедения. — Школы в науке, с. 119—152.

¹³ Здесь и далее вместо терминов «социальная антропология», «социальный антрополог» мы употребляем термины «антропология», «антрополог», так как в статье речь идет только об одной (социальной) научной дисциплине.

¹⁴ Malinowski B. *Argonauts of the Western Pacific*. London, 1922; Brown A. R. *The Andaman Islanders*. Cambridge. 1922.

¹⁵ Kuper A. *Anthropologists and Anthropology*. Harmondsworth, 1978, p. 9.

Новая методологическая ориентация впервые дала о себе знать в до-вольно категоричных требованиях, поставленных ее основоположниками: изучение отсталых народов должно базироваться не на спекулятивном кабинетном анализе фактов, полученных от случайных очевидцев (миссионеров, торговцев, путешественников и т. д.), а на основе длительного непосредственного наблюдения жизни этих народов самими исследователями. Теоретик и наблюдатель должны быть одним лицом¹⁶; предметом изучения должны быть не отдельные явления культуры, а вся культура как функциональное целое¹⁷; научное объяснение социальных явлений должно лежать не в плоскости определения их происхождения, а в указании той функции, которую эти явления выполняют в общественной жизни данного народа¹⁸.

Единство требований Малиновского и Рэдклифф-Брауна явилось результатом воздействия целого ряда факторов, в равной степени влиявших на обоих ученых еще на заре их научной карьеры. Эти факторы отражали как социально-политическую и идеологическую обстановку в Великобритании, так и атмосферу идейно-теоретического кризиса эволюционистской антропологии. Их воздействие на молодых ученых было опосредовано, главным образом кембриджской школой А. Хэддона, У. Риверса, Ч. Зелигмана и др., под непосредственным руководством которых Малиновский и Рэдклифф-Браун получили антропологическое образование и начинали первые самостоятельные исследования.

Многие положения функционализма имеют свои истоки в кембриджской школе. К таким положениям относятся: индуктивизм; ориентированность на эмпирические (полевые) исследования; натурализм, т. е. подход к обществу как к объекту, аналогичному тому, что изучают физика, биология, психология и другие естественные науки; стремление придать методам антропологии характер естественнонаучного эксперимента.

В известном смысле функционализм может рассматриваться как своеобразная реакция на неудачи кембриджцев в достижении поставленных ими же целей, как попытка преодоления глубокого методологического кризиса эволюционизма, который особенно отчетливо проявился в деятельности именно этой школы. Так, например, У. Риверс в течение 10 лет (1911—1922) переменял несколько принципиально различных методологических подходов в объяснении социальных явлений. Он от эволюционизма в «Родстве и социальной организации» отошел к диффузионизму в «Истории меланезийского общества», а затем к психологизму в «Очерках о депопуляции Меланезии»¹⁹.

Как бы продолжая эти поиски более эффективной теории, Малиновский и Рэдклифф-Браун обратились к буржуазным социологическим доктринам, в которых высказывались суждения о необходимости целостного подхода к социальным явлениям и их функционального анализа. При этом круг трудов, к положениям которых восходят теоретические концепции Малиновского и Рэдклифф-Брауна, был примерно одинаков для них обоих — это работы Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, Ф. Боаса, С. Р. Штайнмеца, М. Мосса.

Необходимо упомянуть то обстоятельство, что известное требование функционализма сделать практически полезными антропологические исследования²⁰ было унаследовано Малиновским и Рэдклифф-Брауном

¹⁶ *Malinowski B. Agronauts of the Western Pacific*. N. Y., 1961, p. 3; *Brown A. R. The Andaman Islanders*, p. 232.

¹⁷ *Malinowski B. Argonauts of the Western Pacific*, p. 11; *Brown A. R. The Andaman Islanders*, p. 400.

¹⁸ *Malinowski B. Agronauts of the Western Pacific*, p. 17; *Brown A. R. The Andaman Islanders*, p. 234.

¹⁹ *Rivers W. H. R. Kinship and Social Organisation*. London, 1914; *idem. The History of Melanesian Society*. London, 1914; *idem. The psychological Factor.—Essays on the Depopulation of Melanesia*. Cambridge, 1922.

²⁰ *Malinowski B. Practical Anthropology*. Africa. London, 1929, v. II, p. 23—39; *Radcliffe-Brown A. R. Applied Anthropology.—Proceedings Australian and New Zealand Association of Science*. Brisbane, 1930, p. 267—280.

от представителей кембриджской школы, глава которой А. Хэддон был одним из наиболее последовательных поборников сотрудничества антропологов с колониальной администрацией²¹.

Идейно-теоретические предпосылки функционализма, сформировавшиеся во время обучения Малиновского и Рэдклифф-Брауна у представителей кембриджской школы, а также во время их экспедиций (Малиновский на островах Тробрианд в 1915—1918 гг. и Рэдклифф-Браун на Андаманских островах в 1906—1908 гг.), получили дальнейшее развитие в теоретико-методологических концепциях, созданных ими в 20—40-х годах.

В теоретическом плане эти концепции представляли собой системы общих положений о сущности культуры и общества. В методологическом плане они предлагали британской антропологии ряд методов анализа и объяснения фактов из жизни «примитивных» народов, а также набор правил ведения полевой работы.

Обе концепции представляли собой относительно самостоятельные системы взглядов, которые по ряду пунктов находились в непримиримом противоречии. Последнее обстоятельство относится главным образом к той их части, где речь идет о сущности изучаемого объекта.

Малиновский в своей «Научной теории культуры» утверждал, что культура как «функциональное целое» базируется на удовлетворении «основных потребностей» биологии человеческого организма²².

Рэдклифф-Браун категорически возражал против биологизма в подходе Малиновского²³ и утверждал, что общество как объект изучения представляет собой особый вид естественной системы, сущность которой заключается в структуре социальных отношений, связывающих индивидов, и не может быть сведена ни к психологии, ни к биологии последних²⁴.

Методологические принципы концепций Малиновского и Рэдклифф-Брауна в том виде, в каком можно их рассматривать как относительно самостоятельные явления, логически не противоречат друг другу. Есть некоторые основания считать их вариантами одной методологической системы.

Если в методологии Малиновского основную нагрузку несет понятие функции, а структура объекта как бы постулируется (учение о строении института и о системной взаимосвязи всех институтов общества), то в методологии Рэдклифф-Брауна такую нагрузку несет понятие структуры, а функциональная сущность ее компонентов выступает в качестве одной из исходных предпосылок («существенная» функция всех социальных явлений — это их вклад в сохранение и поддержание социальной структуры, т. е. внимание концентрируется на интегративной функции)²⁵.

Отмеченное обстоятельство весьма существенно для понимания соотношения и роли двух концепций в процессе формирования методологических оснований «новой» британской антропологии. В частности, оно объясняет тот факт, что почти для всех представителей молодого поколения антропологов (в британской научной традиции их принято называть «функционалистами второго поколения»²⁶) Малиновский и Рэдклифф-Браун в равной степени считались учителями, а их идеи воспринимались этим поколением как варианты одной методологической ориентации.

На начальном этапе становления функционализма Малиновский играл ведущую роль в утверждении этого подхода. В отличие от Рэдклифф-Брауна, научная и педагогическая деятельность которого, после

²¹ Fortes M. Op. cit., p. 3—4.

²² Malinowski B. A Scientific Theory of the Culture. N. Y., 1960, p. 32.

²³ Radcliffe-Brown A. R. Functionalism: a Protest.—American Anthropologist. Menasha, 1949, v. 51, № 2.

²⁴ Radcliffe-Brown A. R. A Natural Science of Society. Glencoe, 1957, p. 19—20.

²⁵ См.: Malinowski B. A. A Scientific Theory of the Culture, p. 47—53; Radcliffe-Brown A. R. A Natural Science of Society, p. 144.

²⁶ Kuper A. Op. cit., p. 10.

того как он в 1914 г. покинул Англию, протекла вплоть до 1937 г. на периферии Британской империи и за ее пределами, Малиновский после своего возвращения из Меланезии обосновался в одном из ведущих учреждений британской науки — в Лондонской школе экономических и политических наук (ЛШЭПН — структурное подразделение Лондонского университета).

С 1924 г. начал работу знаменитый семинар Малиновского. О значении этого семинара для развития британской антропологии говорит тот факт, что почти все ученые, представлявшие в межвоенный период эту научную дисциплину, а после второй мировой войны занявшие в ней ключевые позиции, получили антропологическое образование в семинаре Малиновского и начали свою самостоятельную исследовательскую деятельность под его непосредственным руководством. Это — Э. Эванс-Причард, Р. Фёрс, М. Форте, И. Шапера, М. Глакмэн, М. Вильсон (до замужества Хантер), Х. Купер, О. Ричардс, З. Надель и др.

Влияние Малиновского на своих учеников было весьма значительным, что объяснялось не только привлекательностью его идей, обещавших вывести антропологию из идейно-теоретического кризиса, но и его субъективными качествами оратора-полемиста, за которые современники нередко называли его «пророком новой веры»²⁷.

На первых порах работу семинара в ЛШЭПН активно поддерживал Рэдклифф-Браун. Почти все студенты, которые обучались в основанных им кафедрах социальной антропологии в Кейптаунском (1921) и Сиднейском (1926) университетах, направлялись им для продолжения образования в Лондон к Малиновскому. Это видные впоследствии ученые — И. Шапера, М. Глакмэн, Х. Купер, Э. Хелман и др. из ЮАР; Я. Хогбин, Р. Пиддингтон, Ф. Каберри, У. Станнер и др. из Австралии.

Надо сразу сказать, что программу подготовки антропологов на семинаре в ЛШЭПН, на основе которой формировалась исследовательская программа научной школы Малиновского, нельзя отождествлять с его теорией культуры. Идеи Малиновского о прямой биологической детерминированности социальных явлений и культуры в целом в том абстрактном и грубо категорическом виде, в котором они представлены в его рукописях, посмертно опубликованных под названием «Научная теория культуры», сложились к концу его жизни и никогда не были центральным пунктом ни его педагогической деятельности, ни его трактовок этнографического материала.

В этнографических монографиях Малиновского крайне редко используются такие понятия его теории культуры, как «основные потребности», «производные потребности», «культурные соответствия» и т. п. А базовое понятие его концепции «функция», которое в «Научной теории культуры» определено как удовлетворение биологических потребностей²⁸, при обобщении фактического материала употребляется как очень неопределенное и описательное указание на роль, которую играет то или иное явление в жизни тропианцев.

Многочисленные воспоминания участников семинара в ЛШЭПН²⁹ и главным образом их самостоятельная научная деятельность свидетельствуют, что обучение в семинаре заключалось в усвоении полевой методики и принципов обобщения фактического материала в описательных трудах.

В результате работы семинара в ЛШЭПН для всех представителей «новой» антропологии стал характерен тот тип научной деятельности, что и для Малиновского. Опыт его полевой работы среди тропианцев стал образцом, по которому велись многочисленные экспедиции его учеников в 20—30-х годах.

Э. Эванс-Причард с 1926 по 1930 г. провел три экспедиции в Англо-Египетский Судан и прожил среди азанде в общей сложности более

²⁷ Ibidem, p. 36—37.

²⁸ *Malinowski B. A Scientific Theory of the Culture*, p. 110.

²⁹ *Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski*. London, 1957.

20 месяцев. Он же с 1930 по 1936 г. совершил четыре длительные поездки к нуэрам Судана. Р. Фёрс ровно год (1928—1929) работал среди полинезийцев о. Тикопия, применяя методику Малиновского в изучении родственных отношений. О. Ричардс два длительных полевых сезона, в общей сложности около 30 месяцев, работала среди бемба Северной Родезии. З. Надель в течение года (1934) изучал в поле африканскую народность нупе. Список подобных экспедиций можно значительно расширить.

Многочисленные полевые исследования молодого поколения британских антропологов знаменовали собой коренное изменение в характере деятельности представителей этой научной дисциплины. Как говорил Рэдклифф-Браун в своем президентском докладе на секции «Эйч» Британской ассоциации содействия развитию науки в 1931 г., «безвозвратно ушли в прошлое те дни, когда мы могли признать авторитет ученого, который лично не провел ни одного интенсивного полевого исследования хотя бы одной культуры»³⁰.

Конечным результатом изучения «примитивных» обществ, логическим продолжением полевой работы, интерпретацией полученного в ходе этой работы фактического материала для учеников Малиновского служили так называемые «этнографические монографии». Функционалистская этнографическая монография — это особый вид научной продукции, который был разработан Малиновским. Первой такой монографией были «Аргонавты Западной части Тихого океана». Этот труд, а также другие сочинения Малиновского подобного рода³¹ были теми образцами, на которых учились слушатели семинара в ЛШЭПН. Принцип интерпретации эмпирического материала воспринимался в ходе обсуждения разделов сочинений, над которыми работал Малиновский. Так, замысел книги «Коралловые сады и их магия» зародился в начале 30-х годов на семинарских обсуждениях проблемы тробриандского земледелия и его отношения к магической практике и социальной организации³².

Главной особенностью функционалистской монографии было то, что в качестве сюжетной основы ее избирался один из институтов изучаемого общества (семья, обычное право, земледелие или какой-нибудь обычай). Этот институт описывался не изолированно, а в его взаимодействии со всеми прочими явлениями общественной жизни. Характерной особенностью монографии Малиновского было чрезвычайное обилие «синоптических» таблиц, подробных описаний (сравнимых с журналистскими репортажами, недаром он называл свои монографии «тробриандской хроникой»³³) различных событий, «туземных текстов», т. е. воспроизведенных на языке коренного населения рассказов, легенд, магических заклинаний и т. п.³⁴

Теоретический анализ занимал в этих монографиях ничтожное место. Вместо него подробно описывалась роль того или иного института в жизни изучаемого общества. Факты, иллюстрирующие эту роль, или «функцию», института, отбирались не на основе принципов четкой теории общества, а интуитивно.

В 20—30-х годах вышло в свет значительное количество трудов функционалистов второго поколения, написанных по образцу монографий Малиновского. Это работы К. Веджвуд, Р. Фёрса, Г. Вагнера, О. Ричардс, Э. Эванс-Причарда, Х. Купер, И. Шаперы и др. Влияние Малиновского сказалось не только на технике интерпретации фактического материала в этих монографиях, но и на выборе институтов изучаемых обществ в качестве сюжетной основы. Вслед за Малиновским его учени-

³⁰ Radcliffe-Brown A. R. Method in Social Anthropology. Bombay, 1973, p. 61.

³¹ Malinowski B. The Sexual Life of Savages in N. W. Melanesia. London, 1929; idem. Coral Gardens and their Magic. London, 1937, v. I—II.

³² Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, p. 157.

³³ Malinowski B. Coral Gardens and their Magic. V. 1, p. IX.

³⁴ В частности, весь II том «Коралловых садов и их магии» состоит из «туземных текстов».

ки главное внимание уделяли изучению проблемы семьи и «примитивной» экономики.

Описанию семейных отношений в широком контексте хозяйственной деятельности «примитивных» народов посвящены многие труды функционалистов второго поколения³⁵.

Связь между Малиновским и его учениками не прерывалась и после того, как они покидали студенческую скамью в ЛШЭПН. Почти все они, возвращаясь из экспедиций, делали сообщения на семинаре, писали диссертации под руководством Малиновского.

Косвенное воздействие на направленность научной деятельности своих учеников Малиновский оказывал при организации их экспедиций, так как благодаря своему авторитету имел возможность влиять на распределение средств из фондов, предназначенных на исследовательские работы в колониях. В частности, благодаря Малиновскому Фонд Рокфеллера, связанный с организованным в 1931 г. Международным институтом африканских языков и культур, выделял средства именно его ученикам на крупномасштабное этнографическое изучение ряда африканских народов³⁶.

В британской научной традиции концом «режима Малиновского» считают 1937 г.³⁷, год его отъезда в США, но в действительности процесс распада его школы начался раньше.

Представители второго поколения функционалистов, к середине 30-х годов получившие значительный опыт самостоятельной научной работы, начали осознавать аналитическую слабость его интуитивно-холистического подхода и практическую бесполезность положений его теории культуры в объяснении конкретных социальных явлений.

Внимание молодых антропологов все больше стали привлекать методологические идеи Рэдклифф-Брауна.

Структуралистская концепция Рэдклифф-Брауна приобрела более или менее четкие очертания в начале 30-х годов. Главным ее пунктом стало учение о социальной структуре, которую он определял как «постоянно действующую организацию отношений между людьми, определяемых и контролируемых посредством институтов, т. е. социально утвержденных норм или моделей поведения»³⁸. Исходя из категории «социальная структура», Рэдклифф-Браун трактует остальные понятия своей концепции. Так, функцию социальных явлений он определяет «...отношением их к социальной структуре, существованию и преобладанию которой они в определенной степени способствуют»³⁹.

Вместо аморфных и интуитивных принципов описания фактов в духе монографий Малиновского концепция Рэдклифф-Брауна предлагала британским антропологам логически обоснованную схему анализа структурных компонентов общества. На это были направлены положения «структурного метода» Рэдклифф-Брауна, которые давали аналитические средства для вычленения из всего многообразия проявлений социальной реальности повторяющихся, инвариантных особенностей поведения людей — так называемых «структурных принципов».

Все абстрактные методологические принципы Рэдклифф-Брауна были направлены на решение традиционных этнографических проблем. Особое внимание он уделял изучению тотемизма и систем родства.

Специфика этих проблем в значительной степени повлияла на характер его общесоциологических категорий, в частности трактовка катего-

³⁵ См., например: *Firth R. Primitive Economics of New Zealand Maori*. London, 1929; *idem. Primitive Polynesian Economy*. London, 1939; *idem. We, the Tikopia*. London, 1936; *Richards A. Hunger and Work in Savage Tribe*. London, 1932; *idem. Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia*. London, 1939; *Schapera I. Native Land Tenure in Bechuanaland Protectorate*. Cape Town, 1943; *idem. Married Life in an African Tribe*. Johannesburg, 1940.

³⁶ *Methods of Study of Culture Contact in Africa*. Oxford, 1959.

³⁷ *Kuper A. Op. cit.*, p. 92.

³⁸ *Radcliffe-Brown A. R. Method in Social Anthropology*, p. 98.

³⁹ *Radcliffe-Brown A. R. Structure and Function in Primitive Society*. London, 1959, p. 200.

рии «Социальная структура» несет на себе отпечаток опыта полевой работы Рэдклифф-Брауна среди австралийских аборигенов, у которых классификационные системы родства являются наиболее ярким показателем структурной регламентированности поведения. Отсюда у него заметная тенденция отождествлять такие понятия, как «структура социальных отношений» и «структура отношений родства». Особенно отчетливо эта тенденция проявилась в работе «Социальная организация австралийских племен»⁴⁰.

Этот труд занимает особое место в развитии британской антропологии, так как он положил начало новому типу теоретической интерпретации полевого материала, в основе которой лежит не простое описание фактов в их эмпирической взаимосвязи, а сведение их к формальным схемам. Рэдклифф-Браун в этом труде на основе анализа систем родства и брачных секций различных австралийских племен выделил 50 типов их социальной структуры.

После выхода в свет «Социальной организации австралийских племен» в 1931 г. влияние Рэдклифф-Брауна на учеников Малиновского значительно возросло. Рост популярности Рэдклифф-Брауна среди британских антропологов в 30-х годах не привел, однако, к образованию такой монолитной научной школы, какой была группа учеников Малиновского, организационно объединенных вокруг семинара в ЛШЭПН. Его научную школу можно условно назвать «незримым колледжем», который влиял на развитие британской антропологии не столько при прямом обучении и контроле за самостоятельной деятельностью научной молодежи, сколько косвенно — предлагая новые методы анализа и интерпретации фактов.

Неформальный характер научной школы Рэдклифф-Брауна в какой-то степени сохранился и после того, как он в 1937 г. окончательно переехал из США в Англию. В 1938 г. он занял пост заведующего вновь образованной кафедрой социальной антропологии Оксфордского университета, которая вскоре стала ведущим теоретическим центром британской антропологии, оттеснив на второй план кафедру в ЛШЭПН. После своего утверждения в Оксфорде Рэдклифф-Браун не стал единоличным главой новой школы. Не меньшее влияние на формирование ее исследовательской программы оказывали его молодые коллеги по кафедре — Э. Эванс-Причард и М. Фортес. Складывание новой научной школы, которое в известном смысле можно воспринимать как реорганизацию исследовательского коллектива, созданного Малиновским, сопровождалось пересмотром интуитивно-холистических методов последнего, а в ряде случаев и отказом от них. Этому в немалой степени способствовало перемещение антропологических исследований с маломасштабных островных обществ Тихоокеанского региона на крупные африканские народы.

Если исследователи океанийских народов, в частности Р. Фёрс, изучавший тикопийцев, численность которых не превышала 1 тыс. чел., работали в условиях, во многом схожих с Тробриандами (около 4 тыс. островитян), и поэтому многие методические установки Малиновского (особенно описание культуры как самодовлеющего «организма» во всей совокупности его связей) не казались для них невыполнимыми, то антропологов-африканистов (Э. Эванс-Причард, М. Фортес, И. Шапера, М. Глакман и др.) эти установки не устраивали. Столкнувшись с более сложной ситуацией у африканских народов, насчитывающих сотни тысяч человек и расселенных чересполосно с другими народами на огромных пространствах, исследователи были вынуждены искать аналитические средства, дающие возможность вычленить из многообразных проявлений жизнедеятельности народа тот костяк, который придавал определенную форму этой жизнедеятельности, составляя ее структурную основу и одновременно структурную границу данного народа, отделяющую

⁴⁰ Radcliffe-Brown A. R. The Social Organisation of Australian Tribes. Oceania, v. I, № 1—4, 1930—1931.

его от соседей (на Тробриандах и Тикопии сама природа помогала в этом плане исследователям, окружив их обитателей сотнями миль океана).

Этот теоретический поиск привел молодых исследователей к структуралистской методологии Рэдклифф-Брауна, но практика эмпирических исследований заставила их внести существенные коррективы в эту методологию. Прежде всего они отказались от практикуемого Рэдклифф-Брауном отождествления в конкретных исследованиях структуры межличностных отношений родства со структурой общества в целом.

Эванс-Причард в своей книге «Нуэры»⁴¹, которая стала одним из программных трудов оксфордской школы, в поисках структурных принципов, определяющих социальную организацию нуэров, скотоводческого народа Судана, обратил свое внимание не на модели поведения между различными категориями родственников, а на соотношение генеалогических (клан, линидж) и общинно-территориальных (союз племен, племя, деревенская и большесемейная общины) структур. Утверждение Эванс-Причарда о нераздельной взаимосвязи и специфическом взаимодействии этих образований, подтвержденное фактами, нашло широкий отклик в среде британских антропологов, в результате чего его методика, получившая название «парадигмы линиджа», стала использоваться во многих исследованиях африканских народов.

Методологическая переориентация в британской антропологии конца 30-х годов привела к формированию новой исследовательской программы. Программа эта представляла собой сложное логическое образование. Структуралистские идеи Рэдклифф-Брауна, составляющие ее основу, проявлялись в исследовательской деятельности британских антропологов по-разному и у многих сочетались с интуитивно-холистическим подходом Малиновского. Образно говоря, исследовательскую программу оксфордской школы можно представить в виде концентрических окружностей, выражающих разные степени приближения к структуралистским идеям Рэдклифф-Брауна. За время относительного единства оксфордской школы (время, когда Рэдклифф-Браун руководил кафедрой с 1938 по 1946 г.) логическим ядром ее исследовательской программы была аналитическая модель социальной структуры «примитивного» общества, состоящая из двух системно связанных компонентов. Одним из них была ориентация на изучение классификационных систем родства, воспринимаемых в виде сети межличностных (диадных) поведенческих моделей. Другим — концентрация внимания на общинно-генеалогических структурах, изучение которых базировалось на описательных приемах «парадигмы линиджа», представленных в работах главным образом Эванс-Причарда, Фёрса, Фортеса⁴².

Установки исследовательской программы оксфордской школы так или иначе можно выявить в деятельности почти всех представителей функционалистов второго поколения. Особенно наглядно идейно-теоретическое единство британских антропологов на новом уровне, связанном с лидирующей ролью оксфордского центра, выступает в двух коллективных трудах — «Африканские политические системы» и «Африканские системы родства и брака»⁴³. В этих трудах примерно один и тот же коллектив авторов, представляющих значительную часть всей «новой» антропологии (Рэдклифф-Браун, Эванс-Причард, Фортес, Шапера, Глакман, Ричардс, Надель, Вильсон, Купер и др.), подошел к изучению целого ряда африканских народов с позиции «парадигмы линиджа» и «структурных принципов родства», разработанных в свое время Рэдклифф-Брауном.

⁴¹ Evans-Pritchard E. E. The Nuer. Oxford, 1940.

⁴² Evans-Pritchard E. E. The Nuer; Firth R. We, the Tikopia; Fortes M. The Dynamics of Clanship among the Tallensi. London, 1945.

⁴³ African Political Systems. London, 1940; African Systems of Kinship and Marriage. London, 1950.

Предложенная нами аналитическая модель научной школы позволяла поставить проблему соотношения таких явлений, как концепции лидирующих теоретиков британской антропологии и исследовательские программы возглавляемых ими научных школ. Так, при применении этой модели было выявлено, что теоретические взгляды Малиновского, которые можно обобщенно назвать «биокультурным функционализмом» и которые являются центральным пунктом его общесоциологических воззрений, оказались на периферии исследовательской программы его школы. В то же время интуитивно-беллетристические приемы описания культуры, которые в его общетеоретических трудах почти не отражены, стали на какое-то время основной программной установкой научной деятельности коллектива его учеников.

При учете такого фактора, как научная школа, становятся понятными многие изменения в характере научной деятельности отдельных британских антропологов, так как зачастую новая идея, разработанная кем-либо из членов школы, становится достоянием всего коллектива и приводит к определенным сдвигам в научной ориентации каждого из его членов. Так, например, произошло при довольно быстрой переориентации научных интересов многих антропологов после разработки Эванс-Причардом его «парадигмы линиджа» в исследовании о нуэрах.

Весьма эффективным, на наш взгляд, является применение модели «научная школа» в изучении идейно-теоретического развития британской антропологии. Логика этого процесса может быть реконструирована следующим образом: от самых общих установок на интенсивные эмпирические исследования и первых специальных методик полевой работы (кембриджская школа) к тщательной, всесторонней разработке полевой методики и методов целостного описания изучаемой культуры (школа Малиновского) и от интуитивно-холистического отражения взаимосвязанности явлений культуры к анализу структуры этой взаимосвязанности (школа Рэдклифф-Брауна).

Рассмотренные под таким углом зрения, научные школы выступают как звенья внутренней логики развития науки. Так, специальные эмпирические методики наблюдения и фиксации социальных явлений можно рассматривать как одну из необходимых логических предпосылок для отражения общества как некой конкретной целостности, а такое отражение — необходимая предпосылка постановки проблемы изучения структурной природы общества.

Специфика каждой из рассмотренных нами школ определялась не только индивидуальными особенностями ее лидера, но и требованиями соответствующего этапа развития науки. Характер школы Малиновского в значительной степени был определен обстановкой борьбы новой научной ориентации за право на существование, идейной конфронтацией с эволюционизмом и диффузионизмом. Отсюда — крайний антиисторизм и полное пренебрежение к абстрактно-теоретическим схемам (эмпиризм) в ее исследовательской программе. То обстоятельство, что школа Малиновского возникла на самом первом этапе становления функционализма и была сформирована из ученых, делающих первые шаги в науке, определило специфику взаимоотношений между главой школы и остальными его членами. В этой школе царила атмосфера непрерываемого авторитета Малиновского и требований полной идейно-теоретической лояльности по отношению к его концепции, недаром современники называли его «восточным учителем»⁴⁴.

Школа Рэдклифф-Брауна сформировалась в период, когда альтернатива «функционализм или эволюционизм» в значительной степени потеряла свою остроту — отсюда более терпимое отношение к идее социальной эволюции и первые попытки включить ее в исследовательскую

⁴⁴ Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, p. 9.

программу⁴⁵. Молодые британские антропологи, воспитанные в эмпирико-холистической традиции школы Малиновского и уже имеющие значительный опыт самостоятельных исследований, объединились вокруг оксфордского центра не столько как «верные» последователи Рэдклифф-Брауна, сколько как его коллеги, смело вносящие коррективы в методы и его, и Малиновского.

При учете фактора научной школы расширяются возможности оценки того или иного положения функционалистской методологии. Любой методологический принцип, ставший элементом исследовательской программы, характеризуется в силу этого не только по тем аналитическим возможностям, которые в нем заложены. Становится возможной его оценка по тому реальному вкладу в науку, который принесло его применение в деятельности определенного коллектива исследователей, а порой научной дисциплины в целом.

В этом качестве некоторые положения структурно-функционального подхода внесли определенный положительный вклад в развитие этнографических методов. К ним относятся логическое обоснование относительной самостоятельности синхронно-функционального анализа и разработка категорий и процедур этого анализа. Самостоятельную ценность для науки представляет большое количество фактов по этнографии самых разных народов Африки, Азии, Австралии и Океании, полученных в многочисленных экспедициях британских антропологов, а также многие их конкретные выводы из обобщения этих фактов.

Вместе с тем существование ряда идей и принципов структурно-функционального подхода в качестве программных установок превратило их в традиционные догмы, сковывающие развитие британской антропологии. Так, ориентация британских антропологов преимущественно на изучение синхронно-функциональных отношений привела к тому, что в рассматриваемый период никто из них не ставил проблем исторического изучения «примитивных» обществ.

Сложился традиционный стереотип научной карьеры антрополога, по которому он должен ряд лет провести в поле в эмпирическом изучении одного, максимум двух народов, а остаток жизни посвятить обработке собранного материала и его публикации. Все это нередко служило предпосылкой неоправданного отождествления изученных народов с доклассовым обществом вообще. Так, Малиновский, делая обобщающие выводы о «примитивной» культуре, в сущности говорил о тробриандцах, Рэдклифф-Браун — об австралийских аборигенах и андаманцах, Эванс-Причард — о нуэрах и азанде, Фортес — о талленси и т. д.

Ограничивающее воздействие подобных стереотипов было осознано представителями современной британской антропологии как проявление одной из причин углубляющегося методологического кризиса, от преодоления которого зависит будущее их науки⁴⁶. Однако традиции, берущие начало в научных школах Малиновского и Рэдклифф-Брауна, настолько сильны, что решение этой задачи потребует значительных усилий.

⁴⁵ Рэдклифф-Браун уделял внимание разработке категории «социальная эволюция», пытаясь совместить принципы анализа структурно-функциональных характеристик общества и его эволюции (см. *Radcliffe-Brown A. R. Method in Social Anthropology*, p. 146), однако эта попытка не привела к сколько-нибудь существенному изменению преимущественно синхронного характера конкретных исследований в британской антропологии.

⁴⁶ *Evans-Pritchard E. E. Anthropology and History. Manchester, 1963, p. 13; Leach E. Rethinking Anthropology. London, 1961, p. 1.*

Г. Н. Симаков

О ПРИНЦИПАХ ТИПОЛОГИЗАЦИИ СКОТОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА У НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье Г. Е. Маркова, открывшей дискуссию о дефинициях и терминологии скотоводческого хозяйства и кочевничества¹, затронута важная проблематика типологизации скотоводства. Ввиду неразработанности и дискуссионности этой проблематики, большое значение приобретает поиск принципов типологизации скотоводческого хозяйства у отдельных народов и у народов того или иного региона в целом, основанный на анализе конкретных материалов. В настоящей статье содержатся некоторые результаты подобного анализа скотоводства у народов Средней Азии и Казахстана.

Известно, что у населения этого обширного региона скотоводство с древнейших времен играло исключительно важную роль, оно нередко было главным, а иногда и единственным источником существования. К настоящему времени накоплен огромный материал по среднеазиатскому скотоводству, который нуждается в систематизации и обобщении. Одним из наиболее эффективных средств для этого является типологическое исследование. Создание типологий позволит сделать важные выводы по истории, структуре и функциям этой отрасли хозяйства и, что не менее важно, поможет наметить пути ее дальнейшего изучения. Кроме того, типологический анализ скотоводства будет способствовать уточнению хозяйственно-культурных типов у народов региона², поскольку, как отмечают исследователи, «ведущая форма хозяйственной деятельности в конкретных географических условиях в значительной мере определяла этнографические параметры образа жизни, которые могут быть сведены к следующим дефинициям: оседлый, полuosедлый, полукочевой, кочевой и бродячий. Именно эти определения выделяются при выявлении хозяйственно-культурных типов в качестве первого слагаемого их характеристики»³.

Изучение хозяйства народов Средней Азии и Казахстана, в частности скотоводческого хозяйства, имеет более чем двухвековую историю. Дореволюционный период характеризуется обилием конкретных исследований скотоводства, которые содержат ценные факты, статистические сведения, оценки. К этому периоду относятся и первые весьма несовершенные классификации скотоводческого хозяйства, в которых типы ско-

¹ Марков Г. Е. Скотоводческое хозяйство и кочевничество. Дефиниции и терминология. — Сов. этнография (далее СЭ), 1981, № 4.

² Проблемы типологий в современной этнографии. М.: Наука, 1979; Жданко Т. А. Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана в Историко-этнографическом атласе. — В кн.: Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1975, с. 7.

³ Андрианов Б. В., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные традиции и проблемы их картографирования. — СЭ, 1972, № 2, с. 8.

товодства выделены нередко по несущественным, а порой и случайным признакам⁴.

В советское время изучение среднеазиатского скотоводства идет по линии как дальнейшего накопления фактического материала, так и его теоретического осмысления на основе марксистско-ленинской методологии. При этом теоретические исследования ведутся в двух взаимосвязанных направлениях: 1) разработка типологий скотоводческого хозяйства⁵ и 2) уточнение хозяйственно-культурных типов⁶. Особенно важное значение в последние годы получило первое направление, в частности, в связи с интенсивной работой над Историко-этнографическим атласом Средней Азии и Казахстана. Однако ряд вопросов, связанных с типологизацией скотоводческого хозяйства, требует дальнейшей разработки. В своей статье мы остановимся на тех из них, которые представляются нам наиболее важными, а именно:

— определение критериев выделения разновидностей скотоводческих хозяйств, в той или иной мере связанных с кочеванием (кочующих хозяйств);

— определение критериев выделения разновидностей оседлого скотоводческого хозяйства;

— более дробная детализация основных типов скотоводческого хозяйства с учетом географических и историко-культурных факторов (существующие трех-четырёхчастные схемы имеют слишком общий характер);

— обоснование и разработка принципа разграничения типов скотоводческого хозяйства на основе способов (систем) содержания и выпаса скота;

— уточнение терминологии скотоводческого хозяйства.

В среднеазиатской истории, этнографии, археологии и экономической географии прочно утвердилось мнение о том, что понятие «кочевой» народ все более дифференцируется. Деление народов Средней Азии и Казахстана на «чистых» кочевников и земледельцев явно устарело... Выявляется значительный удельный вес и историческая роль полуседлого и полукочевого населения, сочетающего в своем хозяйстве в разных соотношениях земледелие и скотоводство, элементы кочевой и оседлой

⁴ Обзор литературы по дореволюционному скотоводству см.: *Лунин Б. В.* Материалы по историографии истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана.— В кн.: *Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана; Кармышева Б. Х.* Степень изученности скотоводства у таджиков и узбеков.— В кн.: *Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана.* Л.: Наука, 1973.

⁵ См. *Руденко С. И.* К вопросу о формах скотоводческого хозяйства и о кочевниках.— В кн.: *Материалы по этнографии. ВГО СССР, 1961, в. 1; Сорокин С. С.* Древние скотоводы Ферганских предгорий.— Там же; *Кармышева Б. Х.* Типы скотоводства в южных районах Узбекистана и Таджикистана.— СЭ, 1969, № 3; *Оразов А.* Некоторые формы скотоводства в дореволюционной Туркмении.— В кн.: *Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана; его же.* О типах скотоводства в Ахале в конце XIX — начале XX века.— В кн.: *Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана.* М., 1975; *его же.* Типы (системы) скотоводства в Туркмении. Объяснительная записка к карте для Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана, в. 1 — Хозяйство (рукопись, хранится в секторе Средней Азии и Казахстана Ин-та этнографии АН СССР); *Курылев В. П.* Опыт типологизации скотоводческого хозяйства у казахов.— В кн.: *Проблемы типологии в современной этнографии; Симаков Г. Н.* Опыт типологизации скотоводческого хозяйства у киргизов.— СЭ, 1978, № 6.

⁶ *Толстов С. П.* Очерки первоначального ислама.— СЭ, 1932, № 2; *Очерки общей этнографии. Азиатская часть СССР.* М., 1959; *Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н.* Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области.— СЭ, 1955, № 4; *Андреанов Б. В.* Хозяйственно-культурные типы.— В кн.: *Народы Средней Азии и Казахстана.* М.: Изд-во АН СССР, 1962, т. 1; *Андреанов Б. В., Чебоксаров Н. Н.* Хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования; *Жданко Т. А.* Патриархально-феодалные отношения у полуседлого населения Средней Азии и Казахстана.— В кн.: *Материалы первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в Ташкенте.* Ташкент, 1958; *его же.* Проблемы полуседлого населения Средней Азии и Казахстана.— СЭ, 1961, № 2; *его же.* Номадизм в Средней Азии и Казахстане.— В кн.: *История, археология и этнография Средней Азии.* М.: Наука, 1968; *его же.* К вопросу о хозяйственно-культурном типе полуседлых скотоводов-земледельцев-рыболовов дельтовых областей Средней Азии.— В кн.: *Этнография и археология Средней Азии.* М.: Наука, 1979; *Марков Г. Е.* Кочевники Азии. М.: Изд-во МГУ, 1976.

культуры»⁷. Причем очевидно и то, что «каждый из этих типов хозяйства (полукочечевого и полуседлого.—Г. С.) и образов жизни имело множество градаций»⁸.

Из этого следует, что при типологизации скотоводческого хозяйства рассматриваемого региона очень важным оказывается вопрос дифференциации скотоводческих хозяйств, в той или иной степени связанных с кочевым образом жизни. Однако его решение сопряжено прежде всего с установлением четких и надежных критериев, которые позволили бы выявить качественные различия между «множеством градаций» скотоводческих хозяйств. Советскими учеными в качестве важнейших критериев использовались: характер, протяженность и длительность кочева-ния, состав стада в кочующем хозяйстве, наличие или отсутствие сезон-ной оседлости — стационарных построек для скота, наличие и степень развития сенокосения, наличие или отсутствие стационарного жили-ща⁹. Типологизации основывались либо на отдельных критериях, либо на различных их сочетаниях, что, на наш взгляд, не могло дать достаточ-но четкой картины типов скотоводческих хозяйств, связанных с коче-вым образом жизни. Часто хозяйства, обладающие существенными об-щими чертами, относили к разным типам, и, наоборот, хозяйства, раз-личающиеся по основным признакам,— к одному типу.

Некоторые авторы (С. И. Руденко, С. С. Сорокин, В. П. Курылев) ис-пользовали в качестве одного из разграничительных критериев наличие или отсутствие в системе хозяйства земледелия, но не придавали этому критерию первостепенного значения. Между тем тщательное исследо-вание имеющихся материалов показывает, что масштабы и характер ко-чующего скотоводческого хозяйства в значительной мере определяются наличием или отсутствием в его системе земледельской отрасли, а при наличии таковой — степенью ее развития и удельным весом. Вот как ха-рактеризует различия между кочевым и полукочевым хозяйством и бы-том у казахов один из дореволюционных авторов: «Чисто кочевой быт это такой, где хозяйство зиждется исключительно на одном скотовод-стве, где притом скот содержится круглый год на подножном корме, и, следовательно, не существует не только земледелия, но даже и сенокос-ения, а отсюда с необходимостью вытекает кочевой образ жизни — правильные периодические передвижения кочевников и их скота, в за-висимости от состояния кормов в разное время и в разных частях ис-пользуемой кочевниками территории; отсюда вытекает и отсутствие по-стоянных жилищ — единственное обиталище чистого кочевника, идеаль-но приспособленное к своей цели — это передвижная обыкновенно вой-лочная юрта... Полукочевые формы быта и хозяйства характеризуются появлением и более или менее значительным развитием земледелия и се-нокосения, наличностью постоянных жилищ и сокращением как вре-мени, так и размаха кочевания»¹⁰. В этом высказывании подчеркнута важная роль земледелия в изменении характера кочующего скотовод-ческого хозяйства, так как прежде всего наличием в нем земледелия объясняется появление ряда элементов оседлости (сенокосение, постоян-ное жилище), а также сокращение времени и протяженности коче-вания.

Экономисты, проводившие специальное исследование, констатируют факт зависимости кочующего скотоводческого хозяйства от земледельче-ской отрасли и выявляют одну из важных причин этой зависимости. Так, П. Погорельский и В. Батраков, изучавшие в 1930-х годах хозяйство киргизов, пишут: «Обычно каждый скотовод имеет посев... сочетание скотоводства и земледелия явление обычное и, по крайней мере, для на-стоящего времени естественное... каждый скотовод вынужден делить

⁷ Жданко Т. А. Номадизм в Средней Азии и Казахстане, с. 276.

⁸ Жданко Т. А. Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казах-стана в Историко-этнографическом атласе, с. 9.

⁹ См.: Руденко С. И. Указ. раб.; Вайнштейн С. И. Историческая этнография ту-винцев. М.: Наука, 1972, с. 69—73.

¹⁰ Кауфман А. К. К вопросу о происхождении русской земельной общины. М., 1907, с. 7.

свой труд между скотом и землей»¹¹. М. Г. Сахаров подчеркивает, что форма участия в сельскохозяйственных работах для большинства кочевников связана с отрывом от кочевания части работников семьи скотовода. Отрыв и даже раздел семьи и домашнего хозяйства происходит не только во время летних работ по поливу и охране посевов, по заготовке топлива (кизяков), но и весной для проведения пахоты и посева, осенью для уборки урожая¹². В результате «Продолжительные полевые работы, связанные с подготовкой пашен, посевом и уборкой их, удерживают киргиз на территории, где у них находятся посевы, т. е. главным образом на призывочной территории. Кочевания киргиз значительно сокращаются»¹³.

Занятие крестьян одновременно двумя отраслями хозяйства, к тому же требующими территориального разъединения (оседлость и кочевание), заставляло их строго распределять свой труд. В ряде случаев «...часть хозяйств, менее обеспеченных скотом, образует кочевые группы, отдельные хозяйства которых самостоятельно ведут земледелие. При наступлении сроков уборки урожая группа либо вся приближается к зимовке, либо выделяет хозяйства, которые должны самостоятельно провести уборку»¹⁴. Чаще же разделение труда осуществлялось в рамках семьи. Так было, например, у даукаринских казахов Каракалпакии. Вот что рассказал Т. А. Жданко один из ее информаторов в 1974 г.: «Здесь жители занимались наполовину земледелием, наполовину скотоводством. Мой отец имел трех братьев: в общем хозяйстве у них было более 100 лошадей, более 1000 овец, были коровы — крупный рогатый скот. Поэтому два брата занимались земледелием, а два пасли скот. Так распределяли работу в тех случаях, когда между родственниками были мир и согласие. Если же они ссорились, то не могли одновременно заниматься и скотоводством и земледелием — им занималась примерно половина членов семьи. Поэтому скотоводство даукаринских казахов в целом правильно называть полукочевым»¹⁵.

Наличие двух отраслей в системе хозяйства кочующих скотоводов было характерно для многих районов Каракалпакии и Туркмении, где земледелие было относительно высоко развито, и крестьяне должны были обеспечить уход за землей и посевами, а порой и содержание в порядке оросительной сети. Именно этим следует объяснить тот факт, что кочевание у туркмен и каракалпаков имело в рассматриваемый период пережиточный характер.

Важно отметить, что даже при весьма слабом развитии земледелия само наличие его в системе хозяйства влияло на характер ведения кочевого скотоводства. У монголов, например, «хлебопашество», как отмечал Б. Я. Владимирцов, «...не изменило кочевой жизни и не создало поселений. Зато хлебопашество нормировало кочевание: пашни могут существовать только в нескольких пунктах, поэтому кочевание следует строить так, чтобы попасть к пашням во время вспашки, посева, а также уборки хлеба»¹⁶. Аналогичную картину можно было наблюдать и у большинства кочующих хозяйств Средней Азии и Казахстана, где земледелие было неразвитым, примитивным.

Таким образом, наличие земледелия в системе хозяйства требовало разделения усилий и рабочего времени семьи кочующего скотовода (или группы родственных семей) для параллельного ведения двух пространственно разъединенных хозяйственных отраслей. Это обстоятельство неизбежно вело и к изменению характера кочевого скотоводства, к умень-

¹¹ Погорельский П., Батраков В. Экономика кочевого аула Киргизстана. М.: Изд. Совнаркома КАССР, 1930, с. 86.

¹² Сахаров М. Г. Оседание кочевых и полукочевых хозяйств Киргизии. М., 1934, с. 57.

¹³ Погорельский П., Батраков В. Указ. раб., с. 90.

¹⁴ Там же, с. 87.

¹⁵ Жданко Т. А. Скотоводческое хозяйство Каракалпакии в конце XIX — начале XX века. Объяснительная записка к карте для Историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана (рукопись, с. 36).

¹⁶ Владимирцов Б. Я. Поездка к кобдосским дербетам летом 1888 г. — Изв. РГО, 1911, т. 46, в. 8—10, с. 335—336.

шению его масштабов и появлению в его системе оседлых элементов.

Так, помимо сокращения продолжительности и протяженности кочевания у скотоводов, связанных с земледелием, количественно и качественно менялся состав стада: у кочевников, как правило, стада были более многочисленны, чем у скотоводов, занимавшихся и земледелием. Кроме того, в стадах последних значительно повышается процент крупного рогатого скота: во-первых, он используется в сельскохозяйственных работах, а во-вторых, с сокращением продолжительности и протяженности кочевания появляется возможность его содержания на территории сезонной оседлости (крупный рогатый скот, как известно, не переносит дальних перекочевков).

Содержание сравнительно большого количества крупного рогатого скота, обусловленное, как уже отмечалось, главным образом потребностями земледелия, приводит к необходимости заниматься сенокосением (этот вид скота не может добывать корм из-под снега).

Для обработки земли, поддержания оросительной сети, полива, сбора и обмолота урожая, а также заготовки сена скотоводу приходилось часть года проводить на территории, где находятся посевы и покосы. Так по мере развития земледелия и угасания кочевых традиций ведения скотоводческого хозяйства развивается сезонная оседлость, продолжительность которой, как об этом свидетельствуют многочисленные материалы, находится в прямой зависимости от степени развития сельскохозяйственной отрасли; от ее удельного веса в системе хозяйства.

Часто в местах сезонной оседлости не было естественных укрытий для скота от непогоды. При этом ввиду значительных изъятий царским правительством пастбищных земель не было и возможности перегонять скот на другие участки, так как территории сезонной оседлости (главным образом зимние стоянки) обычно были поделены между различными племенными группами. Поэтому скотоводы, имеющие посевы, были вынуждены возводить для укрытия животных от непогоды стационарные постройки; в первую очередь в них нуждался крупный рогатый скот. Количество и качество таких сооружений также зависели от уровня развития земледелия, от степени проникновения в хозяйство и быт элементов оседлого образа жизни.

Наконец, по мере развития оседлости вслед за помещениями для скота появлялись стационарные жилища для людей, и, чем сильнее было развито в системе кочующего хозяйства земледелие, тем большее число семей имели такие жилища и тем совершеннее было их качество.

Изменения в кочующем скотоводческом хозяйстве, вызванные наличием в его системе сельскохозяйственной отрасли, касались также характера использования различных видов скота в хозяйстве, форм организации его выпаса, числа постоянно кочующих членов семьи, продолжительности их пребывания на кочевье и на территории сезонной оседлости, количественного соотношения культурных угодий (сенокосов и пашен) и территорий, предназначенных для выпаса скота, и многих других черт скотоводческого хозяйства.

Необходимо подчеркнуть, что одновременно происходили существенные изменения в быту и культуре скотоводов, чье хозяйство сохраняло кочевые традиции. Например, в пище менялось соотношение молочных и мясных продуктов, с одной стороны, и продуктов земледелия — с другой. В составе утвари появлялась керамическая посуда и другие тяжелые и громоздкие предметы, которые можно было на время кочевания оставить в стационарных жилищах на территории сезонной оседлости, менялись масштабы и характер традиционных общественных и семейных торжеств, одежда, транспортные средства и т. п.

Таким образом, главная и единственная причина происходивших в хозяйстве и быте изменений — появление и развитие земледелия в системе кочующего скотоводческого хозяйства. Все остальные критерии, в различных сочетаниях или каждый в отдельности использовавшиеся исследователями для разграничения разновидностей скотоводческих хозяйств, являются, на наш взгляд, вторичными. Поэтому мы сочли целе-

сообразным взять в качестве критерия разграничения кочевых скотоводческих хозяйств, с одной стороны, и хозяйств, которые в литературе принято называть полукочевыми и полuosедлыми, — с другой — наличие или отсутствие в их системе земледельческой отрасли.

На это можно было бы возразить, что иногда и кочевые хозяйства имеют в составе стада небольшое количество рогатого скота, занимающегося сенокошением и даже используют стационарные жилища. Однако эти признаки оседлости, во-первых, встречаются в кочевых хозяйствах сравнительно редко, во-вторых, не имеют тенденции развиваться, в третьих, неустойчивы до появления в системе кочующего хозяйства земледелия и, кроме того, не составляют в своей совокупности основы оседлого хозяйства и быта.

Рассматривая земледелие в качестве критерия разграничения различных кочующих хозяйств, следует, на наш взгляд, остановиться на очень важном моменте, который при типологизации или совсем не учитывался или не привлекал должного внимания. Имеются в виду способы содержания и выпаса скота, или, как мы называем их, формы скотоводства.

В специальной литературе, посвященной скотоводческому хозяйству народов Средней Азии и Казахстана, отмечаются следующие формы скотоводства: пастбищная, отгонная, яйлажная, выгонная и стойловая. Однако не всегда достаточно отчетливо раскрывается содержание этих терминов. Попытаемся охарактеризовать формы скотоводства и выявить различия между ними, так как это, на наш взгляд, имеет принципиальное значение при разработке типологии.

Под пастбищной мы подразумеваем такую форму скотоводческого хозяйства, суть которой составляет содержание скота в течение всего года или части его на подножном корму. При этом обязательно кочевание скотовода и его семьи со всем домашним имуществом с одного сезонного пастбища на другое.

При отгонной форме скотоводства весь скот либо часть его отправляется на определенный период года (иногда на весь год) на отдаленное пастбище в сопровождении пастуха или пастухов (посторонних людей или родственников), которые осуществляют пастьбу скота и надзор за ним. Владелец скота и его семья (или большая часть семьи) во время пастьбы находятся на местах постоянного жительства или сезонной оседлости, расстояние от которых до пастбища не позволяет им осуществлять ежедневный уход и надзор за скотом и его регулярное доение.

Яйлажная форма характеризуется тем, что весь скот или часть его перегоняется (чаще всего на теплое время года) на более или менее отдаленное от места жительства крестьянина и его семьи пастбище.туда же переселяется часть семьи, обычно женщины. Они осуществляют пастьбу скота и надзор за ним, а также заготовку впрок молочных продуктов. На месте выпаса часто возводятся сезонные стационарные постройки для укрытия скота от непогоды, а иногда и стационарные жилища для людей, сопровождающих скот. По окончании сезона пастьбы скот и сопровождающие его люди возвращаются на место постоянного или временного жительства крестьянина и его семьи. Надо подчеркнуть, что рассмотренный способ выпаса — не кочевание и не отгон пастухами скота. Это лишь временное переселение части жителей на сезонное пастбище (как правило, постоянное, им пользуются из года в год).

При выгонной форме скот, как и в рассмотренных выше случаях, содержится на подножном корму в течение всего года или части его, но при этом выпасается на небольшом расстоянии от оседлого поселения — места постоянного жительства крестьянина и его семьи, где и расположены стационарные помещения для скота. Это позволяет один или несколько раз в день, не отрываясь надолго от других хозяйственных занятий, осуществлять доение и подкормку скота. Ночью, а также в непогоду, скот находится в стационарных помещениях. Пасут скот пастухи или члены семьи. Таким образом, выгонная форма скотоводства отличается от отгонной прежде всего меньшим расстоянием, на которое перегоняет-

ся скот, и вытекающей отсюда возможностью более эффективного ухода за ним, возможностью регулярного доения, укрытия от непогоды и т. п.

Стойловая форма, во многих случаях тесно связанная с выгонной, характеризуется, во-первых, кормлением скота заранее заготовленным кормом («с рук») и уходом за ним и, во-вторых, наличием в усадьбе стационарных помещений для скота.

Охарактеризованные формы скотоводческого хозяйства, на наш взгляд, можно разделить на две качественно различные категории. В первую входит только пастбищная форма скотоводства, неотъемлемым признаком которой является кочевание. Пастбищная форма составляет основу кочевого скотоводческого хозяйства. Остальные четыре формы (яйлажная, отгонная, выгонная и стойловая) присущи исключительно оседлому скотоводческому хозяйству, так как они ни в коей мере не связаны с кочеванием, т. е. передвижением скотовода и всей его семьи со всем домашним имуществом вслед за скотом с одного сезонного пастбища на другое. В этих четырех случаях скотовод и его семья живут оседло (временно или постоянно), лишь при яйлажной форме скотоводства часть семьи переселяется (но не кочует) на более или менее отдаленное пастбище¹⁷.

До сих пор исследователи при рассмотрении скотоводческих хозяйств, в той или иной мере связанных с кочеванием, говорили только о пастбищной системе скотоводства как единственной их основе. В этом, на наш взгляд, одна из причин того, что между оседающими и кочевыми скотоводческими хозяйствами трудно было провести типологическую грань. В действительности же часть кочующих скотоводческих хозяйств, занимавшихся помимо скотоводства и земледелием, была вынуждена, как уже говорилось, некоторое время находиться на территории сезонной оседлости, что неизбежно приводило к необходимости выпасать скот (или часть скота) в непосредственной близости от этой территории. Следовательно, пастбища в период пастбы по существу являлись выгонами, так как кочевание на это время прекращалось. Кроме того, как отмечалось, скотоводы, занимавшиеся наряду с кочевым скотоводством и земледелием, возводили на территории сезонной оседлости стационарные помещения для скота, где в холодное время скот получал дополнительно заранее заготовленные корма. Иными словами, в определенное время года скот (или часть скота) был на стойловом содержании. В тех же случаях, когда скота было очень много, на период сезонной оседлости его отгоняли на отдаленное пастбище с пастухами.

Таким образом, для кочевых хозяйств характерна только пастбищная форма выпаса скота; кочующие же хозяйства, связанные с земледелием, использовали в той или иной степени помимо кочевого пастбищного и оседлые формы содержания скота: отгонную, стойловую, выгонную, а иногда и яйлажную.

Все сказанное о формах скотоводческого хозяйства также позволяет нам рассматривать признак наличия или отсутствия земледелия в системе хозяйства в качестве основного разграничительного критерия между кочевыми хозяйствами и хозяйствами, утратившими в той или иной степени кочевые традиции. Однако, применяя этот критерий, надо иметь в виду, что и земледелие народов Средней Азии и Казахстана обладает значительным типологическим разнообразием. Поэтому в качестве критерия следует брать лишь «регулярное» земледелие, при котором участки земли, как и сама территория сезонной оседлости, постоянны, ими пользуются из года в год. Так называемое нерегулярное земледелие, при котором места пахоты меняются и новые порой находятся на значительном удалении от прошлогодних, характерно для кочевого скотоводства

¹⁷ Многие исследователи считают, что отгонная форма скотоводства составляет самостоятельный тип или присуща кочевой системе. См.: Поляков С. П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. М.: Изд-во МГУ, 1980, с. 44, 52—54; Шамилдзае В. М. Хозяйственно-культурные и социально-экономические проблемы скотоводства Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1979, с. 54, и др.

и рассматривается нами только для выделения градаций в пределах кочевого скотоводческого хозяйства.

На основании изложенного можно сформулировать и содержание термина «сезонная оседлость». К скотоводческим хозяйствам, обладавшим сезонной оседлостью, мы относим лишь те, которые занимались регулярным земледелием, что, как показано выше, вело к возникновению в кочующем хозяйстве оседлого культурно-хозяйственного комплекса. Кочевые хозяйства, находящиеся на одном и том же месте в один из сезонов года, но не занимающиеся регулярным земледелием, сезонной оседлостью не обладают. Их пребывание на сезонных стоянках не было обусловлено хозяйственной необходимостью, а вызывалось внешними обстоятельствами (изъятие зимних пастбищных территорий, ограниченное количество пригодных для зимовок мест и т. д.), изменение которых нередко влекло за собой потерю сезонной стоянки и утрату появившихся элементов оседлого быта.

Использованный в качестве главного при выделении типов скотоводческого хозяйства критерий наличия земледелия позволяет провести качественную грань между разновидностями оседлого скотоводства, ибо степень подвижности оседлого скотоводческого хозяйства тоже зависит от уровня интенсификации земледельческой отрасли. Например, в тех районах, где земледелие имело древние традиции и отличалось относительно высокой культурой, в скотоводстве, как правило, преобладали выгонная и стойловая формы (т. е. наименее подвижные формы), так как скота в районах развитого земледелия — оазисах Средней Азии — было, как правило, немного и необходимость в отгонном его содержании отпадала. В тех же районах, где земледелие в силу географических и историко-культурных причин находилось на более низком уровне и где скотоводство являлось доходной отраслью хозяйства, ведущее место, как правило, принадлежало яйлажной и отгонной формам скотоводства (т. е. более подвижным и близким к кочевой).

В заключение следует подчеркнуть, что особенности скотоводческого хозяйства находились в тесной зависимости от классовой и имущественной дифференциации скотоводов. Поэтому при выделении типов скотоводческого хозяйства было бы неверно, на наш взгляд, брать за основу только байские (наиболее подвижные) или только бедняцкие (наиболее зависимые от земледелия) хозяйства, так как характеристика скотоводства в этом случае была бы однобокой. Поэтому мы берем за основу некое среднее в данном конкретном районе и конкретной географической обстановке хозяйство, отмечая при этом особенности байских и бедняцких хозяйств в пределах выделенного типа (или подтипа). Во многих случаях таким хозяйством является хозяйство середняка, в котором нет, с одной стороны, черт деградации, присущих бедняцким хозяйствам, с другой — стабильности, присущей богатым эксплуататорским хозяйствам. Кроме того, надо учитывать, что степень взаимодействия и взаимовлияния двух отраслей хозяйства (кочевого скотоводства и регулярного земледелия) в каждом конкретном случае в значительной мере зависела от природных условий, от этнокультурных традиций хозяйственной деятельности, от исторических причин, политических обстоятельств и т. п.

Взяв в качестве главного критерия разграничения разновидностей скотоводческого хозяйства наличие или отсутствие в его системе земледелия, а при наличии такового — степень его развития, интенсификации, мы выделяем три основных типа скотоводства: кочевой, комплексный и оседлый. Кочевой тип объединяет наиболее подвижные скотоводческие хозяйства, комплексный — совокупность кочующих хозяйств, занимающихся параллельно и регулярным земледелием (эти хозяйства сочетают черты как кочевого, так и оседлого типов), оседлый тип основан только на оседлых формах (скотоводческая отрасль в хозяйствах этого типа подчинена задачам регулярного земледелия).

В пределах названных типов можно выделить ряд подтипов, различающихся по степени интенсификации земледельческой отрасли, ее удель-

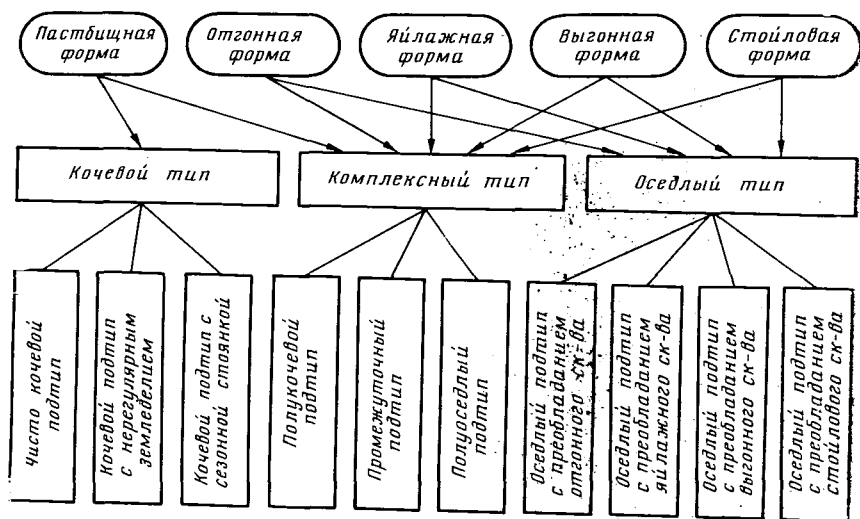
ному весту в системе хозяйства, ее значимости как основного средства существования. Так, в рамках комплексного типа выделяются: 1) *полукочевой подтип*, в котором кочевые традиции ведения скотоводства явно преобладают над оседлыми в силу неразвитости земледелия в системе хозяйства; 2) *промежуточный подтип*, в котором характерные для кочевого и оседлого скотоводческого хозяйства черты как бы уравновешены (имеют приблизительно равное значение в скотоводческом хозяйстве), что вызывается одинаковым значением скотоводства и земледелия как основных средств существования; 3) *полуоседлый подтип*, где кочевые методы ведения скотоводческого хозяйства являются по существу пережитком, так как земледелие в системе хозяйства явно преобладает и служит основным средством существования.

В пределах оседлого типа мы выделяем: 1) *оседлый подтип с преобладанием яйлажного скотоводства*; 2) *оседлый подтип с преобладанием отгонного скотоводства*; 3) *оседлый подтип с преобладанием выгонного скотоводства* и 4) *оседлый подтип с преобладанием стойлового скотоводства*.

В пределах кочевого типа выделяются: 1) *чисто кочевой подтип*, для которого характерно полное отсутствие земледелия в системе хозяйства, непрерывное круглогодичное кочевание со скотом с одного сезонного пастбища на другое (как правило, на большие расстояния), отсутствие сезонных стоянок, крупного рогатого скота, стационарных жилищ и ностроек для скота и т. п.; 2) *кочевой подтип с нерегулярным земледелием*, особенностями которого были кочевание на меньшие, чем в предыдущем случае, расстояния, наличие в стаде некоторого количества крупного рогатого скота, отсутствие регулярной сезонной оседлости, так как участки земли из года в год засеивались обычно на новом месте, расположенном нередко на значительном расстоянии от прошлогодней пашни. Скотоводческие хозяйства этого подтипа были ограничены в кочевании на время земледельческих работ; 3) *кочевой подтип с сезонной стоянкой*, характеризующийся также полным отсутствием земледелия в системе хозяйства, кочеванием на большие расстояния, отсутствием в стаде крупного рогатого скота; хозяйства, относящиеся к этому подтипу, вынуждены проводить определенное время в году (чаще зиму) на одной и той же стоянке, где иногда имеются стационарные загоны для скота, а также заготовлено небольшое количество сена для подкормки части животных (ослабленных, больных) «с рук» в наиболее холодное или снежное время зимы. Два последних подтипа кочевого скотоводства обладают некоторыми чертами оседлости, однако отсутствие стационарного земледелия в хозяйстве делает, как уже говорилось, такие черты неустойчивыми, временными, что дает основание рассматривать эти подтипы в пределах кочевого типа.

Изложенную классификацию скотоводческого хозяйства мы изобразили графически (см. схему). Слева представлены наиболее подвижные разновидности скотоводческого хозяйства (кочевой тип и чисто кочевой подтип), а справа — наименее подвижные (оседлый тип и оседлые подтипы с преобладанием выгонного и преобладанием стойлового скотоводства). В той же последовательности в схеме отражены и формы: слева наиболее подвижная — пастбищная (кочевая) форма, справа наименее подвижная — стойловая. Схема, как нам кажется, во-первых, дает представление о многообразии традиционного скотоводческого хозяйства у народов Средней Азии и Казахстана и, во-вторых, показывает основную тенденцию развития скотоводства региона в конце XIX — начале XX в.: стремление к оседанию кочующих хозяйств, к развитию в их системе регулярного земледелия, к переходу от более подвижных форм скотоводства к менее подвижным. Надо сказать, что тенденция эта развивалась независимо от того, когда вошло земледелие в хозяйство: сравнительно недавно (большинство казахов и киргизов) или же в далеком прошлом (большинство каракалпаков и часть туркмен).

В заключение отметим, что выделенные типы и подтипы скотоводческого хозяйства у народов рассматриваемого региона представляют



Классификация традиционного скотоводческого хозяйства у народов Средней Азии и Казахстана

лишь основные градации скотоводства и не исчерпывают всего его разнообразия. Поэтому с учетом географических факторов, которые оказывали существенное влияние на формирование разновидностей скотоводческого хозяйства в той или иной природной зоне, а также особенностей скотоводства, сложившихся у разных народов и их локальных групп под воздействием историко-культурных факторов, можно выделить в пределах рассмотренных подтипов скотоводства многочисленные варианты.

Б. В. Андрианов

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ДЕФИНИЦИЯХ И ТЕРМИНОЛОГИИ СКОТОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Обсуждаемая статья Г. Е. Маркова¹ затрагивает ряд важных проблем этнографического изучения скотоводческого хозяйства и кочевничества. Он справедливо обращает внимание прежде всего на существующие различия в толковании терминов «животноводство» и «скотоводство». Если первый, по мнению Г. Е. Маркова, охватывает все формы содержания животных и служит основой многих хозяйственно-культурных типов, то второй связан с более или менее экстенсивным разведением животных и хозяйственной деятельностью, «либо целиком определяющей характер хозяйственно-культурного типа, либо составляющей один из важнейших его признаков» (с. 84).

Нетрудно заметить, что в данной статье, как и в ряде других своих публикаций, Г. Е. Марков связывает вопросы классификации скотоводческого хозяйства с историко-этнографической классификацией, с так называемыми хозяйственно-культурными типами. Такой подход, безусловно, соответствует современным задачам этнографии, изучающей в рамках разрабатываемых в отечественной науке научных концепций «этнических общностей», «историко-культурных областей» и «хозяйст-

¹ Марков Г. Е. Скотоводческое хозяйство и кочевничество. Дефиниции и терминология.— Сов. этнография, 1981, № 4 (далее ссылки на эту статью даются в тексте).

ленно-культурных типов»² общие исторические закономерности в культурно-бытовом многообразии народов мира, в их традиционной хозяйственной деятельности и образе жизни.

Позиция Г. Е. Маркова выгодно отличается от попыток некоторых этнографов типологизировать скотоводческую хозяйственную деятельность без достаточного учета этих основополагающих этнографических концепций³.

Скотоводческое хозяйство и кочевничество изучаются и типологизируются разными науками. Так, специалисты в области сельского хозяйства, экономисты, географы в своих типологических разработках опираются главным образом на организационно-экономические и естественнонаучные данные (физиологию животных, агроклиматологию, геоботаническую характеристику поедаемой растительности на пастбищах и т. п.). Например, Л. М. Зальцман выделяет в мировой практике три основные системы животноводства: пастбищную, стойлово-пастбищную и стойловую. Пастбищная в свою очередь им подразделяется на формы: экстенсивно-кочевую, отгонно-пастбищную и стационарно-пастбищную. Стойлово-пастбищная форма может быть экстенсивной на основе естественных пастбищ, а также среднеинтенсивной на комбинированной кормовой базе и, наконец, интенсивной на высокопродуктивной кормовой базе⁴. Нетрудно видеть, что в основе такой классификации лежат именно организационно-экономические показатели использования кормовых ресурсов.

Возможен и несколько иной подход. Так, американская исследовательница кочевого скотоводства Центральной и Юго-Западной Азии Э. Бэкон в основу классификации положила состав стада. Она выделила в Юго-Западной Азии пять типов: 1) верблюдоводов-бедуинов Аравии; 2) пастухов-скотоводов Междуречья Тигра и Евфрата, а также Сирии; 3) полуседлых скотоводов с буйволами в приречных районах; 4) полукочевников Аравии, выпасающих овец и коз, занимающихся отчасти и земледелием; 5) скотоводов-охотников в зоне пустынь. В степях Средней (Центральной) Азии Э. Бэкон выделяет лишь один тип кочевников, разводящих овец и коз, крупный рогатый скот и в небольших количествах верблюдов⁵.

В последние годы в зарубежной литературе получила широкое распространение классификация экспертов ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), которые подразделяют скотоводство теплового и жаркого поясов на «кочевников», «полукочевников» и «скотоводов с отгонными формами выпаса скота (трансюманс)». «Кочевниками» они называют группы скотоводов, которые основные средства существования получают от скотоводства, продукты земледелия лишь немного дополняют их. Следуя за перемещением области нерегулярных осадков, кочевники мигрируют в поисках пастбищ и воды для скота. «Полукочевники» тоже живут на доходы преимущественно от скотоводства, но занимаются и земледелием на своих постоянных поселениях, куда периодически возвращаются на различные по продолжительности периоды. «Скотоводы с отгонными формами выпаса скота» сочетают скотоводство с земледелием, но перемещаются на новые пастбища традиционными маршрутами, когда пастбища в зоне земледелия истощаются⁶.

² Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). М.: Наука, 1981, с. 48—51.

³ См., напр.: Мкртумян Ю. И. К изучению форм скотоводства у народов Закавказья. — В кн.: Хозяйство и материальная культура Кавказа в XIX—XX вв. М.: Наука, 1971; Курьяев В. П. Опыт типологии скотоводческого хозяйства казахов. — В кн.: Проблемы типологии в этнографии. М.: Наука, 1979, и др.

⁴ Зальцман Л. М., Оболенский К. П., Колесников С. Г., Гапоненко Г. С. (ред.). Вопросы размещения и специализация сельского хозяйства. М.: Мысль, 1962.

⁵ Bacon E. E. Types of Pastoral Nomadism in Central and Southwest Asia. — *Southwestern Journal of Anthropology*, 1954, X, p. 44—46.

⁶ Hjort A. Traditional Land Use in Marginal Drylands. — In: Can desert Encroachment be stopped? Stockholm, 1976, p. 43.

Главное в схеме экспертов ФАО — это соотношение земледелия и скотоводства как способов получения средств к существованию; учитываются ими также формы подвижности и оседлость отдельных групп скотоводов.

Чем же должен отличаться этнографический подход к типологии скотоводческого хозяйства?

Для этнографии, занимающейся традиционно-бытовой сферой жизни народов⁷, важными критериями являются не только характеристика хозяйственной деятельности во времени (годовые циклы) и пространстве (территориальная организация хозяйственной деятельности, направление и сезонность миграций и т. п.), но и тесно связанные с ней особенности социальной структуры и образа жизни людей, получающие материальное воплощение в формах традиционной культуры и быта, например в соотношении постоянных, долговременных и временных селений и жилищ.

Комплексный этнографический подход к проблеме типологии скотоводческого хозяйства получил выражение в хорошо известных трудах С. И. Руденко, А. И. Першица, Т. А. Жданко. Г. Е. Маркова, С. И. Вайнштейна, и др. С. И. Вайнштейн в частности, связал формы подвижности тувинского скотоводства четырех выделенных им типов (кочевого, полукочевого, оседлого и полuosедлого) не только с характером и сезонностью перегонов скота, но и с особенностями селений и жилищ — временных, переносных (на стоянках и стойбищах) или постоянных (преимущественно на зимниках)⁸. Г. Е. Марков, рассматривая различные типы и формы скотоводства стран Азии, обратил прежде всего внимание на существенные хозяйственные и социальные различия между собственно «кочевничеством» (куда он включил и тип полукочевников) и типом или группой типов «подвижных скотоводов» (с. 84)⁹. По его мнению, кочевой и полукочевой подтипы скотоводческого кочевнического хозяйства составляют основу одного хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов. Сущность кочевничества как значительного исторического явления заключается, по его словам, «не просто в способе ведения хозяйства, а прежде всего в наличии специфического комплекса социально-экономических отношений, племенной общественной организации, политической структуры» (с. 86).

Историческая роль кочевничества хорошо известна. Формирование и быстрое распространение в I тысячелетии н. э. развитого хозяйственно-культурного типа скотоводов-кочевников в огромной аридной зоне Старого Света вызвало цепную реакцию «великого переселения народов». Движение кочевников не только коренным образом изменило всю этническую географию этих областей, но и ускорило гибель многих государств, переживавших в середине I тысячелетия н. э. глубокий внутренний социально-экономический кризис¹⁰.

Рассматривая вопрос о соотношении кочевого и полукочевого подтипов скотоводческого хозяйства, Г. Е. Марков обращает внимание на отсутствие универсальных критериев их разграничения. Различия могут быть выделены, по его словам, «только в каждом отдельном, территориально ограниченном регионе» (с. 84—85). Так, известный французский географ, исследователь Сахары, Р. Капо-Рей видел различие между кочевниками и полукочевниками в удельном весе земледельческой деятельности. Он разделил население Сахары на три группы: 1) кочевники (с периодическими и непериодическими миграциями); 2) полукочевники; 3) оседлые земледельцы¹¹.

⁷ Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973, с. 265.

⁸ Вайнштейн С. И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М.: Наука, 1972, с. 57—77.

⁹ См. также Марков Г. Е. Кочевники Азии. М.: Изд-во МГУ, 1976, с. 278—319.

¹⁰ Андрианов Б. В. Хозяйственно-культурные типы и исторический процесс. — Сов. этнография, 1968, № 2, с. 29.

¹¹ Капо-Рей Р. Французская Сахара. Пер. с франц. М.: Географгиз, 1958, с. 232—247.

В Казахстане на рубеже XIX—XX вв. основным было не кочевое, а экстенсивное полукочевое скотоводство с пастбищно-полустойловой системой содержания скота, сенокошением, занятием также и земледелием, наличием стационарных жилищ на зимовках¹².

Полукочевое скотоводство преобладало на рубеже XIX—XX вв. и у соседних киргизов. Но Г. Н. Симаков, который об этом пишет в своей статье, посвященной вопросам типологии, не рассматривает кочевое скотоводство как особый тип скотоводческого хозяйства, что было бы логичнее. Им выделено у киргизов конца XIX — начала XX в. лишь три типа: кочевой, переходный (смешанный) и оседлый¹³. Основная масса киргизских скотоводов, по его мнению, вела хозяйство переходного типа, являвшегося составной частью комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства с сезонной оседлостью. Подход Г. Н. Симакова к типологии скотоводческого хозяйства нам представляется формалистичным. В его работе отсутствует четкая связь с концепцией хозяйственно-культурных типов, недостаточно учтено влияние зональных ландшафтных различий на скотоводческое хозяйство. Так, с одной стороны, он в общем правильно выдвигает в качестве главного критерия зависимость скотоводческого хозяйства от земледелия, с другой — определяя скотоводов высокогорного Восточного Памира в качестве единственной группы «кочевников» Киргизии, упускает из виду, что земледелие отсутствовало у них не в силу органической специфики данного типа, а только благодаря суровым климатическим условиям высокогорного плато.

Выделенный Г. Н. Симаковым особый «переходный (смешанный)» тип неудачен и терминологически и по существу, так как охватывает не один, а ряд типов скотоводческого хозяйства (полукочевой, полуоседлый и т. п.). Неудачен в терминологическом плане и предложенный Г. Е. Марковым термин «подвижные скотоводы», хотя он огораживает его условность и многозначность. Все скотоводы (в том числе и кочевники), ведущие экстенсивное скотоводческое хозяйство на сезонноменяемых пастбищах, в той или иной степени подвижны. Но формы подвижности могут быть разными. Их характеристика — важный критерий при выделении типов и подтипов скотоводческого хозяйства. Однако типология форм подвижности и степени оседлости (а значит, и образа жизни) отдельных хозяйственных групп народов мира разработана недостаточно. Принятые в литературе понятия (бродячий, кочевой, полукочевой, полуоседлый, оседлый) в значительной мере условны. Поэтому нами была сделана в свое время попытка типологической разработки и картографирования форм подвижности «цеоседлого» населения мира. За основу были взяты показатели пребывания отдельных групп населения на поселениях-сельбищах (зимниках, становищах и т. п.) и стойбищах (временных стоянках)¹⁴. На карте выделено 10 форм подвижностей для 12 групп неоседлого населения (в том числе кочевников-скотоводов и охотников жаркого пояса, кочевников и полукочевников скотоводов аридной зоны, высокогорных кочевников-скотоводов, промысловых оленеводов, охотников и рыболовов и т. д.). Для неоседлого населения со скотоводческо-земледельческими хозяйственно-культурными типами были предложены следующие формы подвижности: подвижно-кочевой, кочевно-оседлый, оседло-кочевой, переменн-оседлый, годовая оседлость с сезонной миграцией части населения.

Существуют и другие, не менее важные аспекты скотоводческого хозяйства, которые необходимо учитывать в процессе создания как общих, так и региональных классификаций. В своей статье Г. Е. Мар-

¹² Хозяйство казахов на рубеже XIX—XX веков. Материалы к историко-этнографическому атласу. Алма-Ата: Наука, 1980, с. 87.

¹³ Симаков Г. Н. Опыт типологизации скотоводческого хозяйства у киргизов (конец XIX — начало XX в.). — Сов. этнография, 1978, № 6, с. 16.

¹⁴ См. Проблемы этнической географии и картографии. М.: Наука, 1978, с. 119—120; термины «сельбище» и «стойбище» были предложены в свое время Ю. И. Семеновым (см. Семенов Ю. И. О материнском роде и оседлости в позднем палеолите. — Сов. этнография, 1973, № 4).

ков правильно обратил внимание на социально-экономический аспект. Действительно, отдельные типы скотоводства могут сильно отличаться друг от друга, и в зависимости от этого наблюдаются принципиальные различия в социальных структурах кочевых обществ. Таковы, например, отличия в социальной организации готтентотов и масаев (начала XX в.), с одной стороны, и кочевников-бедуинов Сахары и Аравии — с другой.

Главная особенность традиционного скотоводства заключается в экстенсивном использовании природных ресурсов, что в условиях замкнутого потребительского хозяйства и кочевого образа жизни способствовало долгим столетиям сохранению в таких обществах архаических форм социальной организации. Некоторые зарубежные ученые (Д. Джонсон, Д. Григг и др.) считают, что круглогодичное скотоводство на пастбищах — умирающая система хозяйствования. Однако опыт социалистических стран — СССР и Монголии — показал возможность выравнивания уровней социально-экономического развития отсталых в недавнем прошлом скотоводческих обществ, возможность трансформации традиционного кочевого скотоводства и замены его более совершенными пастбищными и отгонными формами хозяйствования, что сопровождается коренными преобразованиями образа жизни, культуры и быта людей¹⁵.

¹⁵ См.: Хозяйство казахов на рубеже XIX—XX веков. Материалы к историко-этнографическому атласу, с. 7—12; *Грайворонский В. В.* От кочевого образа жизни к оседлости (на опыте МНР). М.: Наука, 1979.

Г. Е. Марков

ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИЙ И ТЕРМИНОЛОГИИ СКОТОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА И КОЧЕВНИЧЕСТВА (ответ оппонентам)

Все авторы, принявшие участие в обсуждении моей статьи о дефинициях и терминологии скотоводческого хозяйства и кочевничества¹, отметили своевременность, актуальность и важность поставленной проблемы в связи с недостаточной разработанностью систематики и классификации многих явлений этнографии и истории первобытного общества. Было также отмечено, что интерес историков, археологов и этнографов к этим вопросам вызван как расширением междотраслевой интеграции и подготовкой комплексных исследований, так и постановкой в настоящее время широких теоретических проблем. Была подчеркнута и актуальность увязки типологии скотоводческого хозяйства с разработанными советскими исследователями хозяйственно-культурными типами.

Обсуждение прошло безусловно плодотворно, был высказан ряд интересных положений, заслуживающих дальнейшего развития. Вместе с тем дискуссия показала, что проблема пока далека от окончательного решения. Предстоит разработка прежде всего двух ее аспектов: 1) уточ-

¹ *Марков Г. Е.* Скотоводческое хозяйство и кочевничество. Дефиниции и терминология. — Сов. этнография, 1981, № 4. Обсуждение статьи: *Семенов Ю. И.* Кочевничество и некоторые общие проблемы теории хозяйства и общества. — Там же, 1982, № 2; *Шамиладзе В. М.* О некоторых вопросах классификации и терминологии скотоводства Кавказа. — Там же, 1982, № 3. Две статьи публикуются в настоящем номере журнала: *Андрианов Б. В.* Некоторые замечания о дефинициях и терминологии скотоводческого хозяйства; *Симаков Г. Н.* О принципах типологизации скотоводческого хозяйства у народов Средней Азии и Казахстана в конце XIX — начале XX в.

Далее ссылки на эти статьи даются в тексте.

нение классификации скотоводства, особенно его полуседлых и оседлых отраслей, и 2) уточнение содержания общих понятий и терминов. Как справедливо отметил Ю. И. Семенов, проблема здесь состоит, в частности, в том, что одними и теми же терминами обозначаются совершенно разные явления, а одни и те же явления обозначаются разными терминами. К сожалению, такого рода понятийная и терминологическая нечеткость проявилась и в статьях некоторых авторов, принявших участие в обсуждении моей статьи, о чем подробнее будет сказано ниже. Как представляется, путаница в классификации, понятиях и терминах проистекает главным образом вследствие отсутствия единых критериев в оценке этих явлений и смешения политико-экономических и хозяйственно-производственных признаков. Весьма существенные и справедливые замечания высказывает в этом отношении Ю. И. Семенов, но и его выводы не дают окончательного решения вопроса в силу некоторой их абстрактности и недостаточной увязки с реальной жизнедеятельностью обществ.

Рассмотрим конкретные замечания и предложения участников обсуждения. Начнем со статьи Ю. И. Семенова, поскольку в ней ставятся и рассматриваются широкие политико-экономические проблемы.

Ю. И. Семенов соглашается с предложенной классификацией скотоводства: 1) оседлое скотоводство земледельцев (стойловое скотоводство); 2) «подвижное скотоводство»; 3) кочевое скотоводство (с двумя подтипами: собственно кочевое и полукочевое). Согласен он с тем, что между подтипами «собственно кочевое» и «полукочевое скотоводство» нет принципиальных различий, так как ни один из них не обладает универсальными признаками. Подразделение на эти подтипы имеет сравнительно узкое локальное значение и зависит целиком от местных условий ведения хозяйственной деятельности. Таким образом, теоретически вообще можно отказаться от подразделения кочевничества на два подтипа. Однако по сугубо практическим соображениям это нецелесообразно, тем более что в каждой области, где можно выделить эти два подтипа, существуют определенные различия в некоторых сферах жизнедеятельности чисто кочевого и полукочевого населения. Но, как говорилось, универсального характера эти различия для всех областей распространения кочевничества не имеют.

Соглашаясь, таким образом, с предлагаемой классификацией, Ю. И. Семенов высказывает в то же время два критических замечания. Во-первых, он предлагает все три типа скотоводства рассматривать как вполне самостоятельные и равные по значению. И, во-вторых, он считает, что в обсуждаемой статье в недостаточной степени убедительно выявлено реальное основание этой классификации. С первым замечанием вряд ли можно согласиться, если исходить не из абстрактной, а из реальной практики скотоводства. Дело в том, что стойловое скотоводство и подвижное скотоводство далеко не всегда можно достаточно четко подразделить. Так, например, у одних и тех же групп земледельцев скотоводство может практиковаться как в виде стойлового, так и в виде отгонного. Кстати, в этом заключается одна из наибольших трудностей классификации скотоводческого хозяйства. Что же касается кочевников (и полукочевников), то здесь дело обстоит значительно проще. Они образуют вполне самостоятельные хозяйственные, социальные и политические организмы (если не брать эпохи разложения кочевничества в условиях подчинения их государствам земледельческих народов), они не являются частью оседлоземледельческого населения, занимающейся в плане разделения труда скотоводством, а представляют совершенно иной хозяйственный тип или даже способ производства в его узком смысле (ср. Семенов, с. 49).

Второе замечание Ю. И. Семенова в определенном смысле можно признать справедливым. Однако он сам подчеркивает неразработанность в нашей литературе таких общих понятий, как «виды хозяйственной деятельности», «формы хозяйства», «отрасли хозяйства» и т. п., уделяет им много внимания и приходит к ряду интересных выводов.

Поскольку дефиниция этих понятий далеко выходит за рамки задачки обсуждения статьи, я на них здесь останавливаться не буду, это тема другого обсуждения. Коснусь только некоторых моментов. В условиях присваивающего хозяйства как правильно отмечает Ю. И. Семенов, наряду с охотой и собирательством важным видом деятельности было также изготовление орудий, одежды, жилищ и т. п. Но далее он утверждает, что в силу совпадения первобытной общины с хозяйственной ячейкой в каждом первобытном социальном организме могла существовать только одна форма хозяйства (Семенов, с. 50). Едва ли это верно, если приять во внимание хотя бы частую сезонность различных видов занятий. Неудачным представляется и его предложение заменить термин «присваивающее хозяйство» термином «пищеприсваивающее». Не вдаваясь в дискуссию о присваивающем хозяйстве — понятии, давно и прочно вошедшем в науку, — можно лишь отметить, что предлагаемый новый и весьма конкретный термин исключает ряд важнейших элементов производственной деятельности, о которых говорил сам Ю. И. Семенов.

Зато вывод Ю. И. Семенова о том, что «стойловое животноводство» (лучше — скотоводство) есть вид хозяйственной деятельности, который существует в составе земледельческой формы хозяйства в качестве более или менее важного дополнения к основному виду деятельности, что «подвижное скотоводство» есть отрасль хозяйства, бытующая в социальном организме наряду с другими отраслями, из которых господствующей является земледелие, и что «кочевое скотоводство», или «кочевничество», есть способ хозяйства, т. е. единственная имеющаяся в конкретном обществе форма хозяйства, представляется совершенно верным и полностью согласуется с концепцией, изложенной в обсуждаемой статье. Однако связанное с этим возражение против тезиса о наличии у кочевников специфических социально-экономических отношений, племенной общественной организации и политической структуры принять нельзя. Помимо изложенного мною в статье политико-экономического обоснования, существуют реальные факты, которые невозможно игнорировать. Наличие для всех кочевых обществ одинаковых форм собственности на основные средства производства, сходных форм эксплуатации, вообще всего комплекса производственных отношений — несомненный факт. Только у кочевников имеется специфическая общественная организация, построенная по общинно-генеалогическому принципу и условно называемая нами племенной. Только кочевники, а не народы, занимавшиеся стойловым или подвижным скотоводством, имели сходные для всех их социальных организмов принципы политической организации власти, наконец, специфические формы политической централизации, так называемые «кочевые империи». Нельзя не заметить также, что интеграция стойлового и подвижного скотоводства в среде оседлых земледельцев ведет обычно к дальнейшему развитию этих отраслей хозяйства. Кочевничество же не может быть интегрировано оседлыми земледельцами и неизбежно в таких условиях разлагается.

Итак, следует говорить о двух уровнях анализа принципиально разного характера. Один — это классификация типов скотоводства, в частности в виде предложенных в обсуждаемой статье трех типов и двух подтипов. Другой уровень — это социально-экономическая характеристика, и здесь социальные отношения, производственные отношения, общественная организация и многие другие явления выступают у кочевников как целостная и специфическая система, хотя и не формационного порядка.

Ю. И. Семенов полностью поддерживает мою точку зрения об ограниченном социально-экономическом потенциале кочевых обществ, застойности их социальных отношений и невозможности возникновения у них феодальных отношений. Однако в то же время он отрицает наличие специфических кочевнических социально-экономических отношений, как, впрочем, и специфических охотничье-собирательских или зем-

ледельческих отношений. Постановка вопроса в таком виде представляется не вполне корректной. Конечно, нет охотничьих или земледельческих социально-экономических отношений. Но при господстве охоты и собирательства есть определенный комплекс разделения труда, производственных отношений и т. п., который мы все называем первобытнообщинным. Что касается земледелия, то нет нужды называть все исторически возникающие на его основе способы производства. Ю. И. Семенов соглашается с тем, что в условиях кочевничества отсутствуют первобытнообщинные и невозможны развитые классовые отношения. Так что же это, как не специфика социально-экономических отношений, складывающихся в условиях разделения труда, производственных отношений, форм собственности на основные средства производства при кочевничестве?

Критическое замечание относительно гипотетической стадии развития общества у кочевников в виде «военной демократии» в принципе вполне основательно, и использование этого понятия вызвано только бедностью нашей терминологии. Совсем иначе обстоит дело с термином «патриархальные отношения», который, как полагает Ю. И. Семенов, нуждается в разъяснении и уточнении. Позволим себе с этим не согласиться. В. И. Ленин прямо и определенно пишет: «...патриархальное хозяйство, это когда крестьянское хозяйство работает только на себя или если находится в состоянии кочевом или полукочевом...»².

Ю. И. Семенов возражает против предположения, что в условиях кочевничества возможно бытование капиталистического и феодального социально-экономического укладов. Естественно, что в древности никакого капиталистического уклада у кочевников быть не могло. Однако тогда, когда кочевники оказывались в непосредственной сфере воздействия капиталистических отношений оседлых народов, этот уклад у них возникал. И вовсе не вследствие применения наемного труда (последний бытовал у скотоводов по крайней мере 2,5 тысячи лет), а потому, что скот, как указывал Маркс, — капитал. И в соответствующих условиях это приводило к возникновению капиталистических отношений. Одновременно это вело к быстрому разложению кочевничества и оседанию скотоводов на землю. Что же касается феодального уклада, то Маркс прямо указывал, что этот вид отношений возникал как результат военного образа жизни (речь шла о социальном слое тарханов у монголов)³.

Нельзя согласиться и с предложением Ю. И. Семенова назвать общество кочевников «предклассовым» (с. 54). Такая формулировка, с одной стороны, как бы затушевывает наличие у кочевников резких имущественных и социальных противоречий, а с другой — предполагает возникновение в дальнейшем классовых. Едва ли верно называть «номадно-общинный» (по Ю. И. Семенову) уклад разновидностью крестьянско-общинного. Последний существует в рамках способов производства и общественно-экономических укладов, свойственных оседлоземледельческим народам, тогда как социально-экономические отношения кочевников, как об этом пишет и Ю. И. Семенов, не могут быть отнесены ни к рабовладельческому, ни к феодальному, ни к капиталистическим.

Весьма интересным и продуктивным можно считать предложение Ю. И. Семенова о выделении двух типов социальных организмов: гео- и демосоциальных. Кочевничество справедливо относится к последнему типу.

В целом же значительная часть предложений Ю. И. Семенова, особенно в области политической экономии скотоводческих обществ и общих проблем разработки классификации и понятий, связанных со скотоводством, весьма полезна и окажет благоприятное воздействие на разработку рассматриваемых проблем.

² Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 43, с. 158.

³ См. Маркс К. Хронологические выписки.— Архив Маркса и Энгельса, т. V, с. 220.

Интересные вопросы ставятся в статье Б. В. Андрианова. Прежде всего он рассматривает существующие в советской и зарубежной литературе предложения по классификации животноводства и скотоводства. Однако по разным соображениям они едва ли решают проблему. Так, подразделение скотоводства на «пастбищное», «стойлово-пастбищное» и «стойловое» как бы исключает такую форму, как трансгуманс (трансюманс). Кроме того, оно имеет чисто хозяйственно-технологический характер, лишая, к примеру, кочевничество его специфики, что отмечает и сам Б. В. Андрианов. Малоудачно подразделение скотоводов на «кочевников», «полукочевников» и «скотоводов с отгонными формами выпаса скота». В данном случае выпадает стойловое животноводство и неправомерно рассматриваются как самостоятельные типы кочевое и полукочевое скотоводство. Наиболее приемлемым считает Б. В. Андрианов разработанное советскими этнографами подразделение скотоводства на кочевое, полукочевое, полуседлое и оседлое, т. е. классификацию, которая предлагается в обсуждаемой статье. Соглашается Б. В. Андрианов с тем, что отсутствуют универсальные критерии для разграничения кочевого и полукочевого скотоводства и что различия между ними могут (довольно условно) обнаруживаться только в каждом отдельном, территориально ограниченном регионе. Соглашается он и с тем, что при рассмотрении форм и типов скотоводческого хозяйства необходимо самое серьезное внимание обращать на социально-экономический аспект и что для разных типов скотоводческого хозяйства характерны принципиальные различия в социальных структурах.

Б. В. Андрианов возражает только против предложенного термина «подвижное скотоводство», отмечая, что кочевые скотоводы тоже подвижны. Это наблюдение безусловно справедливо, но ведь подвижных скотоводов (многие типы и подтипы отгонного и полуседлого скотоводства) нельзя причислить к кочевникам вследствие принципиальных различий с ними в формах собственности, производственных отношениях, племенной и политической организации и др. По удачному выражению Ю. И. Семенова, «подвижное скотоводство» есть отрасль хозяйства, бытующая в социальном организме наряду с другими отраслями, из которых господствующей является земледелие. Далеко не все исследователи кочевничества согласны с таким определением. Так, в частности, участвующий в обсуждении В. М. Шамиладзе настаивает на социальной и политической независимости некоторых групп скотоводов Кавказа от земледельцев (в соответствии с предлагаемыми нами критериями эти группы — не кочевники, а подвижные скотоводы). Однако их независимость временная и далеко не полная. Эти группы скотоводов не образуют самостоятельных социальных (этносоциальных) и политических организмов и обладают относительной самостоятельностью только вследствие своеобразия местных природных условий. Поэтому об их независимости едва ли можно говорить без существенных оговорок.

Не совсем удачной представляется предлагаемая Б. В. Андриановым классификация скотоводческого хозяйства по формам: «подвижно-кочевая», «кочевно-оседлая», «оседло-кочевая», «переменно-оседлая», «годовая оседлость с сезонной миграцией» (с. 79). Она очень усложнена; эти формы, или, скорее, варианты, встречаются далеко не во всех скотоводческих областях и не имеют универсального характера; наконец, берется только один признак — способ выпаса скота, хотя, как отмечалось выше, Б. В. Андрианов разделяет точку зрения о важности привлечения в качестве критерия социально-экономических отношений.

Б. В. Андрианов удачно соотносит типологию скотоводства с историко-этнографической типологией, с хозяйственно-культурными типами. При решении рассматриваемых проблем это направление представляется одним из наиболее плодотворных.

Весьма положительный вклад в обсуждение проблемы скотоводства вносит статья В. М. Шамиладзе. В отличие от других авторов, рассматривавших главным образом общие проблемы, он основное внимание уделил вопросам скотоводства на Кавказе. Это особенно ценно, так как я в своей статье практически почти не касался ни собственно кавказского скотоводства, ни близких к нему форм и типов. Статья В. М. Шамиладзе свидетельствует о том, что если в проблемы кочевого и полукочевого скотоводства уже внесена определенная ясность, то вопросы классификации, уточнения различных форм и типов «подвижного» скотоводства нуждаются в дальнейшей разработке. В. М. Шамиладзе совершенно справедливо призывает к уточнению таксономической иерархии таких понятий, как «тип», «форма», «вид» и т. п. Ссылаясь на Б. Х. Кармышеву, он, в отличие от предложенной мною схемы, рассматривает «тип» как более высокий таксон, чем «форма». Думается, что это малопродуктивный спор. Филологически едва ли можно обосновать преимущество одного из этих терминов. Нельзя здесь привлечь и аналогии с биологическими классификациями, так как там отсутствует понятие «форма». Таким образом, в принципе совершенно неважно, что считать более общим явлением: форму или тип. Важно договориться о содержании этих понятий и их условной иерархии.

На недоразумении основано утверждение В. М. Шамиладзе, что к трем основным видам скотоводства аборигенного населения Грузии и Кавказа (горное, равнинное, перегонное или трансюманс) я добавляю четвертый — кочевой (Шамиладзе, с. 71). В действительности я только привожу уже имеющуюся классификацию и высказываю мнение, что, за исключением караногайцев, на Кавказе не было кочевого населения. В целом, как я пишу в обсуждаемой статье: «Если оставить в стороне термин „кочевничество“, то можно считать, что В. М. Шамиладзе дал весьма убедительную классификацию подвижного грузинского скотоводства, которую можно с известными дополнениями распространить и на другие области бытования подвижного скотоводства» (с. 94).

В. М. Шамиладзе, справедливо отрицая наличие кочевничества среди аборигенного населения Кавказа, утверждает одновременно, что на Кавказе достаточно широко распространены «местные кочевники» — потомки переселившихся сюда в средние века кочевых групп (Шамиладзе, с. 73).

Представляется, что отнесение этого населения, за исключением караногайцев, к числу кочевников основано на недостаточно четком представлении о том, что такое кочевничество и игнорировании социальных факторов (ср. Шамиладзе, с. 72). Как и многие другие авторы, В. М. Шамиладзе исходит в своей классификации из критерия низшего, «технологического» уровня, обращая основное внимание на степень подвижности пастбищного хозяйства. Конечно, такой путь возможен, однако он чреват опасностью смешения терминов и понятий. Дело в том, что пастбищное скотоводство практикуется, причем в относительно сходных формах, у кочевников, полукочевников, полуседлых и даже оседлых земледельцев. Что же касается подвижности при пастьбе, то это явление настолько локально специфическое, что в основу классификации его класть нельзя. Таким образом, оказывается, что классификации, созданные на основе различий в выпасе скота и других хозяйственных признаков, дают только самое поверхностное представление о жизнедеятельности обществ и являются по существу формальными. Руководствуясь же социальными критериями, мы говорим, что кочевники составляют самостоятельные демосоциальные организмы со специфическими производственными отношениями, формами общественной власти, органами управления и т. п., а «подвижные» (или, если угодно, полуседлые, отгонные и т. п. скотоводы) входят в геосоциальный организм (оба термина заимствованы из статьи Ю. И. Семёнова), где определяющую роль играют оседлые области.

Задачи исследования кочевого скотоводства действительно требуют четкого определения места и содержания кочевничества (включая по-

лукочевничество), выяснения его соотношения с другими видами скотоводческого хозяйства, характера социальных организмов и социальных структур кочевников и, наконец, выхода из бесконечной путаницы понятий «кочевой», «полукочевой» и «полуоседлый». Одна из основных причин постоянного их смешения заключалась, как прекрасно показал Ю. И. Семенов, в том, что при попытках упорядочивания понятий и выработке классификаций не учитывалось наличие разных уровней систематики: низшего уровня, характеризующего собственно хозяйство, способ его ведения, а конкретно характер выпаса скота, значение подсобного земледелия, наличие долговременных построек и т. п., и высшего — характеризующего соотношение данной группы скотоводов с социальным организмом, ее место в нем. И здесь опять уместно напомнить справедливый вывод Ю. И. Семенова: о том, что подвижные скотоводы составляют часть социального организма, в котором господствующим видом хозяйства является земледелие.

В статье Г. Н. Симакова рассматриваются главным образом некоторые практические аспекты скотоводческого хозяйства Средней Азии. Представляется, что критерии, предлагаемые Г. Н. Симаковым при классификации типов и форм скотоводства, особенно в связи с кочевничеством (степень подвижности скотоводов, степень развития земледелия и т. п.), несколько односторонни и позволяют создать лишь формальную классификацию. Пример тому — описываемые им пастбищная, отгонная, яйлажная, выгонная, стойловая формы скотоводческого хозяйства. Предлагаемая Г. Н. Симаковым классификация строится исключительно на технологических признаках и, на мой взгляд, менее удачна, чем классификация В. М. Шамиладзе.

Из сказанного следует, что скотоводство характеризуется комплексом показателей различного таксономического уровня.

Низший уровень, «технологический», составляют признаки чисто хозяйственные: способы ведения пастбищного скотоводства, приемы кочевания, сочетание в хозяйстве различных видов деятельности. Следует подчеркнуть, что только технологические признаки не позволяют найти строгие границы между кочевничеством и различными видами подвижного и оседлого скотоводства, так как способы хозяйственной деятельности часто очень схожи. Но при возможном сходстве в способах ведения хозяйства подвижными и оседлыми скотоводами, с одной стороны, и кочевниками — с другой, между ними как общественными явлениями существуют принципиальные социальные и политические различия.

Первые входят в социальные и политические организмы оседлоземледельческих народов, представляя отрасль в системе разделения труда внутри этих организмов. Кочевые же общества образуют самостоятельные социальные и политические организмы. Поэтому кочевничество характеризуется не просто хозяйственными признаками, а в первую очередь признаками-критериями высшего порядка: кочевническим комплексом социально-экономических отношений, определенной социальной структурой и кочевнической племенной общественной организацией. Следовательно, высший уровень классификации скотоводства основывается прежде всего на социальных критериях.

Различные формы и виды скотоводства входят в два хозяйственно-культурных типа: 1) тип кочевого скотоводства и 2) тип плужного земледелия. Тип кочевого скотоводства включает два подтипа: кочевой и полукочевой. Хозяйственно-культурный тип плужного земледелия объединяет два подтипа скотоводческого хозяйства: подвижное и оседлое. Более детальная классификация этих двух подвидов составляет важную задачу науки.

На низшем уровне систематики классифицируются способы ведения скотоводческого хозяйства в сочетании с другими видами занятий, т. е. анализируется технологический аспект. При этом следует иметь в виду, что способы скотоводства зачастую сходны, особенно у кочевников и подвижных скотоводов.

Чтобы избежать дальнейшей терминологической путаницы, целесообразно выработать для низшего уровня классификации понятия, исключающие термины, используемые при высшем уровне классификации.

Высший уровень классификации основывается прежде всего на социальных критериях.

ОТ РЕДАКЦИИ

В ходе проведенного обсуждения статьи Г. Е. Маркова были затронуты многие важные и интересные для этнографов вопросы, связанные с кочевым скотоводческим хозяйством. Можно даже сказать, что дискуссия коснулась более широкого круга проблем, чем тот, каким ограничил свое выступление Г. Е. Марков.

Вместе с тем следует отметить, что в выступлениях участников обсуждения чуть ли не с самого начала обозначились два направления, тесно между собою связанные, но все же различные. С известной степенью условности их можно обозначить как общетеоретическое и регионально-прикладное. Первое представлено статьями самого Г. Е. Маркова, откликами Ю. И. Семенова и Б. В. Андрианова, второе — работами В. М. Шамиладзе и Г. Н. Симакова. Причем не всегда сторонники обоих направлений смогли найти общий язык.

Г. Е. Марков, начиная дискуссию, имел в виду главным образом уточнение понятийного аппарата и терминологии исследований качества. Такое выступление было тем более необходимо, что, как показал затем Ю. И. Семенов, до сего времени в классификации форм скотоводческого хозяйства не выработана даже единая общепринятая система таксонов, а терминология отнюдь не всегда отвечает главному требованию, предъявляемому ко всякой терминологии — строго единообразному пониманию терминов.

И в этом смысле статья Г. Е. Маркова была так же весьма своевременной, как и выступление в целом поддержавшего его Б. В. Андрианова.

Однако отклики В. М. Шамиладзе и Г. Н. Симакова показали, что предлагаемый Г. Е. Марковым вариант типологической классификации при всей бесспорности положенных в его основу принципов не может быть в полном объеме применен не только на Кавказе, но и в таком регионе с развитым скотоводческим хозяйством, как Средняя Азия и Казахстан. Последнее обстоятельство особенно существенно потому, что точка зрения, высказанная Г. Н. Симаковым, отражает опыт подготовки Историко-этнографического атласа Средней Азии. В ответе участникам дискуссии Г. Е. Марков, как и Б. В. Андрианов в своей статье, подчеркивает в основном формальный характер классификации Г. Н. Симакова. Но, по сути дела, только таким и может быть справедливо выделяемый Г. Е. Марковым нижний уровень классификации.

Несмотря на это, редакция считает, что дискуссия была весьма полезной. В ходе ее были высказаны точки зрения, которые могут послужить основой для дальнейшего обсуждения. Подобный взгляд на вещи подтверждается и тем, что при всех расхождениях между ними, авторы не только основывают свой подход на единых методологических принципах, но и исходят, по существу, из единой «точки отсчета» — соотношения земледелия и скотоводства в едином хозяйственном комплексе. Такое соотношение может в принципе изменяться от «чистого» земледелия до полного господства кочевого хозяйства, создавая между этими полюсами большое многообразие конкретных форм и разновидностей скотоводства.

Дальнейшее обсуждение всего круга рассмотренных в дискуссии этнографических проблем, несомненно, позволит выработать окончательную типологическую классификацию скотоводческого хозяйства, учитывающую по возможности как общие характеристики его, так и региональные варианты.

В. П. Алексеев

**В. В. БУНАК — НОВАТОР
В РАЗРАБОТКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ**

Энциклопедическая образованность нередка и сейчас, в эпоху крайней научной специализации. Это объясняется неистребимым стремлением человеческого разума к познанию нового, культурными семейными традициями, счастливыми обстоятельствами жизни. Гораздо реже сталкиваемся мы сейчас с энциклопедической деятельностью, которая охватывала бы ту или иную науку в целом или даже несколько наук и проявляла бы себя в разработке многих научных направлений. Огромное научное наследство, оставшееся нам от В. В. Бунака, — пример такой энциклопедической деятельности, охватившей не только все или почти все области антропологической науки, но и изучение ростовых процессов у млекопитающих, гистологии костей конечностей копытных в связи с локомоторной функцией, генетики пигментообразования и зрительных расстройств, генетики пола, естественного отбора в процессах формообразования и формирования психофизиологических типов и многое другое.

В статье не исчерпать всего многообразия тем, которые нашли освещение в работах В. В. Бунака, — для этого нужна большая монография, может быть, не одна. Моя цель — остановиться лишь на вкладе В. В. Бунака в теорию антропологии, специально подчеркнув значение нескольких его работ, где были сформулированы оригинальные идеи, опередившие свое время. Статьи эти, как правило, невелики по объему, но содержащиеся в них мысли были поддержаны и развиты в ходе многих дальнейших исследований. Я выбрал пять работ, имеющих, с моей точки зрения, наибольшее значение в связи с поставленной задачей: о разграничительных критериях расы и конституционального габитуса, множественности основных расовых подразделений человечества, расе как историческом понятии, причинных факторах брахикефализации и, наконец, косвенной адаптации¹.

В 1928 г. В. В. Бунак публикует во французском журнале статью «Нерасторжимая связь морфологических признаков с нормальными физиологическими вариациями». К тому времени он уже читал несколько лет лекции по антропологии студентам-биологам Московского университета и затем издавал эти лекции в виде отдельных статей на страницах редактировавшегося им «Русского антропологического журнала». Ввиду отсутствия в те годы на русском языке подробного изложения основных проблем антропологической науки эти статьи в своей совокупности сыг-

¹ Библиография работ В. В. Бунака была опубликована дважды: Вопросы антропологии, 1962, в. 10, с. 168—173; сб.: Современная антропология. — Тр. Моск. о-ва испыт. природы. М.: Наука, 1964, т. XIV, с. 14—18. В тексте специально рассмотрены следующие пять статей: Des caractères morphologiques indissolublement liés aux variations physiologiques normales. — Bulletin de la société des formes humaines, 1927, t. 6, fasc. 4, p. 1—15; Расы. — Большая медицинская энциклопедия. М., 1934, т. 28, с. 342—355; Раса как историческое понятие. — В кн.: Наука о расах и расизм (Тр. Ин-та антропологии МГУ. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1938, в. IV, с. 5—46); Структурные изменения черепа в процессе брахикефализации. — Тр. V Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. Л.: Медгиз, 1951, с. 116—120; Человеческие расы и пути их образования. — Сов. этнография, 1956, № 1, с. 86—105.

рали роль первого в советской литературе и очень фундаментального учебника антропологии. Из них видно, как широко и в то же время глубоко, опережая свое время, понимал автор задачи и направления антропологических исследований, как новаторски излагались многие традиционные разделы науки: формулировались теоретические вопросы морфофизиологической адаптации применительно к человеческим популяциям, морфологические вариации впервые трактовались в столь всесторонней увязке с физиологическими и эндокринологическими данными, клинические наблюдения над аномалиями развития переносились в рамки антропологических исследований и рассматривались вместе с нормальными вариациями, получая единое морфогенетическое или экзогенное объяснение. Одним словом, в этих статьях излагался курс антропологии, но антропологии, обогащенной медициной, физиологией, генетикой и приобретшей вследствие этого масштабность конструкции и глубину интерпретации.

Упомянутая статья входит в круг работ, в которых разбирались основные методологические вопросы антропологической науки. Вопрос о четких дифференцирующих критериях расовых общностей и конституциональных габитусов, безусловно, был одним из важнейших, так как путаница, царившая в определениях, не только не позволяла сформулировать эти критерии теоретически, но и практически лишала исследователей возможности отделить признаки, подверженные сильной функциональной изменчивости и связанные тесной корреляцией с другими признаками, от подлинных расовых маркеров. Конституция определялась как состояние тела (Э. Айкштедт), уровень резистентности (О. Фершур), совокупность существенных индивидуальных особенностей (Ф. Ленц), просто как фенотип (Э. Бауэр). Сам В. В. Бунак позже писал, что говорилось даже о физиологических расах и расовых конституциях. Его выдающийся современник Ф. Вайденайх в книге «Раса и строение тела», изданной годом позже, утверждал, например, что попытка установить разницу между расой и конституцией и выразить ее в каких-то четких критериях принципиально неправильна. Между тем именно в условиях подобной путаницы установление таких критериев было особенно важным.

В. В. Бунак рассматривает разные типы связи между признаками, особо выделив морфофизиологические корреляции. Для сочетаний признаков, характеризующих расы, показано отсутствие морфофизиологических корреляций. В то же время эти корреляции признаются существенными для выделения конституциональных габитусов. Таким образом, В. В. Бунак положил в основу различия расовых и конституциональных сочетаний признаков характер связи между ними. Но если бы только эта особенность внутригрупповой изменчивости была принята во внимание при отделении расы от конституции, демаркационная линия между ними носила бы чисто формальный характер. В. В. Бунак не ограничился этим формальным критерием и продемонстрировал наличие межгрупповой корреляции между признаками, составляющими расы, иными словами, глубоко учел результаты работы С. Фосетт, К. Пирсона и Е. М. Чепурковского по выявлению разного характера внутригрупповой и межгрупповой изменчивости. Отсюда был закономерен переход к выделению ареала как второй фундаментальной характеристики расы, отличающей ее от конституции. Таким образом, под расой предлагалось понимать сочетание признаков, связанных только межгрупповой корреляцией, но независимых физиологически и приуроченных к отдельной географической территории, тогда как под конституциональным габитусом подразумевался комплекс признаков, связанных физиологической корреляцией и не имеющих ареала.

Сформулированный подход оказался замечательно эвристичным, и в рамках развития этого подхода пошло дальше практически все развитие учения о конституции в советской литературе. Этот подход разрабатывали ученики В. В. Бунака по Московскому университету, развивал его и сам Виктор Валерианович в работах, опубликованных позже, воспринят он был и ленинградскими специалистами. И дело было не только

в том, что о предложенном В. В. Бунаком различии между расой и конституцией говорилось во вводных главах различных исследований как об исходном постулате теоретической антропологии, огромный материал по расовой антропологии СССР убедительно подтвердил положение об отсутствии физиологической корреляции между признаками внутри расовых комплексов, приуроченность их к определенным географическим ареалам и исторически образующуюся межгрупповую связь между признаками, дифференцирующими расовые сочетания. К сожалению, статья В. В. Бунака, содержащая это обобщение, хотя и была опубликована во французском журнале, осталась малоизвестной в Западной Европе и США. Не имея возможности перечислять соответствующие работы, должен отметить, что в западноевропейской и американской литературе до сих пор нет определенности в понимании расовых и конституционных различий, и в практической работе в число характерных для локальных рас признаков включаются конституциональные особенности.

Среди многочисленных работ, которые опубликовал В. В. Бунак в первое десятилетие своей научной деятельности, значительное место занимают исследования, посвященные антропологическому составу разных районов Советского Союза — Восточной Европы, Закавказья, Тувы, а также критическому осмыслению мировой литературы по расоведению. Известным итогом этого исследования была статья, содержащая опыт самостоятельной разработки расовой классификации современного человечества и опубликованная под заглавием «Расы» в т. 28 Большой медицинской энциклопедии в 1934 г. Опираясь на свои предшествующие работы, автор дал в ней четкое определение расы в противовес виду, разъяснил специфику рас у человека, определил специфику расовых признаков по сравнению с конституциональными, дополнительно подчеркнув их относительную независимость от средовых воздействий (идея, которая прошла сквозь все творчество В. В. Бунака и защищалась им и в конце жизни), показал сложность антропологического состава отдельных народов и их антропологические различия, критически рассмотрел расистские построения, уже процветавшие тогда в сочинениях реакционных представителей буржуазной науки, в тезисной форме, но очень выразительно продемонстрировал положительные стороны ранее предложенных панейкуменных схем расовых классификаций. Но основное содержание статьи составляло все же обоснование оригинальной авторской схемы такой классификации.

Последовательно отстаивая и проводя в жизнь взгляд на человечество как на сборный вид, В. В. Бунак в противовес наиболее распространенным гипотезам тройного или четверного подразделения расового состава выдвинул схему гораздо более дробной дифференциации и выделил 15 самостоятельных больших рас. Каждая из них получила очень обстоятельную морфологическую характеристику, охватывающую отличительные признаки не только пигментации и строения волос, но и вариации мягких тканей лица. Это в таком объеме, пожалуй, впервые было введено в региональное расоведение при составлении реестра основных расовых типов в мировом масштабе. Среди прочих были выделены несколько протоморфных рас, представляющих собою, по мысли автора, какие-то нейтральные сочетания признаков, из которых развились более специализированные формы.

Концепция В. В. Бунака о множественности основных расовых делений человечества не встретила поддержки в литературе. Она не подвергалась специальной критике, но упоминалась в историографических обзорах в качестве курьеза, и все советские антропологи разделяли веру в реальное существование обширных группировок, трех или четырех, объединявших в крупные генетически родственные пучки локальные расы, выделенные В. В. Бунаком. Сам автор оригинальной схемы, по-видимому, отказался от нее (хотя он никогда не писал об этом) в 1956 г., предложив схему группировки локальных рас в четыре ствола. Но опубликована была эта новая схема как раз тогда, когда появились и стали накапливаться данные, подтверждающие справедливость и правомерность старого бунаковского подхода. Речь идет о географии генетических

маркеров и ряда морфологических признаков, территориальное распределение которых было достаточно полно изучено за два-три последних десятилетия. Результаты этой работы породили много дискуссионных вопросов, и ее никак нельзя считать оконченной, но выявилась вполне определенная тенденция трактовать концентрации генетических маркеров как специфические характеристики не трех или четырех стволов, а более дробных локальных расовых подразделений. Иными словами, каждое из таких подразделений отличается оригинальной комбинацией концентраций генетических маркеров, и генетически, а не только морфологически специфично, и поэтому все попытки их объединения носят гипотетический характер. Похоже, подобный подход будет не затухать, а развиваться, а с ним будет еще возрастать и эвристическая ценность выдвинутых В. В. Бунаком идей в разработке расовой классификации человечества.

К 1938 г. относится публикация принципиально важной статьи В. В. Бунака «Раса как историческое понятие», увидевшей свет на страницах известного сборника «Наука о расах и расизм». Статья открывала сборник, и в ней были сформулированы важнейшие принципы советских исследований в области расоведения; признание специфики расообразования у человека по сравнению с расообразованием у животных, нестабильности, крайней степени изменчивости расовых комплексов во времени, необходимости учета вариаций разнообразных признаков для их характеристики; наконец, подчеркивалась роль изоляции в образовании ненаправленных различий между близкими группами, что лишает смысла применение каких-то формальных способов сравнения этих групп.

Однако историческое значение этой работы состоит не только и не столько в том, что в ней обобщен расоведческий опыт, накопленный советскими исследователями, но только представлена в ясной форме методика расоведческого анализа и намечены большие перспективы дальнейших исследований, а в том, что здесь были сформулированы положения, ставшие знаменем новых исканий в антропологии значительно позже и реализованные на основе результатов гораздо более полных региональных исследований. Речь идет о популяционном подходе к расовой проблематике и формулировке популяционной концепции расы, полемика вокруг которой занимала умы антропологов на протяжении последних двух десятилетий. В американской литературе нередки утверждения, что первые формулировки популяционного направления в расоведении относятся к 1950 г., когда в рамках серии симпозиумов по количественной биологии в Спринг Харборе состоялся специальный симпозиум, посвященный происхождению человека, собравший крупнейших антропологов и генетиков того времени. На этом симпозиуме в разных докладах была выдвинута идея, что динамика расы подчиняется популяционным закономерностям и во многом зависит от степени изоляции соответствующих групп людей, что расы у человека динамичны, что морфологический метод их разграничения малоэффективен без генетического анализа. Но все эти положения были на 12 лет раньше, как мы убедились, сформулированы в статье В. В. Бунака. Что же касается перспективности и теоретической ценности популяционной концепции расы и популяционного подхода к методике и методологии расовых исследований, то они были подтверждены всем дальнейшим ходом исследовательской работы в области антропологии.

Летом 1949 г. в Ленинграде состоялся V Всесоюзный съезд анатомов, гистологов и эмбриологов, на котором В. В. Бунак выступил с докладом «Структурные изменения черепа в процессе брахицефализации», опубликованным в 1951 г. в трудах съезда. Автор подобрал заведомо связанные генетическом родством краниологические серии разных хронологических периодов с территории Восточной Европы. В противовес широко распространенной точке зрения об автоматической брахицефализации более позднего населения по сравнению с более ранним, В. В. Бунак продемонстрировал локальную специфику процесса брахицефализации, направленность изменений формы черепа в ряде случаев даже в соседних районах. С публикации этой статьи можно начинать историю диф-

ференцированного подхода к изучению временных изменений формы черепа в пределах ойкумены, который уже был использован в целом ряде исследований. Но основное значение рассматриваемой работы В. В. Бунака состоит, с моей точки зрения, не в этом, а в формулировке морфогенетической закономерности, лежащей в основе брахицефализации. Он впервые указал на онтогенетическую основу брахицефализации, рассмотрев ее как частный случай ускорения роста и более раннего наступления полового созревания. Продольный диаметр головы увеличивается в процессе роста скорее, чем поперечный; в процессе индивидуального онтогенеза имеет место долихоцефализация. Более раннее половое созревание прекращает рост и, следовательно, фиксирует более раннюю фазу онтогенеза, отличающуюся среди прочего большим головным указателем. Таким образом, брахицефализация или долихоцефализация в каждом поколении представляет собою передвижение тех или иных стадий онтогенеза во взрослое состояние.

К настоящему времени накоплены большие серии наблюдений, указывающие на разнонаправленность изменений формы головы у исторического населения разных областей ойкумены. Далеко не всегда их можно увязать с соответствующими данными о темпах и периодизации онтогенеза, а также об интенсивности физического развития тех или иных популяций. Подобных данных собрано еще далеко не достаточно, и здесь перед антропологами и медиками всех стран непочатый край работы. Появилась информация о межгрупповой связи степени брахицефализации с минерализацией костяка — деминерализация неразрывно связана с брахицефальной формой черепной коробки. К сожалению, еще мало исследованы механизмы влияния деминерализации на процессы роста — его ускорения или замедления — и сроки наступления полового созревания. Но так или иначе, нельзя не увидеть другую аналогию — между интенсивной брахицефализацией в последние десятилетия и столь же интенсивной акселерацией, что служит ярким примером теоретической плодотворности идеи В. В. Бунака и необходимости ее разработки при обобщении данных по онтогенетическому развитию отдельных популяций. Это большая самостоятельная глава популяционной морфологии человека, для которой подход, сформулированный В. В. Бунаком, является путеводным.

В 1956 г. в новой статье, посвященной расовой классификации, В. В. Бунак впервые тезисно сформулировал свою концепцию косвенной адаптации: приспособление через отбор проявляет себя не в расовых признаках, а в каких-то признаках внутренней среды, с которыми расовые признаки связаны физиологической корреляцией. В книге 1959 г. об эволюции черепа человека и в посмертно опубликованном труде об эволюции рода Ното эта концепция получила дальнейшую теоретическую аргументацию. В. В. Бунак последовательно выступал всегда против истолкования положительных коэффициентов корреляции отдельных морфологических признаков с климатическими характеристиками в понятиях адаптации; обоснованию этого тезиса была посвящена специальная статья. В настоящее время существует обширная литература, в которой приводятся морфогенетические, физиологические и статистические аргументы и за, и против существования прямого приспособления расовых признаков к географической среде. Эта проблема стоит сейчас в центре внимания современной антропологии и генетики человека; трудно предугадать, по какому пути пойдет ее изучение в дальнейшем и чья точка зрения возобладает — скептиков или оптимистов, но, несомненно, соображения В. В. Бунака имеют первостепенное значение для выработки подлинно научного взгляда на адаптацию человеческих популяций.

Мы выбрали пять теоретических положений В. В. Бунака, чтобы проиллюстрировать мысль, вынесенную в заголовок статьи. Во всех рассмотренных случаях его исследовательский поиск опередил свое время и ему удалось частично предсказать, а частично и предопределить дальнейший путь развития антропологической науки.

А. Н. Давыдов

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

В 25 км от Архангельска вверх по течению Северной Двины 1 июня 1973 г. был открыт для посетителей Архангельский музей деревянного зодчества, к тому времени в него было перевезено свыше 20 памятников народного деревянного зодчества. Сейчас их в музее около 70.

По решению Архангельского облисполкома, формирование музея было начато в 1968 г. Автор его первоначального Генерального плана — архитектор Б. В. Гнедовский (ин-т «Спецпроектреставрация», г. Москва). В ходе организации музея Генеральный план претерпел серьезные изменения: с 1975 года по настоящее время разработками отдельных секторов занимаются архитектор О. Г. Севан и научные сотрудники музея. С 1976 г. научные консультации по архитектурно-этнографической экспозиции музея стали осуществлять Сектор этнографии восточных славян Института этнографии АН СССР (Ленинградская часть), Русский отдел Государственного музея этнографии народов СССР, Кафедра этнографии и антропологии ЛГУ.

Перевозка и реставрация памятников ведется Архангельской специализированной научно-реставрационной производственной мастерской Российского республиканского специализированного научно-реставрационного объединения «Росреставрация» Министерства культуры РСФСР.

Охранная зона музея — 130 га. Его территория занимает 78 га и отличается многообразием форм микроландшафта, что позволило соотнести секторы музея, отражающие специфику социально-экономической жизни, материальной и духовной культуры народа в историко-культурных регионах Архангельской области (в прошлом губернии), с географическими особенностями отдельных ее регионов. На сравнительно небольшой площади музея мы встречаем различные сочетания лиственных и хвойных деревьев, разнообразных кустарники, поля, равнины, овраги, болотистые низменности, обрывистый и пологий берега, родники, речку (р. Карелка). Уже первым вариантом Генерального плана предусматривалось деление музея на сектора в соответствии с историко-культурным районированием области. Этот принцип выдержан в структуре современной архитектурно-этнографической экспозиции Архангельского музея деревянного зодчества — в нем запланировано шесть секторов. Два из них, Каргопольско-Онежский и Северодвинский, в настоящее время почти сформированы, в стадии активного формирования находится Мезенский сектор, перевезен ряд памятников в Пинежский сектор. Зарезервирована территория для Важского и Поморского секторов.

Тематико-экспозиционные планы будущих секторов создаются специалистами ряда наук — архитекторами, историками, этнографами, искусствоведами. Такое содружество создалось еще в процессе развития музея и было подсказано задачами, возникавшими при обсуждении настоящего и будущего музея. Для правильного решения экспозиции музея под открытым небом необходимо оценивать народную архитектуру не как нечто самодовлеющее, но как неотъемлемую часть всей народной



Рис. 1. Каргопольско-Онежский сектор. Столбовка «на реже» из д. Большая Шалга

культуры. Поэтому архитектурно-проектной стадии работ должны предшествовать общие предварительные тематические разработки по этнографии, народному искусству, социально-экономической истории данного региона. Именно такой подход принят при решении экспозиций формирующихся Мезенского, Северодвинского и Пинежского секторов, тематико-экспозиционные планы которых уже обсуждались на заседаниях Ученого совета музея.

Глубокий овраг делит территорию, занимаемую музеем, на два плато: «Большое» и «Малое». На «Малом» плато Каргопольско-Онежским сектором представлены историко-культурные регионы западной части Архангельской области. На «Большом» плато разместится экспозиция, отражающая историко-культурные регионы восточной части области, т. е. остальные пять секторов. Все шесть секторов музея объединятся кольцевым экскурсионным маршрутом. Такое построение экспозиции, когда она будет завершена, позволит познакомить посетителей с особенностями хозяйственной деятельности севернорусского крестьянства, а также с основными чертами материальной и духовной культуры русского населения Архангельской области второй половины XIX — начала XX в. (именно к этому периоду относится большинство жилых и хозяйственных построек).

При размещении перевозимых в музей памятников создатели экспозиции стремились сочетать задачи воспроизведения историко-культурного облика планируемых интерьеров с требованиями архитектурно-эстетического порядка и особенностями ландшафта. Только такой комплексный подход может дать оптимальное решение экспозиции.

Каждый сектор музея представляет один тип севернорусского поселения с характерной планировкой деревни, с жилыми, хозяйственными, производственными, культовыми, а также некоторыми общественными



Рис. 2. Каргопольско-Онежский сектор. Мельница — «шатровка» из д. Кожпоселок

постройками (например, школа, волостное правление). Чтобы отразить социальное расслоение северной деревни во второй половине XIX — начале XX в., в экспозицию введены усадьбы купцов и кулаков, дома середняков и бедняков.

Одной из главных задач музея, исходя из его специфики, остается показ многообразия народного деревянного зодчества Русского Севера. Так, например, в музее посетителям демонстрируются все типы деревянных ветряных мельниц — столбовых и шатровых, бытовавших в XIX — начале XX в. в различных историко-культурных регионах Архангельской губернии. Один из наиболее архаичных типов — «столбовка на реже» — представлен мельницей из дер. Большая Шалга Онежского р-на (Каргопольско-Онежский сектор; рис. 1). Мельница из дер. Большая Шалга при аналогичной конструкции мельничного механизма отличается большей величиной амбара, наличием толчеи, числом крыльев (если у азапольской мельницы их четыре, то у этой мельницы — шесть), высотой режа (реж мельницы из с. Азаполье выше человеческого роста, а мельницы-толчеи из Большой Шалги — чуть больше полуметра). В музее имеются также столбовые ветряные мельницы «на раме» и на «стойках». Столбовые мельницы «на раме» перевезены из дер. Калгачиха Онежского р-на и дер. Медлещи Шенкурского р-на. Они различаются формами амбаров и числом крыльев: у мельницы из дер. Калгачиха их четыре, из дер. Медлещи — шесть. Столбовка на стойках перевезена в музей из дер. Юкс-озеро Онежского р-на.

Шатровые ветряные мельницы появились на Русском Севере в начале XVIII в.; их распространение связывают с деятельностью Петра I. В народе подобные мельницы называли «голландками». Ветряные мельницы-шатровки использовались не только для помола зерна, но и для пиления досок и брусьев. Их устройство и внешний вид значительно отличались от столбовок. В экспозиции музея таких мельниц две: из дер. Бор Холмогорского р-на и из дер. Кожпоселок Онежского р-на (рис. 2). «Голландкой» классического типа является мельница из дер. Бор. Выдержанные пропорции, верхняя часть в виде полусферы, на-

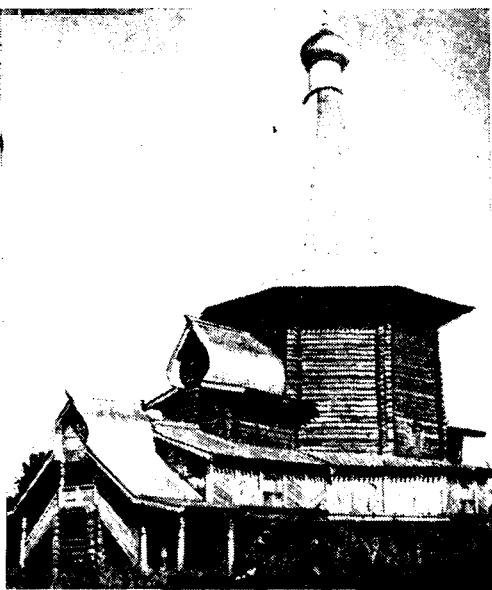


Рис. 3. Северодвинский сектор. Георгиевская церковь из с. Вершина Верхнетоемского р-на 1672 г.



Рис. 4. Каргопольско-Онежский сектор. Часовня из д. Федоровская Плесецкого р-на XVIII в.

личие поворотного механизма внутри мельницы отличают ее от мельницы из дер. Кожпоселок, поворот верха которой осуществляется «воротилом» вручную или конной тягой, как у столбовок.

В музее имеется также водяная мельница, перевезенная из с. Ошевенск Каргопольского р-на. Такие мельницы были широко распространены по всему Русскому Северу.

Подавляющее большинство памятников музея — жилые и хозяйственные постройки. Характерные типы домов-дворов будут представлены в наиболее интересных вариациях. Планируется показать различные типы крестьянских усадеб Русского Севера с включением в них разных хозяйственных построек: амбаров, бань, колодцев.

В музее должны быть представлены также культовые сооружения, являющиеся уникальными памятниками русского деревянного зодчества. Большая их часть относится к XVII—XVIII вв. Эти сооружения органично вписываются в экспозиции секторов. В настоящее время в музее экспонируются два типа больших культовых сооружений. Это церковь Вознесения из с. Кушерека Онежского р-на (1669 г.) и Георгиевская церковь из с. Вершина Верхнетоемского р-на (1672 г.) (рис. 3); Георгиевская церковь, по словам акад. И. Грабаря, — одна из самых стройных на Севере, формирует ансамбль Северодвинского сектора, а церковь Вознесения и колокольня из с. Кушерека организуют ансамбль Каргопольско-Онежского сектора. В 1972 г. Георгиевская церковь была перевезена в музей и реставрирована по проекту архитектора В. А. Крохина (он же

автор проектов реставрации большинства уникальных памятников деревянного зодчества Архангельского музея). Георгиевская церковь представляет собой широко распространенный на Русском Севере тип шатровых храмов. Она рублена весьмериком от земли. К храмовой части с северной и южной сторон примыкает крытая консольная галерея, восстановленная уже в музее. Алтарный прируб и трапезная увенчаны «бочками», «бочка» завершает также примыкающее к консольной крытой

галерея церкви двухухходное крыльцо с резными столбами и перилами. Главка, барабан, шатер и бочки Георгиевской церкви крыты городчатым осиновым лемехом.

Кубовая церковь Вознесения из с. Кушерека — другой тип храма. Она рублена как четверик на четверике — один четырехгранный сруб как бы вырастает из другого. Куб — сложная форма покрытия храма, напоминающая обрезанную с нескольких сторон луковицу. Четырехгранный куб Вознесенской церкви имеет вытянутую форму; на вершине и четырех его ребрах разместились пять главков, покрытых осиновым лемехом. Кубовая форма покрытия появляется в XVII в. как компромиссное решение между традиционным на Русском Севере шатром и усиленно распространяемым церковью во второй половине XVII в. пятиглавым византийским каноном.

Предполагается перевезти также Ильинскую церковь XVII в. из дер. Веркола Пинежского р-на — тип деревянного храма «шатер на кресчатой бочке».

Различные формы малых культовых сооружений представлены в музее часовнями из деревень Федоровская Плесецкого р-на (XVIII в.; рис. 4), Мамонов Остров того же района (XVIII в.) и Вальтево Пинежского р-на (XVIII в.). На Русском Севере часовни были широко распространены. Они могли стоять в лесу, у моря, на развилке дорог, за поселением, на окраине деревни, над родниками, в местах сенокосов. Строили часовни «по-мирски», т. е. на средства общины, и посвящали наиболее популярным в народе святым: Параскеве Пятнице, Илье Пророку и т. п.

В настоящее время интерьеры и выставки музея открыты лишь в летний период и преимущественно в Каргопольско-Онежском секторе, который представляет собой модель поселения со свободной планировкой, вокруг ансамбля Вознесенской церкви и колокольни из с. Кушерека.

В Каргопольско-Онежском секторе имеются курные и «белые» каргопольские и поонежские избы. В экспозиции есть избы-четырёхстенки, топившиеся по-черному, например изба типа «брус» из дер. Гарь Каргопольского р-на (XIX в.). Две курные избы типа «глаголь» (конец XIX в.) перевезены из деревень Гарь и Погост Каргопольского р-на (рис. 5). Двухэтажная изба с примыкающим двором (конец XIX в.) перевезена из дер. Киселево Каргопольского р-на. Дом с белой русской печью, курную избу и летнюю неотапливаемую «горенку» имеет дом-двор типа «поперечная связь» (перевезен из дер. Большой Халуй Каргопольского р-на, конец XIX в.). Зерновые амбары из Каргопольского р-на, а также колодцы-«вороты» (рис. 6) уже очертили контуры формирующихся усадеб. За усадьбами расположено гумно с овинами из дер. Боросвидь Каргопольского р-на (XIX в.). На переходе к Важскому сектору, «за околицей», посетителя встречают часовня XVIII в. из дер. Мамонов Остров, а еще дальше, на спуске — водяная мельница. На переходе к Мезенскому сектору (снова как бы «за околицей») стоит часовня из дер. Федоровская (XVIII в.). И наконец, на «окраине» деревни, у самого входа в музей, размещена группа ветряных мельниц — шатровая мельница из дер. Кожпоселок, столбовка на реже из дер. Большая Шалга, столбовка на раме из дер. Калгачиха.

В настоящее время внутренняя экспозиция Каргопольско-Онежского сектора имеет две формы: выставки и постоянный интерьер. Первые выставки и интерьеры были созданы в музее в 1975 г. В течение 1975—1981 гг. в Архангельском музее деревянного зодчества было открыто несколько выставок: «Ветряные мельницы на Севере, их типы и устройство», «Лен на Севере», «Традиционные сухопутные средства передвижения на Севере во второй половине XIX в.», «Народный костюм, ткачество, вышивка, вязание», «Народная живопись К. И. Третьякова», «Современное народное творчество», «Дерево в крестьянском быту Русского Севера», а также «Архитектура Севера в творчестве архангельских художников» (первая выставка в экспозиции Северодвинского сектора, открытая летом 1979 г.) и некоторые другие. Постоянные интерьеры созданы в избах Каргопольско-Онежского и Северодвинского секторов

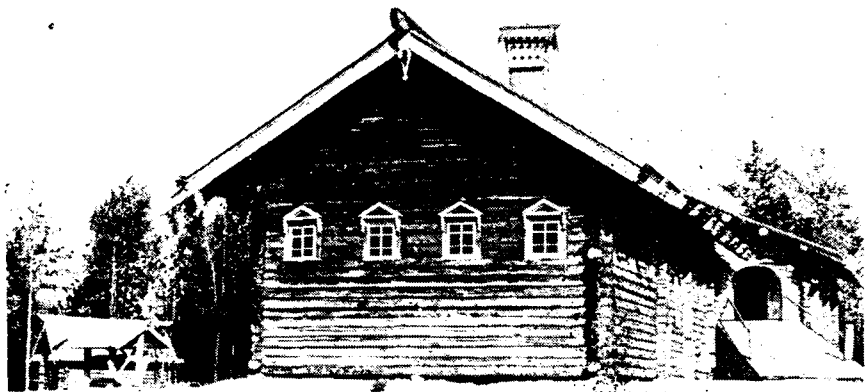


Рис. 5. Каргопольско-Онежский сектор. Курная изба из д. Погост Каргопольского р-на. XIX в.

и в часовнях из деревень Федоровская и Мамонов Остров Плесецкого р-на.

На фотовыставке «Ветряные мельницы на Севере, их типы и устройство» (1975—1978 гг.) были показаны типы деревянных ветряных мельниц Русского Севера, устройство и принцип работы мельничных механизмов (на некоторых мельницах музея эти механизмы восстановлены). На фотографиях была также отражена история перевозки и реставрации мельниц музея, зафиксированы памятники до и после реставрации.

На выставке «Традиционные сухопутные средства передвижения на Севере во II половине XIX в.» (1975—1979 гг.) экспонировались разные виды конской упряжи, сани, телеги. Большой интерес у посетителей вызвали резные и расписные дуги с подлужными колокольчиками, станок для гнутья полозьев, расписные детские санки, «правильно» (предмет, употреблявшийся при катании на санках с ледяных горок), охотничьи лыжи. В коллекции саней были представлены розвальни, пошевни, нарта, бытовавшая у русских на Мезени.

Выставка «Народный костюм, ткачество, вышивка, вязание» (1977 г.) знакомила посетителей с традиционным костюмом различных историко-культурных регионов области, а также с предметами народного творчества Архангельского Севера в XIX—XX вв. На ней были широко представлены: мезенское вязание, каргопольская вышивка, ткачество, золотое шитье и вышивка жителей бассейнов Северной Двины, Вычегды, Ваги, Пинеги, Мезени, Каргополя и Поонежья, а также побережья Белого моря.

С одним из самобытных явлений, интересных как для искусствоведов, так и для этнографов, — современной самодельной народной живописью (так называемым «наивным» искусством) — знакомила выставка «Народная живопись К. И. Третьякова» (1976 г.)¹. На ней были представлены работы самодельного художника, уроженца Вельского р-на, издавна славящегося искусством домовой росписи.

В последнее время важное место в экспозиции занимает выставка «Современное народное творчество». Музей поддерживает связи с десятками мастеров — народных умельцев области, лучшие работы которых вот уже в течение трех лет показываются на выставке. На ней представлены образцы ткачества и плетения из бересты, предметы гончарного и кузнечного промысла, щепные птицы, каргопольская игрушка. А в августе 1978 и 1979 гг. музеем совместно с Архангельским Домом народного творчества проводился семинар народных умельцев. Приглашенные в

¹ Подробнее см.: Фокин Е. И. Народная живопись К. И. Третьякова. Архангельск, 1976.



Рис. 6. Каргопольско-Онежский сектор. Колодец «ворот»

музей народные мастера демонстрировали посетителям свое искусство: гости музея знакомились в эти дни с живыми носителями народных художественных традиций. Процесс производства изделий традиционных народных промыслов становится частью экспозиции музея. Семинар народных умельцев представляет значительный интерес для специалистов-искусствоведов и этнографов.

Экспозиция «Лен на Севере» 1975—1977 гг. — первая выставка, имевшая комплексный характер. Она размещалась в курной избе из дер. Погост Каргопольского р-на и отражала основные процессы выращивания и первичной обработки льна, а также прядение, ткачество, изготовление льняного масла. На выставке было показано изготовление веретен, представлены типы прялок, бытовавших в различных районах Архангельской губ. во второй половине XIX — начале XX в., отдельные виды брачного ткачества, набойка, пестрядь, а также элементы традиционного костюма. Перед избой — поле, засеянное льном. На повети размещены орудия обработки поля — сохи, бороны. Там же на фотографиях показан процесс первичной обработки льна: отбивание стеблей кичигами и цепями, мятье на копыльной и составной мялках, чесание и т. д. Органично входил в выставку интерьер «горенка перед свадьбой», где размещались замечательные образцы вышивки и ткачества. В целом выставка «Лен на Севере» как бы связывала выставочную и интерьерную части экспозиции Каргопольско-Онежского сектора.

В интерьерной части Каргопольско-Онежского сектора представлены интерьеры часовен, усадеб крестьянина-середняка, избы крестьянина-бедняка. Здесь воспроизведена характерная бытовая обстановка крестьянских изб Севера России конца XIX — начала XX в., отражающая социальные процессы в северной деревне в указанный период и специфику материальной и духовной культуры севернорусского населения в Каргополье.

К 60-м годам XIX в. Архангельская губ. занимала последнее место в России по количеству пахотных угодий на 100 десятин земли. Именно малоземелье способствовало развитию различных промыслов и ремесел, доходы от которых позволяли крестьянам платить налоги, взимаемые деньгами. Во второй половине XIX в. более 25% крестьянских дворов не имели своего сельскохозяйственного инвентаря, примерно столько же были безлошадными. Жилищем беднейшего крестьянина, как уже гово-



Рис. 7. Печь в избе каргопольского крестьянина-бедняка из д. Гарь, Каргопольского района:

рилось, служила курная или «рудная» изба с печью, топившейся по-черному (в экспозиции — изба из дер. Гарь, рис. 7). Обстановку и утварь такой избы составляли, как правило, предметы местного изготовления (деревянная мебель, глиняная и деревянная посуда, изделия из бересты, кованые в сельской кузнице вещи). В интерьере жилой части избы крестьянина-бедняка из дер. Гарь экспонируются плетение из бересты: лапти, солоницы, корзины разных видов, детская игрушка (плетеные берестяные мячики), кузова для грибов и другие вещи (рис. 8). В сенях и клети размещены сундуки, а также утварь.

В другой курной избе, вывезенной из той же деревни, более просторной, с горницей, воссоздан интерьер жилища крестьянина-середняка: «черная» печь, лавки, врубленные в стены по периметру избы, полки «воронцы» под потолком, брусья-«вешалки», тянущиеся вдоль нее, расписной шкаф-«заборка», отделяющий «прилуб», или «бабий кут», от основного пространства избы. В интерьере горницы заметна ориентация на городскую культуру, правда, в опосредованном, традиционном восприятии. Здесь мы видим деревянную кровать, шкаф с покупной городской фарфоровой и фаянсовой посудой, резные деревянные диван и стулья.

В интерьерах изб крестьянина-бедняка и крестьянина-середняка отражены как социальные различия, так и этнографическая специфика региона. Перед порогом обеих изб вместо ступеней положены широкие плоские камни — деталь, характерная для входа в крестьянские избы в Каргополье.

Частью Каргопольско-Онежского сектора является и часовня XVIII в. из дер. Федоровская. В ней восстановлены двухрядный тябловый иконостас и расписной сложный составной потолок — «небо», имеющий форму усеченной восьмигранной пирамиды, лучи-ребра которой упираются в центральный замковый круг. На этих лучах лежат большие треугольные иконы с изображениями звездного неба и святых, одноименных деисусному чину иконостаса.

В 1980 г. были открыты интерьеры двух усадеб Северодвинского сектора музея: вычегодской и верхнедвинской.

С июня 1975 г. открыта экспозиция «Звоны Северные». В России колокольный звон звал не только к молитве. Он сообщал о начале того или иного события, извещал о пожаре. Колокола сельских колоколен зво-



Рис. 8. Экспозиция в интерьере избы крестьянина-бедняка: плетение из бересты

нили в непогоду, указывая дорогу заблудившемуся путнику (например, в поморском селе Нёноксе во время снежного бурана или шторма били в самый большой колокол — «Обачу», чтобы путник мог выйти на звон к жилью); колокола использовали как магическое средство для лечения немоты у детей. Звонком колоколов извещали о начале боя у стен города и об одержанной победе, им же встречали уважаемых гостей. Искусство звонов органически связано с народными музыкальными традициями. Звоны заучивались звонарями при помощи традиционных мнемонических текстов фольклорного характера, передававшихся от старшего поколения звонарей к младшему. При индивидуальном характере звонов на каждой колокольне (подвеска колоколов на колокольне, их число, тональность церковью не регламентировались, а зависели в каждом отдельном случае от целого комплекса факторов, в том числе и от пожертвований и богатства прихожан) их ритмика в разных районах России в значительной мере отражала специфику местной народной музыкальной культуры.

Примечательно, что уже в XVII в. колокольные звоны отмечаются иностранными путешественниками (в частности, Бернгардом Таннером и Адамом Олеарием) как специфически русское, национальное явление. На пасху парни и девушки забирались на сельские колокольни и вызвали там различные ритмические фигуры и мелодии.

Сотрудники Архангельского музея деревянного зодчества, преподаватели и учащиеся Архангельского музыкального училища под руководством В. В. Лоханского ведут работу по изучению и воспроизведению старинных колокольных звонов (рис. 9). Колокола на колокольнях — местного северного и голландского литья (последние нередко встречались на колокольнях в низовьях Северной Двины и в Поморье), а также московского, ярославского и гатчинского. В 1980 г. в музее открыта выставка колоколов.

Важную задачу музея составляет исследование традиционной обрядности и возможностей её использования в современных обрядах, а также ознакомление посетителей с духовной культурой, в частности фольклорным наследием народа. Главной формой такой работы стали фольклорные праздники, проводимые музеем совместно с Архангельским областным домом народного творчества, областным отделением Всероссийского



Рис. 9. Одна из сотрудниц музея овладевает искусством звонаря

хорового общества, Центральной и областной студиями телевидения. Стало доброй традицией приглашать для выступления в музее лучшие фольклорные группы из всех историко-культурных регионов области. Тематика этих выступлений разнообразна: песни, народные танцы, инсценировки свадеб и т. п. Фольклорные группы выступают в народных старинных костюмах, традиционных для своих регионов. Эти концерты транслируются по телевидению. Фольклорные праздники музея давно уже стали частью общегородских праздников.

Музей активно влияет на формирование современных обрядов и праздников в Архангельске и в области. Начиная с 1970-х годов все больше новобрачных приходят сюда после торжественной регистрации брака. Сотрудники музея разрабатывают ритуал встречи молодоженов, в который, как и в ритуал встречи почетных гостей, входят Звоны Северные, подношение хлеба-соли, величальная песня, исполняемая фольклорной группой, и катание на рысаках. В 1979 г. музеем были приобретены три лошади породы «русские рысистые»: два жеребца и кобыла. В 1980 г., уже в музее, родилась еще одна кобыла. Оборудована конюшня. С конца 1970-х годов катание на лошадях, практиковавшееся ранее нечасто (приглашались возницы с лошадьми из окрестных деревень), превратилось в неотъемлемый атрибут фольклорных праздников как в зимний, так и в летний сезоны, великолепно дополняя их программы. Музей пытается моделировать некоторые традиции севернорусских ярмарочных и масленичных гуляний. В 1981 г. были приобретены четыре оленя для катания зимой на русских мезенских нартах.

В настоящее время формирование музея продолжается: идет активное комплектование Северодвинского, Пинежского, Мезенского секторов, завершается экспозиция Каргопольско-Онежского сектора. По генеральному плану предполагается перевезти в музей более ста различных построек.

Ансамбль Мезенского сектора должен сформировать панораму музея со стороны шоссе Архангельск — Боброво. Сектор планируется как модель поселения, расположенного на обрывистом берегу. Будут воссозданы набережные на «обрубах» (подпорных стенках) — характерная черта поселений, расположенных на высоких берегах р. Мезени и ее притоков. Четыре мезенских усадьбы будут представлены домами (четырёх-

стенки, пятистенки, шестистенки) и хозяйственными постройками — амбарами, банями, сараями и т. д. В этих усадьбах будет отражено социальное расслоение, происходившее в мезенской деревне во второй половине XIX — начале XX в.; предполагается также показать земледелие и скотоводство, традиционные народные промыслы, ремесла и искусство. Планируется показ «шитья» лодок и карбасов, частично — морского промысла, охоты, гончарного промысла, палащельской росписи по дереву, народной ветеринарии (мезенские коновалы). Интересным экспонатом станет столб в честь основания мезенской деревни Березник, на котором вырезано: «Сия деревня основана в 1879 г. ФАС» (Федором Антипычем Ситниковым). В секторе будут установлены и обетные кресты с Мезени — образцы мастерской художественной резьбы по дереву (один из таких крестов перевезен в музей в 1976 г. и находится пока в фондах).

На территории Мезенского сектора в настоящее время уже стоят ветряная мельница «столбовка на реже» из с. Азаполье Мезенского р-на, смолокурня (копия смолокурни с р. Пеца в натуральную величину), ставятся дома-дворы из деревень Чучепала Лешуконского р-на и Елкино Мезенского р-на. Архитекторы объединения «Росреставрация» и сотрудники музея ведут активные поиски и закупку объектов для сектора в Мезенском и Лешуконском районах области.

Пинежский сектор тоже начинает приобретать характерные очертания. Сюда перевезены амбары на «стойках» и «гребешках» из деревень Едома и Ваймуши (XIX в.), «черная» баня из дер. Ваймуши (начало XX в.), часовня из дер. Вальтево (XVIII в.), амбар с галереей из с. Сура (XIX в.) Пинежского р-на. Поиски объектов ведутся также в верховьях Пинеги — в восточной части Верхнетоемского р-на. Сектор планируется как модель однорядного уличного поселения, что было характерно для пинежских деревень в XIX в. На одном из концов этой «деревни» предполагается поставить Ильинскую церковь из дер. Веркола (XVII в.). В экспозиции будут представлены четыре усадьбы конца XIX в.: усадьба купца — торговца хлебом, две усадьбы крестьян-середняков и изба крестьянина-бедняка. Предполагается продемонстрировать ряд промыслов, характерных для этого района: изготовление туесов, набойно-красильный, а также бондарный, катальный и кожевненный. В густом ельнике возникает комплекс, отражающий охотничий промысел, охотничья изба и амбар-«клетка». В одной из усадеб посетители познакомятся с процессом изготовления местных долбленых речных лодок — «осиновок». Амбары, перевезенные из деревень Едома и Ваймуши, составят «амбарный городок» — характерную черту пинежской деревни. Здесь, в амбарах, расположенных за поселением, крестьяне хранили хлеб, основное богатство крестьянской семьи (в них же зачастую держали и приданое невесты). На переходе от Пинежского к Мезенскому сектору ставится «сезонное поселение» — три сенокосных избы и амбары-«клетки» сенокосных угодий дер. Хорнемская Верхнетоемского р-на (верховья Пинеги).

Следующий сектор, Северодвинский, — по расположению центральный в экспозиции музея — будет самым насыщенным по числу усадеб. Экспозиция его должна отразить хозяйство, быт, материальную и духовную культуру населения бассейна Северной Двины (кроме ее притоков Пинеги и Ваги, представленных в музее отдельными секторами). Такое расположение Северодвинского сектора в музее соответствует историческому, экономическому и культурному положению этого региона в Архангельской области. Здесь будет как бы «центральное село» музея, «волесть». За основу сектора принята планировка большого торгового села. В секторе разместятся в соответствующих зданиях «сельское волостное правление» и «сельская школа».

Северная Двина издревле была главной торговой артерией края, сыгравшей огромную роль в освоении и развитии Севера. Для бассейна Северной Двины, как и для других районов дореволюционной России, в XIX в. были характерны сельские ярмарки. Предполагаемое решение экспозиции — воссоздать ярмарочную площадь и торжище в Северодвинском секторе. С ярмарочным комплексом органически сольются трактир,

постояльный двор и кузница. Этот комплекс откроет новые возможности для проведения фольклорных праздников в музее.

В настоящее время на территории Северодвинского сектора ставятся семь усадеб (всего их будет восемь). Архитектурный ансамбль сектора формирует уже упоминавшаяся Георгиевская церковь из с. Вершина. В музей перевезены с низовьев Вычегды три дома-шестистенки различных типов из деревень Ирты и Выемково Ленского р-на (конец XIX в.). Оттуда же перевезен амбар-магазин (дер. Суходол, конец XIX в.). Среднее течение Северной Двины представлено четырехстенком и двухэтажным избой из дер. Цивозеро (оба сооружения конца XIX в.), пятистенком из дер. Кондратовская Верхнегоемского р-на (конец XIX в.). В экспозицию войдет также кузница из дер. Усть-Мадюма Красноборского р-на (начало XX в.). Две «столбовые» мельницы-толчеи («на раме» и «на стойках») встали на окраине села, при переходе к Важскому сектору. Усадьбы комплектуются амбарами, банями с-верховьев и среднего течения Северной Двины. В усадьбах сектора будет демонстрироваться процесс росписи прялок, а также барецкая, пермогорская и черевковская росписи: изготовление дуг, саней, телег, сундуков, кузнечный промысел, плетение из бересты и ивового корня, резьбу по дереву, плетение поясов, браное ткачество и некоторые другие промыслы, встречающиеся в различных частях Двинского региона.

Восточнее Северодвинского сектора, в лесу, будет воссоздана лесная делянка с избушкой лесорубов. Лесопромысловое хозяйство — одна из важнейших форм отходничества северных крестьян в XIX в.

Формирование Важского и Поморского секторов — очередная задача Архангельского музея деревянного зодчества. Для них зарезервированы участки и проводится предварительный сбор материала, необходимого для разработки экспозиций. Эти секторы должны отразить специфику духовной и материальной культуры населения самого «хлебного» региона — бассейна Ваги (Важский сектор) и промысловую культуру поморов (Поморский сектор).

Филиалами музея стали Никольская шатровая церковь XVI в. в с. Лявля и шатровая церковь Михаила Архангела в дер. Конец-дворье. Сотрудники музея к приближающемуся 400-летию г. Архангельска (1984 г.) начали совместно с кафедрой истории Архангельского педагогического ин-та работу над созданием историко-этнографической зоны старого деревянного города в Архангельске в районе ул. им. Чумбарова-Лучинского с прилегающими улицами. Эта зона станет одной из экспозиций музея в городе.

Сотрудники музея ведут активную пропагандистскую работу среди населения (работают лекторий «Культура Севера» и атеистический), организуют передвижные выставки, часто выступают с этнографическими статьями и заметками в областной прессе, по радио и телевидению. На базе музея дважды проходили летнюю экспедиционную практику студенты кафедры этнографии и антропологии Ленинградского университета. Музей поддерживает контакты с Сектором этнографии восточных славян Ленинградской части Института этнографии АН СССР, Государственным музеем этнографии народов СССР, кафедрой этнографии и антропологии ЛГУ, музеями под открытым небом в Риге («Бривдабас музей»), Таллине («Музей Рокка-аль Марэ»), Новгороде («Витославлицы»), Костроме, Горьком.

С 20 по 26 августа 1980 г. в Архангельске проходила Первая Всесоюзная школа-семинар «Проблемы развития архитектурных и этнографических музеев под открытым небом». Она была организована Советом молодых ученых и специалистов МГУ им. М. В. Ломоносова и Советом молодых ученых и специалистов Архангельской области на базе Архангельского музея деревянного зодчества. Своих молодых специалистов и научных работников в школу-семинар прислали практически все музеи под открытым небом. Было заслушано и обсуждено больше 30 докладов и сообщений, посвященных многосторонней организационной, научной и просветительской работе этих музеев. Лекции участникам школы-

семинара читали ведущие ученые из институтов Академии наук СССР, университетов и архитектурно-градостроительных институтов Москвы и Ленинграда, Музея истории религии и атеизма, а также реставрационного объединения — института «Спецпроектреставрация» Министерства культуры РСФСР.

Научное руководство школой-семинаром осуществляли заведующий кафедрой антропологии и этнографии ЛГУ им. А. А. Жданова Р. Ф. Итс, ректор Архангельского пединститута А. А. Куратов, автор Генерального плана Архангельского музея деревянного зодчества Б. В. Гнедовский.

Для участников школы-семинара музей совместно с Архангельским областным научно-методическим центром по изучению народного творчества устроил большой фольклорный праздник, где свое мастерство показывали народные умельцы и фольклорные группы. Праздник открылся Северными Звонами, а завершился катанием на русских рысаках.

Первая Всесоюзная школа-семинар, организованная по инициативе Архангельского музея деревянного зодчества, явилась действенной формой учебы для молодых специалистов музейного дела.

Архангельский музей активно сотрудничает с другими музеями деревянного зодчества. Так, в 1979 г. в музеях Львова и Ужгорода была показана фотовыставка Архангельского музея деревянного зодчества «Архитектура Северной России», посвященная 325-летию воссоединения Украины с Россией. К этому же событию была приурочена выставка «Украинская народная живопись», организованная в Архангельске на территории музея совместно с Музеем народной архитектуры и быта УССР. В сотрудничестве с этим же музеем в 1981 г. демонстрировалась выставка «Украинская народная сорочка». Выставка «Народное искусство Русского Севера» — результат совместной работы с Музеем этнографии и художественных промыслов АН УССР и Львовским отделением Союза художников УССР в 1980 г. Еще одна выставка «Вышивка, ткачество и народный костюм Русского Севера» работала в Риге зимой 1981/82 г. В ее организации вместе с сотрудниками Архангельского музея принимали участие сотрудники Латвийского этнографического музея под открытым небом.

Все более возрастает интерес к Архангельскому музею деревянного зодчества. Его роль в северорусской культуре можно сравнить с ролью Государственного Северного русского народного хора. Собственные выставки музея, как и выставки, создаваемые в содружестве с другими музеями, способствуют пропаганде этнографических знаний, патриотическому и интернациональному воспитанию трудящихся.

Л. Т. Соловьева

ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ РЕБЕНКА У ГРУЗИН ХЕВСУРЕТИ в конце XIX — начале XX в.

Одной из характерных черт традиционно-бытовой культуры каждого народа является обрядовое оформление важнейших событий в жизни человека. Жизнь ребенка в этом отношении не является исключением: обрядовая сторона ее чрезвычайно богата и интересна, и не случайно эта тема привлекала и продолжает привлекать внимание многих этнографов¹. В кавказоведении этот вопрос наиболее изучен на северо-

¹ Зарубин И. И. Рождение шугнанского ребенка и его первые шаги. Ташкент, 1927; Троицкая А. Л. Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины Зеравшана. — Сов. этнография, 1935, № 6; Абрамзон С. И. Рождение и детство киргизского ребенка. — Сборник Музея антропологии и этнографии (далее МАЭ). Т. XII. Л., 1949;

кавказских материалах², по Закавказью имеется лишь несколько подобных работ³. Интерес к этому обрядовому комплексу вызван тем, что его изучение делает более полным наше представление о духовной культуре народа, особенностях его мировоззрения и религиозных верований, о некоторых чертах его социальной организации в прошлом. Вместе с тем обряды детского цикла являются составной частью многостороннего процесса социализации ребенка, т. е. одной из важнейших проблем современной этнографической науки⁴.

Данная статья посвящена анализу обрядовой стороны первых лет жизни ребенка в одном из районов горной Грузии — Хевсурети, района, представляющего особый интерес для этнографии, поскольку из-за природной изоляции и замедленности социально-экономического развития там вплоть до начала XX в. в быту сохранялись многие традиционные институты, исчезавшие или исчезнувшие к тому времени из быта населения других частей Грузии.

Рождение ребенка было у грузин Хевсурети важнейшим событием в жизни семьи и всего родственного коллектива; считалось необходимым и обязательным поздравить семью с появлением на свет новорожденного. Так, уже через несколько дней после рождения ребенка к матери новорожденного, находящейся в специальном помещении — *самревло*⁵, приходили ее родственницы и подруги, приносившие ей *када* — пирог с начинкой, а «на долю младенца» — лепешку (*кубати*); говорили: «Када матери и кубати младенцу, да не будет он обречен быть без доли». Навестить женщину в этот момент считалось обязанностью всех, кто поддерживал с ее семьей родственные и дружеские отношения. По этому поводу говорили: «Кто не пришел в самревло и не поздравил женщину со спасением и рождением ребенка, поступил как враг, а не как друг». Обычно пирог, испеченный на масле, приносили только матери мальчика, если же рождалась девочка — приносили простой ячменный хлеб⁶.

Родственники обязаны были также прийти с поздравлениями в дом новорожденного, принести гостинцы — *масанахави*: бурдюк водки (*арак*) и большой пирог с начинкой из муки и масла (*хавициани када*); кроме того, для детей приносили лепешки, причем одна из них предназначалась специально для новорожденного. Число поздравлявших было большим в том случае, если в семье рождался мальчик. Подобные поздравления (*масанахавис мотана* — принесение масанахави) можно было делать в течение года, особенно в том случае, если родственники жили далеко. Поздравления обычно начинались после возвращения женщины из самревло, однако если рождался долгожданный мальчик, то близкие родственники не ожидали ее возвращения и спешили поздравить семью. В честь каждого поздравителя (*мемасанахаве*) в доме устраи-

Федянович Т. П. Мордовские народные обряды, связанные с рождением ребенка. — Сов. этнография, 1979, № 2, и др.

² Смирнова Я. С. Воспитание ребенка в адыгейском ауле в прошлом и настоящем. — Уч. зап. Адыгейского НИИЯЛИ, т. 8. Майкоп, 1968; *ее же*. Детский и свадебный циклы обычаев и обрядов у народов Северного Кавказа. — Кавказск. этнографический сборник. Т. VI. — Тр. Ин-та этнографии АН СССР, т. 106. М., 1976; Бесаева Т. З. Обряды и обычаи осетин, связанные с рождением и воспитанием ребенка: Автореф. канд. дис. М., 1976, и др.

³ Бардавелидзе В. В. Ритуал, связанный с рождением ребенка в горной Картли. — Вестник Музея Грузии. Тбилиси. Т. IV, 1928 (на груз. яз.); Мачавариани Е. Д. Воспитание ребенка в Мтиулет. — Вестник государственного музея Грузии, т. XIX — XXIV. Тбилиси, 1957 (на груз. яз.); Смирнова Я. С. Воспитание ребенка у абхазов. — Краткие сообщения Ин-та этнографии. М., в. XXXVI, 1962.

⁴ См. Кон И. С. Этнография детства (Проблемы методологии). — Сов. этнография, 1981, № 5.

⁵ «Самревло» — специально возведенная постройка, где женщина находилась в течение четырех — шести недель после родов.

⁶ Макалтия С. И. Хевсурети. Тбилиси: Грузинск. краеведческ. о-во, 1940, с. 155; Тедорадзе Г. Пять лет в Пшави и Хевсурети. Тбилиси: Заря Востока, 1941, с. 158.

вали угощение, произносили здравия в честь новорожденного и его родителей⁷.

В отличие от равнинных районов Восточной Грузии в Хевсурети каждому ребенку в большинстве случаев давалось несколько имен: «имя святылища» (*джварис сахели*)⁸, «имя по крещению» (*натлобис сахели*); нередко также давали «имя души» (*сулис сахели*), причем имя по крещению зачастую забывалось. Так, один из священников в конце XIX в. отмечал, что «хотя хевсурам и пшавцам при крещении даются имена святых, но по издавна принятому обычаю они переменяют эти имена на новые, причем, бывает, одно и то же лицо имеет четыре нехристианских имени»⁹.

«Именем святылища» мать называла ребенка в первые же дни после рождения, так как это имя считалось надежной защитой от «злых духов». Мальчикам давали имена Георгий (Гиорги, Гиорга, Горги) или Гвтисо (Хтисо, Хтиса, Хтисика), девочкам — Мариам, Мзекали (Мзекала), Самдзимари (Дзило, Дзила, Дзилукаи), Ашекали (Ашека)¹⁰. Наречение «именем святылища» происходило следующим образом: мать брала ребенка на руки и говорила: «Ты на имени Георгия и будешь зваться Георгием» или же «Ты на имени Матери Мариам и будешь зваться Мариам» и т. д.¹¹ Натлобис сахели давалось ребенку священником при крещении.

«Имя души» ребенку давали в том случае, если он часто плакал, был неспокоен. Гадалка (*сулис мкитхави*) определяла, какой из покойников «беспокоит» ребенка, «требуя» назвать его своим именем. Определить это родители могли также, увидев во сне, что какой-то покойник сел у колыбели и качает ее. Случалось, что ребенок уже умеющий говорить, сам называл имя какого-нибудь покойника, и это считалось знаком, что ребенка надо назвать его именем. «Именем души» называли как девочек, так и мальчиков, причем только именами покойников-родственников и лишь в очень редких случаях именами умерших односельчан.

Во время наречения «именем души» мать ребенка выпекала особый хлеб — *сахелсадеби пуреби*, т. е. «хлеб для наречения именем», готовила кушанья. По представлению хевсур, ими угощался покойный, именем которого называли ребенка. Затем женщина произносила, обращаясь к покойному, следующую молитву «Эта табла (стол с угощением) да будет тебе на пользу, будет принадлежать тебе. Пусть твой тезка (*месახеле*) будет иметь добрую судьбу, добрую участь. Когда будешь взрослым, пусть тебя помнит, тебя поминает. Если прилично будет тебе войти в мой дом, эта табла да будет благодатной для тебя». Случалось, что и после наречения «именем души» ребенок продолжал плакать, капризничать. Причину этого видели в том, что и другой покойник претендует на то, чтобы его именем называли ребенка. Нередко мать видела во сне, как этот второй покойник отстранял первого от колыбели ребенка, говоря: «Уходи отсюда, этот дом принадлежит мне, у тебя же здесь нет дел», или упрашивал его: «Молю тебя, уступи мне этот дом. Уходи отсюда». Такому сну, как правило, верили и давали ребенку новое «имя души»¹².

⁷ Очаури А. А. Обычай гостеприимства в Хевсурети. Тбилиси: Мецниереба, 1980, с. 6—8 (на груз. яз.); Институт истории, археологии и этнографии АН ГССР им. И. А. Джавахишвили. Архив Отдела этнографии Грузии, д. М1/12. Балиаури М. Рождение и воспитание ребенка в Хевсурети (Архотская община) и связанные с этим пережитки суеверий, л. 180—183 (на груз. яз.).

⁸ Джвари (букв. — крест) — название божеств и святылищ в их честь в горных районах Восточной Грузии.

⁹ В. Гзелиев. Отчет о состоянии Пшаво-Хевсурского благочиния, Тионетского уезда за 1898 г. — ЦГИА ГССР, ф. 493, д. 846, л. 32 об.

¹⁰ Бардавелидзе В. В. Из истории религиозного мышления грузин. — Миямхилвели. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1949, т. I, с. 151 (на груз. яз.); Самдзимари, Ашекали, Мзекали, по представлению хевсур, нареченные сестры божества Хакматис джвари, считавшиеся покровительницами деторождения и материнства.

¹¹ Балиаури М. Указ. раб., л. 32.

¹² Там же, л. 169—170.

В Хевсурети существовало убеждение, что ребенок, названный именем покойного, приобретал некоторые его черты: походил на него характером, поведением, походкой, а также являлся как бы его «заместителем» на земле. Поэтому родственники умершего могли даже обращаться к ребенку (вне зависимости от его возраста) так, как они обращались бы к своему покойному родственнику: «Мама» (Деда), «Брат» (Дзмао) и т. д.¹³ Члены семьи покойного, чьим именем называли ребенка, считали его близким родственником и на Новый год приносили гостинцы — араку и «лепешку судьбы» (*бедисквери*)¹⁴. Обычай давать детям имена умерших родственников был известен и другим народам Кавказа и, видимо, генетически связывается с культом предков¹⁵. Наречение ребенка «именем души» было принято в горных районах Восточной Грузии (Пшави, Хевсурети, Мтиулети, Хеви)¹⁶.

Особые магические церемонии сопровождали всю жизнь ребенка. Так, при появлении у него первого зуба мать пекла для человека, который первым это заметил, када или кубати¹⁷. Появление у ребенка первого зуба было для семьи радостным событием, поскольку считалось, что с этого времени он находится в большей безопасности от действия «нечистых сил». Из дома, где был «беззубый младенец», после захода солнца никому огня не давали, так как считалось, что из-за этого «младенец может остаться беззубым». Если же в том была крайняя необходимость, то взявший огонь должен был бросить один уголек обратно в очаг и сказать: «Осеняю ребенка крестом, я вернул огонь»¹⁸. Подобный запрет существовал и в других районах Грузии (Кахети, Мтиулети)¹⁹.

Когда выпадал молочный зуб, считалось необходимым выполнить определенные действия, чтобы новые зубы росли крепкими и жизни ребенка ничто не угрожало; ребенок, закрыв глаза, старался забросить зуб подальше, при этом трижды повторял: «Пока тебя не увижу, буду жив. Пока тебя не увижу, не постарею, не умру»²⁰.

Особым обрядом сопровождалась у грузин Хевсурети первая стрижка волос мальчика (к девочкам это не относилось). Обряд назывался *тавмасапарсав сахмто* — «[жертвоприношение] богу по случаю стрижки головы», часто его называли тавмасапарсо или сахмто. Исполнялся он, когда мальчику было от 3 до 5 лет. По свидетельству Г. Тедорадзе, этот обряд нередко приурочивали к одному из поминальных дней по кому-нибудь из родственников, причем обязательно в начале нечетного года²¹. До этого времени, когда волосы ребенка дорастали до глаз, их подравнивали, так как считалось, что, если ребенок увидит волосы, с которыми он родился (*намуцлави тма*), у него будет «дурной глаз»²². Мальчику волосы обрезал всегда мужчина, при этом на затылке оставляли нетронутую прядь — *кучула*. Девочек мог стричь любой человек, когда хотел; волосы девочки выбрасывали, мальчика же — хранили в таком месте, где на них никто «не ступил бы ногой».

При подготовке к тавмасапарсо в семье мальчика варили пиво, гнали араку; их родственники и знакомые тоже готовили к этому дню ара-

¹³ Балиаури М. Указ. раб., л. 168—171; Балиаури М., Макалатия Н. Культ мертвых в Архотском обществе.— Материалы по этнографии Грузии. Тбилиси: Изд-во Груз. филиала АН СССР, 1940, т. III, с. 42 (на груз. яз.).

¹⁴ Бардавелидзе В. В. Указ. раб., с. 154.

¹⁵ Зеленин Д. К. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии.— МАЭ. Т. IX. Л., 1930, с. 119.

¹⁶ Бардавелидзе В. В. Указ. раб., с. 151.

¹⁷ Тедорадзе Г. Указ. раб., с. 159.

¹⁸ Балиаури М. Указ. раб., л. 162—163.

¹⁹ Мачавариани Е. Д. Указ. раб., с. 258; Степанов И. Приметы и поверья грузин Телавского уезда.— Сборник для описания местностей и племен Кавказа. В. XIX. Тифлис, 1894, с. 86.

²⁰ Балиаури М. Указ. раб., л. 178.

²¹ Тедорадзе Г. Указ. раб., с. 96.

²² Первые волосы считались «нечистыми» у многих народов Кавказа (см. Покровский Е. А. Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно России. М., 1884, с. 290).

ку, чтобы не идти в гости «с пустыми руками». На сахмто приглашали родственников, друзей, односельчан. Вечером накануне того дня, когда мальчика должны были остричь приглашенные собирались. Служитель «джвари» открывал чан (*коди*) с пивом, прикреплял к нему свечи и клал рядом хлеб «для освящения коди» — *код-самкуртхевло*. Затем он молился, славил пиво и код-самкуртхевло, наливал пиво в специальный котел (*сацде*). Присутствующие слушали молитву стоя, мужчины при этом снимали шапки. После завершения молитвы все садились за стол. Один из молодых людей брал зажженный келаптари (толстую свечу, свитую из нескольких свечей) и чашу с пивом и обносил по очереди всех присутствующих — сначала мужчин, потом женщин. Держа в руках чашу и келаптари, каждый должен был произнести здравицу в честь мальчика, для которого справляли сахмто, например: «Да помилует, да поможет тебе великий благословенный *сахмто-саведребело*²³, даст тебе счастливую жизнь, добрую участь-судьбу. Да поможет, да поддержит тебя великий сахмто-саведребело, вырастит тебя на благо отца и матери. Чего просит родительское сердце у благословенного сахмто и святилища, пусть то и свершится. Мать и отец!.. Господь и великий сахмто сделают его вашим защитником, дадут ему похоронить вас. Пусть радуется он ваше сердце. Вырастит его таким, великий сахмто, сделай его победителем, приносящим горе и беспокойство врагу, милым для родителей, радостью и гордостью села и общины...»²⁴.

На следующей утре на крыше дома закалывали животных: барана (*сахмто*) — жертвоприношение богу Гмерти и козла (*саквирао*) — жертвоприношение богу Квириа²⁵. Таким образом, обряд стрижки волос мальчика сопровождался принесением двух жертв, поэтому обряд иногда также называли *сахмто-саквирао*. Присутствовавшие вновь благословляли ребенка и его родителей: «Да будет милость сахмто-саведребели, да вырастит его, даст ему потомство. Господь и великий сахмто дадут ему добрую судьбу-участь. Пусть они много раз приведут нас в этот дом на сахмто, на стрижку волос мальчиков...». Когда «благословение» завершалось, один из мужчин (как правило, для этого выбирали неженатого человека) приступал к стрижке. Если ребенку было три года, ему на голове выбривали только крест, так как до пяти лет голову мальчика оголять не разрешалось, если же пять лет — брили наголо. Во время стрижки все снова молились о том, чтобы бог дал ребенку «добрую судьбу». Срезанные волосы мать хранила, а впоследствии их клали с ней в могилу. После этого гостей угощали вареным мясом, и на этом сахмто завершалось²⁶.

В основе обрядов и обычаев, связанных с обрезанием волос ребенку, лежали представления о присущей им магической силе, широко распространенные во всех районах мира²⁷. Особые обряды по случаю этого события были известны и другим народам Кавказа²⁸. Кроме того, характерно, что в Грузии стрижка волос имела место при выполнении

²³ Сахмто-саведребело — название приносимой жертвы, к которой обращались как к посреднику между людьми и богом (букв. — жертва для моления Гмерти). Гмерти (букв. — бог) — одно из верховных божеств грузинского языческого пантеона, олицетворявшее луну; по народным представлениям, верховный законодатель и учредитель порядка на земле и на небе. См. Бардавелидзе В. В. Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских племен. Тбилиси: Изд-во АН ГССР, 1957, с. 2, 15.

²⁴ Балиаури М. Указ. раб., с. 209—210.

²⁵ Квириа — одно из верховных божеств грузинского языческого пантеона, генетически связанное с культом огня и домашнего очага. По народным представлениям, он, как и Гмерти, мог «приумножать» людской род. В молитвах о даровании мальчиков обращались обычно к двум божествам вместе — к Гмерти и Квириа (см. Бардавелидзе В. В. Указ. раб., с. 2, 19—20).

²⁶ Балиаури М. Указ. раб., л. 177, 207—212; Дolidзе Г. Г. Хевсурские тексты. Тбилиси: Изд-во Тбилисск. ун-та, 1975, с. 36, 37, 54 (на груз. яз.); Габуури Б. Хевсурские материалы. — Ежегодник грузинск. лингвистического о-ва. В. I—II. Тбилиси, 1925, с. 130—131 (на груз. яз.).

²⁷ См. Фрезер Д. Золотая ветвь. В. II. М., 1928, с. 76.

²⁸ Смирнова Я. С. Указ. раб., с. 118; Муратхан В. П. Обычаи, связанные с рождением и воспитанием ребенка у сирийцев СССР. — Сов. этнография, 1937, № 4, с. 74.

различных обрядовых действий. Например, в случае болезни ребенка нередко давали обет не стричь его в течение определенного времени, в назначенный день волосы стригли около церкви и оставляли там²⁹; стрижка волос была одним из элементов обряда усыновления у грузин Мегрелии³⁰. В Абхазии тот, кто срезал ребенку первые волосы становился для этой семьи родственником³¹.

Когда ребенку исполнялся год, в горных районах Грузии, в том числе и в Хевсурети, устраивали своеобразное «гадание» о его дальнейшей судьбе. В Хевсурети это называлось *дачвенеба* («показ») или *царагши часма* («сажание среди орудий»). Вокруг мальчика раскладывали нож, кинжал, ружье, лук и стрелы, пандури, серп, топор, хлеб; около девочки — чесалку для шерсти, прялку, ножницы, веретено, одежду, шерсть, хлеб. Считалось: до чего ребенок первым дотронется, то и определит его судьбу, принесет ему удачу. Хевсуры полагали, что, если мальчик возьмет ружье, из него выйдет хороший охотник и враг «неверных»; если кинжал или саблю — будет защитником от внутренних врагов, смельчаком; пандури — станет певцом и сочинителем *шайри*, весельчаком; возьмет хлеб — будет богатым, гостеприимным, неутомимым в работе³². Подобное «гадание» было известно и в Западной Грузии (Рача, Имерети), а также у народов Северного Кавказа³³. В Хевсурети в начале XX в. обряд стрижки волос иногда стал производиться в более раннее время — когда ребенку исполнялся год, и оба эти обряда — тавмаса-парсо и *царагши часма* — устраивали в один день³⁴.

Целая группа обрядов, выполнявшихся в горных районах Грузии семьей, где родился ребенок, была связана с почитанием местных святилищ (*джвари*). В Хевсурети были известны два подобных обряда — *сацуле* (букв. — для мальчика) и *мисамбарео* («отдача») или *джварши гаквана* («вынесение в джвари»).

Обряду *сацуле* придавалось в Хевсурети большое значение: только после него мальчик становился наравне с другими мужчинами общины «рабом» (*кма*) святилища и как следствие этого полноправным членом общины; для него выделяли часть в земельном наделе села, он поступал под покровительство *джвари*, что также считалось очень важным. День, когда выполнялся обряд *сацуле*, назывался *сацулеоба*, т. е. «праздник по случаю *сацуле*».

В этот день отец ребенка приносил в святилище ячмень и хмель для пива, готовил «дары для *сацуле*» (*сасацулео згвени*): двухлетнего бычка или барана, свечи (*сацуладо сантели*), када и хлеб. *Сацулеоба*, как правило, приурочивали к одному из календарных праздников. Так, в с. Ахиели это было Рождество, в с. Амга — канун Нового года (31 декабря). Если ребенок родился в конце ноября или в декабре, ему справляли *сацуле* на второй год, так как до исполнения 9 недель он был «нечист» и его нельзя было вносить в святилище. Хевсуры, переселившиеся из Архоти на равнину, зимой не могли прийти в *джвари*, поэтому они справляли *сацуле* летом во время праздника Атенгеноба. В этот день в святилище приносили всех мальчиков, родившихся в тот год, туда же приходили и все жители селения. Служитель *джвари* по очереди закалывал жертвенных животных и благословлял тех, кто их привел. Кровью жертвенного животного он мазал грудь и лоб ребенку, затем, раздев его, трижды подкатывал под знамя *джвари*, обращаясь к боже-ству: «...тебе отдаю этого младенца, молю тебя, благословенный, прими

²⁹ Аналогичный обычай был известен также армянам, персам. См.: *Садек Хедаят*. Нейрангистан. — Переднеазиатский этнографический сборник. — Тр. Ин-та этнографии, 1958, т. 39, с. 271; *Кананов М. В.* Народное акушерство на Кавказе. — Научн. беседы врачей Закавказск. повивальн. ин-та. Т. V. Тифлис, 1890, с. 166.

³⁰ *Сахокиа Т.* Культ мертвых у мегрел. — Материалы по этнографии Грузии. Тбилиси, 1940, т. III, с. 181 (на груз. яз.).

³¹ *Джанашиа А.* Абхазы. — Моамбе, 1897, № XI, с. 51 (на груз. яз.).

³² *Макалатия С. И.* Указ. раб., с. 193.

³³ *Смирнова Я. С.* Детский и свадебный циклы..., с. 53.

³⁴ *Габури Б.* Указ. раб., с. 130; *Камараули А. Я.* Хевсурия. Тбилиси, 1929, с. 93; *Гедорадзе Г.* Указ. раб., с. 96.

его в число своих славных рабов, вырасти, сделай его человеком доброй судьбы... Прими, молим, прикрой полой своего платья, сделай своим рабом, слугой...». После этой церемонии присутствующие благословляли родителей мальчиков, и женщины уносили детей домой. Часть пива, мяса и хлеба из святилища посылали женщинам, которые устраивали угощение в селе. Мужчины пировали в святилище, веселились, пели героические песни, затем угощение продолжалось в доме одного из месацулее — отца одного из мальчиков, над которым совершался обряд. На этом сацулеоба завершалась³⁵.

Грузинский этнограф Ж. Эриашвили, специально исследовавшая обряд сацуле, установила, что он не исполнялся в тех общинах, где существовали предания об общем происхождении проживавших там фамилий и о том, что они с самого начала являлись «рабами» объединявшего их святилища. Так, не справляли сацуле представители фамилий Чинчараули, Арабули, Гогочури, проживавшие в Самагандзурской общине: они считались «изначальными» рабами (*унджи кмеби*) Гуданского джвари. Но те же Чинчараули, переселившиеся в с. Уканахо в Гудмакари (сюда еще ранее перешли жить Циклаури и Бекаури), для того, чтобы стать «рабами» их святилища (Пудзис ангелози) и чтобы таким образом им выделили надел земли, должны были исполнить сацуле. Следовательно, в Хевсурети обряд сацуле выполняли, как правило, только пришедшие жители села, так как коренные жители и без того считались «рабами» джвари. Необходимость обряда сацуле определялась тем, что, по убеждению хевсур, покровителем села и собственником его территории являлось джвари, объединявшее все село, поэтому претендовать на эти земли мог только «раб» джвари. Приобретение этого статуса как раз и являлось целью обряда сацуле. По мнению Ж. Эриашвили, происхождение сацуле было связано с распадом родовой общины, когда в нее стали допускаться и неродственные фамилии³⁶.

Обряд *мисамбарео*, или *джвариши гаквана* в отличие от сацуле не был обязательным для всех детей. Его исполняли для ребенка от 1 года до 7 лет лишь в том случае, если он часто плакал или тяжело болел — это воспринималось как указание божества «отдать» его в джвари. Для исполнения обряда необходимы были баран, бурдюк араки, свечи и хлеб, т. е. «дары для отдачи» (*мисамбарео згвени*). Служитель джвари кровью жертвенного барана мазал ребенку грудь и лоб, трижды подкатывал голого ребенка под знамя святилища, молился божеству: «Помоги тому, кого к тебе подкатили, укрой его и в поле, и в доме, вырасти, сделай хорошим человеком, полезным отцу-матери...»³⁷. Таким образом, внешне этот обряд напоминал обряд сацуле.

По мнению В. В. Бардавелидзе, обряд сацуле в Хевсурети и близкие ему обряды в других районах Восточной Грузии (гарева, мисамбарео, берад шекенеба) представляли собой сцену усыновления ребенка божеством. Это доказывает также и то обстоятельство, что главным их моментом было подкатывание голого ребенка под знамя джвари (в данном случае знамя олицетворяло само божество) истрижение ему волос служителем святилища, что, как уже отмечалось, считалось в некоторых районах Грузии составной частью обряда усыновления³⁸. Обряды подобного рода засвидетельствованы и в Западной Грузии, например у сванов³⁹.

Рассмотрение комплекса обрядов первых лет жизни ребенка у грузин Хевсурети показывает, что они были приурочены к важнейшим, по народным представлениям, моментам жизни ребенка, отражали опре-

³⁵ Эриашвили Ж. Обряды «сацуле» и «мисамбарео» в Хевсурети. — Материалы по этнографии Грузии, 1972, т. XVI—XVII, с. 177—179 (на груз. яз.); Балиаури М. Указ. раб., с. 212—216.

³⁶ Эриашвили Ж. Сацуле. — Мацне, 1979, № 3, с. 127 (на груз. яз.).

³⁷ Эриашвили Ж. Обряды «сацуле» и «мисамбарео», с. 180.

³⁸ Бардавелидзе В. В. Земельные владения древнегрузинских святилищ. — Сов. этнография, 1949, № 1, с. 93; Эриашвили Ж. Сацуле, с. 125.

³⁹ Рухадзе Дж. А. Об одном религиозном празднике в Сванети. — Дзеглис мегобари. В. 55. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1980, с. 35 (на груз. яз.).

деленные этапы его развития — как биологического, так и социального. Часть этих обрядов можно отнести к категории возрастных обрядов, посредством которых происходило выделение определенных этапов в жизненном цикле и оформлялся переход из одной возрастной группы в другую⁴⁰. К началу XX в традиционные сроки их исполнения (в три, пять лет) не всегда соблюдались. Обряд тавмасапарсо стал совершаться главным образом, когда ребенку исполнялся год, как бы завершая период младенчества, и, таким образом, обычно совпадал с обрядом дачвенеба.

Обрядность детского цикла имела непосредственную связь с различными сторонами не только семейного, но и общественного быта. Это выражалось в активном участии широкого круга родственников, соседей, односельчан в обрядах, исполнявшихся в семье ребенка (масанахавис мотана, сацуле, тавмасапарсо). В обрядах первых лет жизни ребенка отразились и некоторые особенности социальных отношений хевсур, их патриархально-родового быта (например, наличие целой группы обрядов, выполнявшихся только по отношению к мальчикам).

Большинство рассмотренных обычаев и обрядов находилось в тесной связи с различными, главным образом дохристианскими, религиозными представлениями. Элементы христианской религии в них также присутствовали, но они были менее многочисленны и обычно сочетались с различными языческими верованиями.

⁴⁰ Кон Н. С. К проблеме возрастного символизма. — Сов. этнография, 1981, № 6, с. 100.

Е. А. Глинский, Д. А. Сергеев, Э. Е. Фрадкин

КИТ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БЕРИНГОМОРСКИХ ЭСКИМОСОВ

Образ кита в идеологических представлениях эскимосов занимал не меньшее место, чем образ мамонта у человека позднепалеолитического времени на территории Евразии.

И мамонт, и кит в равной мере давали в обилии пищу, строительный и поделочный материал. Добыча как мамонта в палеолите, так и кита в неолите оставила глубокий след в сознании человека. Повсюду на открытых стоянках и в пещерах позднепалеолитического времени обнаружены серии небольших скульптурных изображений мамонта из кости, камня и полихромные фрески.

Изображения кита также широко известны по материалам стоянок погребений эпохи позднего неолита эскимосов и по петроглифам.

Об идеологических представлениях человека эпохи позднего палеолита, связанных с мамонтом, можно судить только по археологическим данным, поэтому духовную культуру человека того времени мы воссоздаем в известной мере умозрительно. Образ кита и представления, с ним связанные, хронологически относятся к более позднему времени и довольно четко прослеживаются на протяжении нескольких тысяч лет имея непосредственную этнографическую преемственность с неолитом до наших дней. При этом история эскимосов сравнительно хорошо изучена и археологически и этнографически на территории как Чукотки так и Америки.

До недавнего времени мы имели лишь отдельные археологические этнографические и фольклорные свидетельства о месте кита в религиозных представлениях эскимосов.

Наиболее полное этнографическое описание обрядов и праздников, связанных с китом, было сделано В. Г. Богоразом¹. Подробное описание обрядов и используемых на празднике кита амулетов даны И. К. Вобловым². Находки, сделанные Р. Я. Журовым³ в 1961 г., дали вещевой этнографический материал, который вместе с амулетами, обнаруженными Д. А. Сергеевым в 1974 г., позволяет создать более полное представление об атрибутах китового праздника. Эти амулеты имеют прямые аналогии с рядом археологических памятников по обоим берегам Берингова пролива, что дает возможность проследить роль кита в идеологических представлениях эскимосов на протяжении последних двух тысяч лет.

В Американской Арктике материалы такой же давности представлены культурами Дорсет и Туле. Так, С. Гиддингс в 1941 г. при раскопках стоянки на р. Кобук на западном побережье Берингова пролива вместе с каменным и костяным инвентарем нашел небольшую (8 см длины) скульптуру кита, выполненную из моржового клыка в типичной для эскимосов манере. Она датируется 1300 г. до н. э.⁴ Х. Банди в своей фундаментальной монографии, посвященной первобытной истории эскимосов, приводит наскальное изображение из Сади Ковер (зал. Каче-мак), датируемое 800 г. до н. э., где наряду с другими животными изображены, как он считает, три кита⁵.

Семь китов и охота на них⁶ изображены также на скалах Пегтымеля (Чукотка).

В XVII—XIX вв. в связи с похолоданием климата возможности для китовой охоты сильно ухудшились. Кроме того, в XIX в. хищнически велся китобойный промысел, что привело к резкому сокращению численности китового поголовья. Однако вплоть до 60-х годов XX в. даже в восточном районе Канадской Арктики, очень бедном китами, встречается типичное для эскимосов скульптурное изображение кита.

Впервые с современной скульптурой канадских эскимосов советский зритель мог познакомиться в 1972 г. на выставке, организованной в СССР Канадским Советом по искусству эскимосов⁷. Среди материалов выставки особое внимание привлекали следующие произведения: скульптура кита № 89: 1×3, 5×1 см (выполненная около 1900 г. неизвестным мастером), скульптурная группа животных с китом-белухой № 151: 4,5×21×3 см (1914 г., мастер неизвестен), морская женщина на спине кита-нарвала № 313: 7,5×15, 5×5 см (мастер Кинук, 1968 г.).

Данных об изображениях кита в эпоху неолита в Американско-Канадской Арктике довольно мало. Это объясняется отсутствием широких целенаправленных полевых исследований на этой территории.

Вот почему наибольший интерес в плане изучения идеологических представлений эскимосов, связанных с китом, имеют материалы западного Берингоморья, где промысел кита никогда не прекращался.

Из раскопок С. И. Руденко⁸ в 1945 г. в пос. Сиреник известны три скульптурных изображения китов, выполненных в обобщенной манере и датируемых культурой пунук. К этому времени относится орнаментированная рукоятка женского ножа-уляка, найденная на побережье⁹.

¹ Богораз-Тан В. Г. Чукчи. Ч. II. Религия. Л.: Изд-во Главсевморпути СССР, 1936, с. 100—103.

² Воблов И. К. Эскимосские праздники. Сибирский этнографический сборник.— Тр. Ин-та этнографии АН СССР. Т. XVIII. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1952, с. 320—334.

³ Жуков Р. Я., Сергеев Д. А. Древние скульптурные изображения китов.— Зап. Чукотского краеведческого музея. Магадан: Кн. изд-во, 1962, в. 3, с. 21—24.

⁴ Giddings G. L. Onion Portage and Flint sites of the Kobuk river.— Arctic Anthropology, 1962, v. 1, № 1, p. 6—27, pl. 1, fig. 16.

⁵ Bandy H. G. Eskimo Prehistory. Boston, 1969, p. 96, fig. 33.

⁶ Диков Н. Н. Наскальные загадки древней Чукотки (петроглифы Пегтымеля). М.: Наука, 1971. Камень II, рис. 12; Камень III, рис. 14; Камень IV, рис. 27, 28; Камень V, рис. 60; Камень XI, рис. 99.

⁷ Sculpture Inuit. Toronto, 1971. (Полный каталог выставки).

⁸ Руденко С. И. Древняя культура Берингова моря и эскимосская проблема. М.—Л.: Наука, 1947, с. 54, табл. 29, рис. 13, 17, 18.

⁹ Там же, с. 67, табл. 38, рис. 20.

Композиционно она представляет собой орнаментированную поделку из моржового клыка с двумя головами китов, расположенными на ее противоположных сторонах.

При раскопках в 1957 г. Уэленского могильника в погр. № 3 найдено скульптурное изображение фигурки кита, вырезанное в традиционной для эскимосов манере¹⁰.

В Эквенском могильнике в древнеберингоморском погребении (№ 83—84) были найдены две схематические фигурки китов из моржового клыка. Из погр. № 15 происходит штамп в форме фигуры кита для нанесения орнамента на керамику¹¹.

Особенно интересен сходный штамп из погр. № 45¹². Все орудие украшено скульптурными зоо- и антропоморфными изображениями и древнеберингоморским орнаментом. На нерабочей стороне штампа центральное место занимает антропоморфная фигура и отдельно выполненная маска. Ручка этого предмета представляет собой голову белого медведя, на противоположном конце орудия — пасть кита. В рассматриваемой скульптуре безымянный художник подчеркивает не случайную, а преднамеренную связь морского животного с человеческой фигурой и делает это средствами полиэikonии. Середина верхней губы кита служит шей для головы-маски антропоморфного облика. Вся композиция отражает целый ряд сложившихся представлений — связь человека и зверя (медведь с человеческой головой, человеческая голова на губе кита), связь суши и моря. Не случайно связующим элементом человека и зверя здесь является шея. Шея, точнее место соединения шейных позвонков и черепа, считается у эскимосов наиболее жизненно важным местом, вместилищем души животного. С шей связано и одно из сохранившихся до наших дней названий «крылатого предмета», важного элемента охотничьего комплекса эпохи древнеберингоморья, имевшего, несомненно, культовое значение¹³.

Тема взаимного перевоплощения человека и животного, а также различных животных друг в друга впервые нашла отражение еще в искусстве позднего палеолита¹⁴.

Преобразование животного в человека и человека в животное многократно зафиксировано в мировом фольклоре. Особенно часто он встречается в эскимосских легендах и сказках.

Популярны сказки о ките, известные на побережье Берингова пролива¹⁵. Фабула их такова: к женщине, муж которой в это время отсутствовал, приплывает кит. Из его головы выходит молодой человек и становится ее любовником. Обманутый муж, узнав об этом, проследил, когда кит-человек пришел в его ярангу, и пронзил копьем сердце лежащего у берега кита. В яранге послышался крик, затем оттуда выбежал молодой человек, бросился к киту, вошел в его голову, но кит так и остался у берега. Муж-мститель созвал односельчан, кита разделали, однако человека в нем не нашли. Через 9 месяцев у женщины появился ребенок-кит. Китенка поместили в сосуд с морской водой. Мать кормила его своим молоком. Он быстро рос. Пришло время, и кита выпустили в море. Ежегодно кит-родственник приводил для пропитания людей большие стада животных, в том числе и китов, пока не был убит завистниками из другого рода.

¹⁰ Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры азиатских эскимосов. М.: Наука, 1969, с. 176, рис. 96, фиг. 2.

¹¹ Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Проблемы этнической истории Берингоморья. М.: Наука, 1975, с. 187, рис. 62, фиг. 7—8; с. 148, рис. 72, фиг. 3.

¹² Сергеев Д. А. Мотивы эскимосского фольклора в древнеберингоморской скульптуре (первые века нашей эры). — Фольклор и этнография. Л.: Наука, 1970, с. 105—133.

¹³ Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры азиатских эскимосов, с. 108; Арутюнов С. А., Крупник И. И., Членов М. А. Исторические закономерности и природная среда на примере памятников древнеэскимосской культуры. — Вести. АН СССР, 1981, № 2.

¹⁴ Фрадкин Э. Е. Полиэikonическая скульптура из верхнепалеолитической стоянки Костенки I. — Сов. этнография, 1969, № 1, с. 135—142.

¹⁵ Бабошина О. Е. Науканский кит. — В кн.: Сказки Чукотки. М., 1958, с. 164—167; Меновищев Г. А. Кит, женщиной рожденный. — В кн.: Эскимосские сказки. Магадан, 1958, с. 67—70.

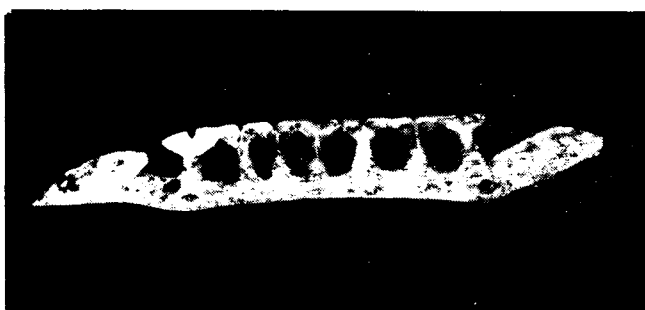


Рис. 1. Ручка ритуального ведерка (бивень моржа). Наукан, нач. XIX в.



Рис. 2. Цепочка (бивень моржа). Наукан, нач. XIX в.

О роли добычи кита в представлениях о престижности семей свидетельствуют предметы повседневного труда. Так, например, на костяных рукоятках женских ножей-уляков, как это известно по этнографическим данным и археологическим материалам, фиксировалось с помощью выступов количество добытых их мужьями китов. В погр. № 154 древнеберингоморского времени найдена рукоятка уляка с пятью выступами¹⁶ — свидетельство высокого социального престижа этой женщины.

Особым образом украшались и ручки ритуальных ведер для воды, из которых мать или жена охотника «поила» добытого кита при обряде примирения с ним. Подобная ручка ведра была найдена в Наукане в погребении начала XIX в. Она представляет собой скульптурную композицию — на одном ее конце изображен тюлень-лахтак, на другом — кит. Глаза и ноздри лахтака показаны просверленными отверстиями. Подобными же отверстиями, но несколько меньшими по размерам, обозначены глаза кита. Хвост и плавники изображены рельефно. По всей длине ручки между изображениями лахтака и кита вырезано семь китов хвостами вверх. Длина ручки 21 см, ширина 3 см, толщина 1,5 см. (рис. 1). Из ведра с такой ручкой «поили кита» пресной водой. Возможно, это объясняется тем, что киты часто заплывали в лагуны с пресной водой, в которой гибли бывшие на них кожные паразиты.

Синкретичность образа кита восходит к древнейшим пластам эскимосской мифологии¹⁷.

Вместе с ручкой была найдена одна из цепочек, вырезанная из основания моржового клыка. Этой цепочкой ручка, видимо, крепилась к ведру. Цепочка состоит из 12 звеньев. На пятом, десятом и одиннадцатом звеньях имеются углубления. Последнее звено, возможно, представляет собой изображение головы какого-то животного, так как сохранилось изображение одного глаза. Длина цепочки 42 см. (рис. 2).

¹⁶ Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Проблемы этнической истории Берингоморья, с. 128, рис. 55, фиг. 2.

¹⁷ См., например, сказку «Нунагмитский кит». — В кн.: Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки. М.: Наука, 1974, с. 104 (и комментарии к ней на с. 25, 43).

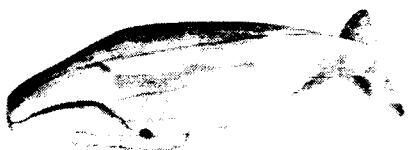


Рис. 3. Фигурка кита (бивень моржа)
из Чегитуна



Рис. 4. Фигурка кита (бивень мамонта)
из Чегитуна

Пять скульптурных фигурок китов были найдены в Чегитуне местными жителями, работниками Уэленской костерезной мастерской. Все фигурки — от 4,5 до 6 см в длину и трактованы весьма реалистично, хотя и обобщенно.

Скульптурки являются прекрасными образцами мелкой пластики эскимосов. С исключительной точностью и наблюдательностью переданы анатомические особенности строения кита: уверенно очерчена линия губ, тщательно проработаны изображения грудных и хвостового плавников. Сверху сделаны отверстия для глаз и намечены ноздри. Все фигурки снизу (брюшная часть) плоские (рис. 3).

Скульптуры в группе различаются между собой только размерами и количеством отверстий на брюхе — от двух до четырех (рис. 4).

Найденное там же изображение головы гренландского кита (16×9×4,5 см) вырезано из верхней челюсти небольшого моржа. В передней части головы двумя неглубокими насечками обозначено дыхало кита. Глазные впадины высверлены. В одной сохранилась голубая бусина. Справа и слева показаны небольшие плавники. В спине имеется также высверленное отверстие, очевидно, тоже для бусины. В хвостовой части фигурки прорезаны два пояска и два отверстия, расположенные симметрично. Фигурка, по-видимому, крепилась на какой-то держатель-шест (рис. 5).

Все эти изображения (голова кита и пять фигурок) созданы при помощи металлических инструментов. Этот факт, а также наличие бусины указывают на то, что скульптуры были изготовлены не ранее конца XVII — начала XVIII в.

В 1971 г. на южной оконечности о. Ратманова на эскимосском кладбище XVIII—XIX вв. В. П. Алексеев и Д. А. Сергеев нашли деревянную доску трапециевидной формы с барельефным изображением кита в верхней части и двумя сквозными отверстиями, размеры доски 37×25×5,5 см, размеры изображения 21×15×3,5. В глаз кита вставлена голубая бусина, спина украшена бусиной зеленого стекла. Эта инкрустация позволяет датировать предмет не ранее, чем серединой XIX в. Обратная сторона доски имеет два углубления, в одно из которых вставлен камень красного цвета (рис. 6).

Доска эта представляла собой носовую планку кожаной байдары. Она крепилась на носу байдары перед выходом на китовую охоту. Когда байдары среди местных китобоев были заменены вельботами, изображения кита рисовали по обеим сторонам носа вельбота. Любопытно, что большая зеленая бусина, укрепленная на спине кита, вставлена как раз на том месте, где голова переходит в спину, т. е. где первый шейный позвонок примыкает к черепу у затылочного отверстия. Таким образом, бусина маркирует сакральное и жизненно важное место — «вместилище души» кита. Как уже указывалось, отверстие для бусины имелось и на изображении головы кита из Чегитуна. Следовательно, этот прием, по-видимому, был в известной мере кононичным.

Недавно стал известен еще один памятник эскимосской культуры — монументальное сооружение из вкопанных в землю черепов и нижних

челюстей китов — «Китовая аллея» (пролив Сенявина, восточное побережье Чукотского полуострова)¹⁸.

Одна сторона аллеи огорожена черепами китов, расположенных группами по два и четыре черепа в каждой. Другая образована из нижних челюстей кита — «столбов» 4—5 м высотой. В центре аллеи обнаружено около 120 воронкообразных ям для кратковременного хранения мяса морских млекопитающих. Здесь же найдено «Главное святилище», сложенное из крупных валунов. От святилища в камнепаде была проложена «дорога», доходящая до центральной группы костяных «столбов».

Оценить роль и значение этого уникального памятника для изучаемых нами идеологических представлений эскимосов о ките пока невозможно, поскольку, как сообщают авторы, изучение сооружения лишь начато: датировка носит предварительный характер, а семантика остается неясной, но связь впервые открытого памятника с культом кита вполне вероятна.

Одним из важнейших обрядовых празднеств у эскимосов являлся праздник встречи «убитого кита». Как правило, он проводился в ноябре-декабре. И это было не случайно, ибо это время самое благоприятное для добычи китов. Как отмечает биолог А. Г. Томилин, «весной условия (добычи гренландских китов — *Е. Г. и др*) были менее благоприятны... Поэтому основной промысел проходил осенью, когда животные идут близ берегов... В селении Сиреники, например, в 1933 г. было убито рекордное количество китов — 6 (2 весной и 4 осенью)»¹⁹.

На этих празднествах целого кита заменяли отдельные его части: губы, ласты, кожа или его изображение из кости, моржового клыка или дерева²⁰. В частности, наличие отверстий в вышеупомянутых фигурах кита хорошо связывается с замечанием И. К. Воблова о том, что фигурки кита на празднике привязывали к углам полога²¹.

С китовым праздником, как и с промыслом, был связан ряд ограничений: Мужчине, у которого была беременна жена, участие в китовой охоте запрещалось. Перед промыслом нельзя было утреблять в пищу рыбий хвост, так как считалось, что кит в таком случае мог ударить по лодке хвостом. На охоте запрещалось показывать рукой, веслом или гарпуном в сторону кита. Нельзя было передавать орудие лова с лодки одного рода на лодку другого. Охотникам и гарпунеру, добывшим гренландского кита, запрещалось до праздника еще раз выходить на промысел и делать какую бы то ни было работу: он не мог даже забить молотком гвоздя, так как шум от ударов мог быть слышен очень далеко и дойти до слуха китов и напугать их. На праздник члены артели шли вместе. Все они были подпоясаны ремнями, сделанными из куска лinya, на котором буксировали добытого кита.

В случае нарушения кем-либо подобных правил и запретов старики вывешивали в поселке доску типа описанной выше, с изображением кита. Согласно обычному праву, это было немым укором для нарушителей. Доска убиралась, когда провинившийся публично раскаивался.

Непосредственно с китовыми праздниками и обрядами был связан культ хищного кита-касатки. Этот культ зафиксирован еще в археологических материалах древнеберингоморского времени.

Теснейшая связь существует между изображением касатки и эскимосским фольклором. Возможно, одним из первых изображений касат-

¹⁸ Арутюнов С. А., Крупник И. И., Членов М. А. Исторические закономерности и природная среда (на примере памятников древнеэскимосской культуры). — Вестник Академии наук СССР, 1981, № 2, с. 91—102.

¹⁹ Сергеев Д. А. Ранняя история азиатских эскимосов до XVII в. — В кн.: Древняя Сибирь (Макет I тома Историй Сибири). Улан-Удэ, 1964, с. 721.

²⁰ Томилин А. Г. Китовые образы. — В кн.: Звери СССР и прилегающих стран. Т. I. М., 1957, с. 49.

²¹ Воблов И. К. Указ. раб., с. 326. Журов Р. Я., Сергеев Д. А. Древние скульптурные изображения китов. — В кн.: Зап. Чукотского краеведческого музея. в. III, Магадан, 1962, с. 21—22; Арутюнов С. А., Крупник И. И., Членов М. А. Китовая аллея — древнеэскимосский культовый памятник на острове Иттыгран. — Сов. этнография, 1979, № 4, с. 21.

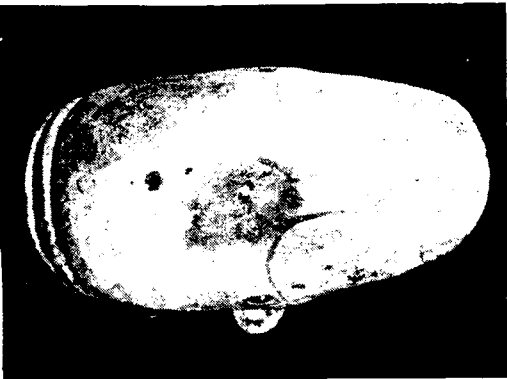


Рис. 5. Навершие в виде головы кита (из челюсти моржа). Чегитун

ки является фигура из погр. № 17 в Уэлене²². При публикации эта фигурка была атрибутирована как фигурка кита, но при более тщательном анализе мы пришли к выводу, что она представляет собой изображение касатки.

Касатка занимала особое место в пантеоне эскимосов. Эскимосы, как свидетельствует фольклор, не могли понять, куда пропадают касатки, когда море покрывается льдом. Возможно, чтобы объяснить их отсутствие, и была создана легенда о превращении касат-

ки в волка. По представлениям эскимосов, касатка и волк зимой взаимно перевоплощались.

При раскопках Эквенского могильника в погр. № 130 были найдены две пластины из моржового клыка со стилизованными изображениями касатки²³.

Изображения касатки широко известны на обоих берегах Тихого океана. Подобные изображения мы встречаем на дубинках, поплавках, в орнаментах праздничной одежды коренного населения северо-западного Тихоокеанского побережья. Кит этого вида не был объектом охоты на территории расселения тлинкитских племен. Однако почитание хищного кита-касатки и его стилизованные изображения у квакиутлей, хайда и тлинкитов приняли чрезвычайно разнообразные формы. Стилизованные изображения касатки встречались повсеместно: на тотемных столбах, фасадах домов, орудиях труда, одежде, праздничной посуде, танцевальных масках и шлемах воинов²⁴.

Не была объектом охоты касатка также и на северо-восточном берегу Тихого океана в районе расселения нивхов. Но и у них почитание касатки имело место. Таким образом, у большинства народов северных побережий Тихого океана может быть отмечен культ касатки.

У эскимосов культ касатки получил особое распространение²⁵. Зверобои считали этих животных своими покровителями, так как касатки, охотясь за китами, подгоняют их к берегу и киты становятся добычей зверобоев.

Вот почему касаток стали считать священными, неприкосновенными животными наравне с волком. Если волки нападали на оленей стада, то пастухи не только не убивали хищников, но даже не отгоняли их в твердой уверенности, что волк — это перевоплотившаяся касатка.

Недаром еще сравнительно недавно даже байдарная артель формировалась из восьми человек в соответствии с числом касаток, составляющих стаю²⁶.

Представления о ките и касатке как о священных животных дожили до начала XX в. Отражением этих представлений и являются их изображения.

Еще в начале XX в. наряду с другими праздниками китовая обряд-

²² Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Древние культуры..., рис. 96/2. На основании найденного в этом же погребении гарпуна погребение можно датировать Оквикским периодом.

²³ Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. Проблемы этнической истории Берингоморья, с. 136 рис. 61, фиг. 6—7.

²⁴ Boas F. Primitive Art. N. Y., 1955, p. 194—277.

²⁵ Сергеев Д. А. Мотивы эскимосского фольклора в древнеберингоморской скульптуре. — В кн.: Фольклор и этнография. Л.: Наука, 1970, с. 112—113, рис. 4.

²⁶ Сергеев Д. А. Этнографы-археологи на Чукотке. Л.: Изд. ВГО СССР, 1968 с. 14—16.

ность играла большую роль в жизни эскимосов²⁷. Установление Советской власти на Чукотке принесло коренные изменения в экономику края и в быт его жителей. Эти изменения привели к коренной ломке и ликвидации первобытных обычаев и верований. В качестве примера можно привести случай, который имел место еще в 1939 г. в Уреликской средней школе. Ученик Тыпыхкак при вступлении в пионеры отрезал от поясного ремня амулет с изображением

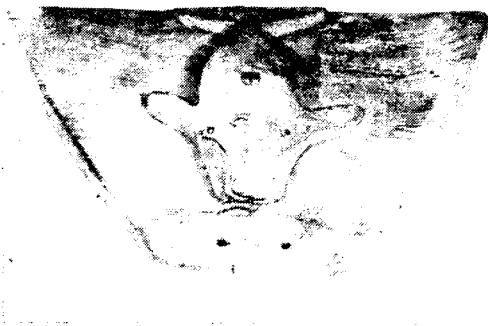


Рис. 6. Доска с изображением кита.
о. Ратманова

касатки и передал его своей учительнице К. С. Сергеевой. При этом он сказал, что пионеры носят галстуки, а не амулеты. Этот амулет представляет собой деревянную фигурку кита (11×16×2,0 см), выполненную в традиционной для эскимосов обобщенной манере. В средней части фигурка обхвачена нерпичьим ремнем, крепившимся к поясу.

На то, что амулет изображает именно касатку, указывает характерный профиль этого животного с высоким лбом и ясно различимыми зубами в раскрытой пасти. Через лобную часть проходит отверстие для ремешка (рис. 7).

Сейчас только среди людей преклонного возраста можно найти отдельных лиц, которые хотя и не исполняют религиозных ритуалов, но еще помнят о них, хранят в памяти легенды и сказки. Не случайно молодые мастера из Уэленской косторезной мастерской видели в амулетах из Чегитуна только скульптуру и не усматривали в ней религиозно-ритуального содержания. На их памяти праздники кита уже не проводились. Образ кита продолжает играть большую роль в художественных представлениях современных чукчей и эскимосов, но воспринимается в чисто эстетическом плане, без мифологизации. Так, чукча из Уэлена, известный скульптор-косторез Туккай создал глубоко реалистическую композицию, изображающую касаток, нападающих на кита. Известный советский писатель Ю. Рытхейу, также родившийся в Уэлене, написал прекрасную повесть «Когда киты уходят»²⁸. В основу повести положена легенда о ките-человеке и ките, рожденном женщиной. Как свидетельствуют приводившиеся выше археологические данные, эта легенда существует с начала нашей эры. Однако автор дал своему произведению подзаголовок — «современная легенда». Мифы и легенды азиатских эскимосов, потеряв свое религиозно-мистическое значение, в наши дни стали достоянием мировой литературы.

Подводя итоги, можно сказать, что отражение представлений о китообразных животных в духовной культуре эскимосов прошло три этапа.

Первый из них связан исключительно с касаткой, но не как с промысловым животным, а как с животным-помощником. Этот круг представлений не ограничен только эскимосским ареалом, а распространен повсюду, где имеет место охота на каких-либо морских животных. Поэтому его можно рассматривать как наиболее древний, характерный для всей северной части Тихоокеанского бассейна.

Второй пласт связан с вхождением кита в круг промысловых животных. Он более специфичен для эскимосского этноса, начиная с эпохи древнеберингоморья (рубеж н. э.), в меньшей мере для родственных эскимосам алеутов, у которых промысел кита велся очень примитивным

²⁷ Воблов И. К. Эскимосские праздники, с. 120—134.

²⁸ Рытхейу Ю. Когда киты уходят. Современная легенда. — Новый мир, 1975, № 7, с. 95—151.



Рис. 7. Амулет в форме касатки (дерево). Уредик, нач. XX в.

способом. В связи с оскудением промысловых ресурсов в более позднее время у американских эскимосов образ кита не получил большого распространения. Развитие этого образа имело место преимущественно в северо-западном Берингоморье, где в эпоху позднего пунука (XI—XII вв. н. э.) возникла высокоспециализированная культура китового промысла.

В жизни берингоморских эскимосов и части береговых чукчей охота на кита сохраняла существенную роль и в новое время, и даже по сей день. Это нашло свое отражение в разнообразных ритуалах, в различных формах искусства, а в новейшее время—в профессиональной художественной литературе, и в изобразительном искусстве. Таким образом, этот третий, позднейший пласт представлений о ките, специфичный для западных эскимосов, продолжает развиваться и поныне.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

А. И. Першиц

ПОХИЩЕНИЕ НЕВЕСТ: ПРАВИЛО ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ?

Брак и основанная на нем семья принадлежат к числу важнейших человеческих ценностей. Отсюда оживленные споры о путях совершенствования этих социальных институтств, прогнозы футурологов об их близком и отдаленном будущем. И отсюда же давний интерес к истории брака и семьи, их универсальным, общим для всего человечества, и нечастым, своеобразным формам. Развитию форм брачно-семейных отношений посвящена в своей значительной части книга Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», в которой обобщены имевшиеся в распоряжении науки конца XIX в. факты и показаны главные тенденции развития этих отношений. В ней же обращено внимание на многие из связанных с этим вопросов, оставшихся открытыми.

Немало таких не решенных до конца вопросов продолжает стоять перед учеными и сегодня. В их числе вопрос о том, в какой исторической последовательности складывались обычаи, кладущие начало браку, т. е. форма его заключения.

В наше время у всех народов развитых стран браки, как правило, заключаются по договоренности между самими полюбившими друг друга людьми. По-другому и не может быть: ведь не только в социалистическом, но и позднекапиталистическом обществе взрослые члены семьи не подчинены ее главе и располагают свободой собственных действий. Конечно, семья семье рознь — в каждой свои материальные обстоятельства, свои склады характеров и многое другое. Даже в нашем обществе можно найти такие авторитарные семьи, где молодые люди покорны родительской воле, но не эти семьи, как говорится, делают погоду.

Не то у народов некоторых развивающихся стран, с их еще сохраняющимися остатками феодальных и других архаических отношений. У них пока живы традиции патриархального семейного уклада, освященных обычаями и законами привилегий и психологического всевластия главы семьи. Здесь если не все, то уж во всяком случае большинство браков заключается по договоренности не столько между женихом и невестой, сколько между их родителями. Это и понятно: у многих из таких народов еще преобладает покупной брак, а плату за невесту вносит отец жениха.

Там, где еще жив патриархальный семейный уклад, существует обычно также еще одна форма заключения брака — похищение девушки. Девушку могут украсть, если ее семья не дает согласия на брак или если выкуп за нее слишком высок. Таким образом, похищение большей части служит как бы клапаном, регулирующим эмоциональ-

ный перегрев в обществах с деспотической структурой семьи и куплен-продажей невест. По большей части — но не всегда. Иногда понравившуюся девушку крадут против ее воли, иногда умыкают просто из молодчества.

В какой же исторической последовательности располагаются различные формы заключения брака? Ясно, что как построенная на патриархальной основе семья предшествовала современной эгалитарной, т. е. предполагающей равенство всех ее взрослых членов, так и браки по договоренности родителей, как правило, предшествовали бракам по договоренности самих женихов и невест. Но так или иначе, в обоих случаях это браки по договоренности, или, как называют их в этнографии, по сговору. Однако не предшествовали ли бракам по сговору браки похищением, умыканием? На этот счет имелись, да и сейчас еще встречаются, разные мнения¹.

Интерес к ранним формам заключения брака возник более столетия назад. И с самого начала в науке, в художественной литературе, среди всех, кого занимало прошлое человечества, господствовало убеждение, что древнейшей из таких форм было похищение невест, только позднее уступившее место открытой договорной форме. Это убеждение со временем все более укреплялось, так как доводы в его пользу не убывали, а множились. Не станем останавливаться здесь на историографии вопроса — она огромна — и перейдем сразу же к приводившимся в литературе доводам.

Первая группа доводов — сами похищения невест, известные наряду с договорными браками у множества народов мира на самых различных ступенях их развития. Чтобы не ходить далеко, вспомним свидетельство нашей начальной летописи — «Повести временных лет». Только у одних полян, пишет летописец, киевский мних, существовал настоящий брак, а у других племен брака в его понимании этого слова не было. Древляне «умыкаху у воды девиця», вятичи же, радимичи и северяне устраивали «игрища межю селы» и тут «умыкаху жены себе с нею же кто съвещашеся»². Об этих скупых строках много спорили. Одни усматривали в них указания на настоящее похищение невест как против их воли (т. е. прямой разбой), так и по уговору с ними (т. е. тоже разбой, допускавшийся, по понятиям того времени, по отношению к родне девушек). Другие считали, что летописец имел в виду лишь распространенные за пределами полянского мира символические свадебные обряды. Этот спор очень важен, и дальше мы увидим почему. Пока же отметим, что обряд обрядом, но дело, несомненно, не обходилось и без настоящих похищений с согласия или без согласия девушек. Они оставались известными на протяжении всего русского средневековья, что и заставило великого реформатора Петра I изъять дела о похищении невест из ведения духовных судов и в целях большей эффективности поручить их общим судебным местам (т. е. общегосударственным судам). Тем не менее даже в XIX в. в отдаленных губерниях России браки «уходом», «убегом», «уводом», «воровской свадьбой» были не так уже редки, и, как свидетельствует вся классическая художественная литература, являлись своего рода модой в среде гусарствующих дворян. Такая же картина наблюдалась и в соседних славянских странах. В Польше, в Чехии, в Болгарии, в Сербии — повсюду средневековые законодательные акты вынуждены были грозить похитителям невест карами и даже (как в Польше) разрешали безнаказанно убить человека, умыкнувшего девушку против ее воли.

Не будем множить примеры. Похищение девушек в той или иной форме было известно всем народам мира — от первобытных аборигенов Австралии до европейцев нового времени. Правда, не было и нет

¹ Ср., например: *Здоровета Н. І.* Нариси народної весільної обрядовості на Україні. Київ, 1974 и *Чистов К. В.* Типологические проблемы изучения восточнославянского свадебного обряда. — В кн.: Проблемы типологии в этнографии. М.: Наука, 1979.

² Повесть временных лет. М.— Л., 1950, т. 1, с. 15.

сколько-нибудь надежных доказательств преобладания похищения по сравнению со сговором. Но этому никогда не придавалось большого значения. Со времен эволюционизма один из распространенных в этнографии приемов — располагать все исторические явления от простых к более сложным, от неупорядоченных к упорядоченным. А с этой точки зрения одного факта существования умыкания в глазах многих достаточно, чтобы утверждать: похищение невест — древнейшая и некогда единственно известная форма заключения брака.

Есть, однако, и другая группа доводов, к тому же, казалось бы, куда более убедительных. Это традиционный свадебный обряд практически всех народов мира. Он заключает в себе множество так называемых антагонистических элементов — взаимно враждебных (наступательных или оборонительных) действий невесты и ее стороны и жениха и его стороны. Проявления свадебного антагонизма различны: от прямых столкновений на одних ступенях общественного развития или у одних народов до символического насилия и сопротивления на других. Но они всегда недвусмысленно выражены и хорошо известны в этнографии.

У австралийских аборигенов невеста всячески подчеркивает свое нежелание идти в приготовленную для новобрачных хижину, и жених как бы тащит ее силой. У части банту жених, даже обо всем договорившись и уплатив брачный выкуп, должен увести невесту насильно, а ее родители оказывают ему сопротивление. У ительменов, по одному из старинных сообщений, жених селится подле родителей невесты и «служит им пуще холопа», после чего просит разрешения «хватать невесту». Получив согласие, он ждет случая, чтобы напасть на девушку, так как теперь она находится под охраной всего женского населения поселка. «Ее охранительницы немилосердно бьют жениха, таскают за волосы и царапают лицо, употребляя все средства, чтобы не дать ему схватить невесту... В большинстве случаев жениху не удается добиться сразу своей цели, он предпринимает свои попытки схватить невесту неоднократно, причем проходит иногда целый год, а нередко и больше года. После каждой попытки жениху приходится некоторое время набираться сил и залечивать раны»³. У ненцев, по такому же сообщению, невеста, как только ее родители приходят к соглашению со сватами, опрометью выбегает из чума, а сваты ее ловят, хватают, бросают на нарты и отвозят к жениху.

Те же антагонистические черты встречаем мы в свадебных обрядах народов, стоящих на пороге цивилизации или даже давно его переступивших. В Спарте жениху полагалось уносить сопротивлявшуюся невесту на руках. В древнем Риме жених должен был вырвать ее из объятий матери и перенести через порог своего дома, а на простонародных, плебейских свадьбах — ворваться в дом невесты и увести ее насильно. У кельтов или по крайней мере их части свадебный обряд включал в себя церемонию сражения между свитой жениха и свитой невесты, а также церемонию бегства невесты, которую надо было догнать и схватить. О саках, этих среднеазиатских скифах, античные авторы рассказывали, что у них на свадьбе жених должен бороться с невестой. Нечто подобное сохранилось в традиционном свадебном обряде некоторых народов Средней Азии, у которых жених должен догнать скачущую верхом невесту и отобрать у нее связанного козленка или ягненка. У них же, а также у многих народов Кавказа дети, а подчас и взрослые встречали приехавших за невестой бранью, камнями и даже выстрелами, а в комнате невесты на них набрасывались женщины с ножницами, булавками и другими острыми предметами. Так, у осетин приехавшие за невестой подвергались нападению мальчишек, а у адыгов — всей молодежи селения, которая была их жердями как врагов.

Очень много антагонистических элементов в традиционном свадебном обряде восточнославянских народов. Они давно изучены этногра-

³ Крашенинников С. Описание земли Камчатки. М.: Огиз, 1948, с. 217.

фами и фольклористами⁴. Важнейшие из них: преграды перед воротами дома невесты, которые надо преодолеть или «выкупать проезд»; состязания между всадниками в стрельбе во время свадьбы; обыкновение переносить невесту через порог дома жениха; вооруженная охрана молодых в первую брачную ночь; заунывность свадебных песен вообще и песен-жалоб невесты в частности во многих областях России. Сюда же относятся и следы свадебного единоборства жениха и невесты, подобного уже упоминавшемуся у других народов: это состязание Добрыни Никитича с Настасьей Микулишной в русских былинах. Вспомним теперь споры о строках «Повести временных лет». Хотя теми, кто отстаивал обрядовую трактовку упоминаний летописи, руководили далекие от науки мотивы, а именно желание оградить славянские племена от «обвинения» в варварских обычаях; похоже что монах-летописец действительно скорее всего имел в виду не существо, а форму, стало быть, не обычаи, а обряды.

Подобные черты в свадебной обрядности народов мира заставили ученых задуматься об их истоках. Конечно, все это можно было объяснить парадоксами социальной или этнической психологии — действительной или показной стеснительностью девушек, выдаваемых замуж, демонстрацией их нежелания расставаться с родными, а родных — с ними. Что-то от таких психологических мотивов и в самом деле бывало всегда и нередко сохраняется до сих пор. Но очень уж преувеличенными выглядят описанные демонстрации. Проще и, казалось бы, логичнее было заключить, что обрядовые коллизии должны были возникнуть в условиях повсеместного и полного господства обычая похищать невесту. К этому заключению и пришли. Обычай исчез, но обряд сохранился, писал один из видных знатоков сравнительной этнографии, М. М. Ковалевский, прилагая к данному частному случаю одно из общих правил истории культуры.

Между тем вокруг вопроса об историческом соотношении форм заключения брака стало забываться нечто вроде идейной борьбы. Некоторые сторонники приоритета «воровской свадьбы» как универсального брачного института связали ее распространение с упадком первобытного коллективизма, с переходом от группового брака к индивидуальному и от матриархата к патриархату. Однако на рубеже прошлого и нынешнего столетий появилось немало противников развитой передовыми учеными теории первобытного коллективизма, которые стали искать несообразности у ее сторонников. Вообще-то их успехи были невелики, но вот в трактовке похищения невест и антагонистических элементов свадьбы они неожиданно обнаружили много противоречий и заставили взглянуть на дело по-другому. Больше всех для этого сделал автор знаменитой в свое время книги «Мистическая роза» Э. Кроули (откуда, заметим кстати, заимствованы некоторые приводимые здесь примеры).

Жизнь первобытного общества, рассуждал этот ученый, одновременно и глубоко расчленена, и недостаточно дифференцирована. Первое сказывается, в частности, в том, что мужчины и женщины, занимая разное место в системе естественного разделения труда, резко обособляются друг от друга и становятся как бы замкнутыми кастами. И действительно, современному человеку трудно себе представить, как далеко заходило подобное обособление. У мужчин были свои тайные ритуалы, мифы, подчас даже «языки», у женщин — свои; мужчины нередко жили отдельно, женщины — отдельно. Второе проявляется, в частности, в том, что все без исключения действия первобытного человека имеют для него также и религиозное значение. А поэтому они и воспринимаются как чреватые особым рода опасностями, против которых должны приниматься защитные меры, в том числе вводиться раз-

⁴ Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков, 1881; Охримович В. Значение малорусских свадебных обрядов и песен в истории эволюции семьи. — Этнографическое обозрение, 1891, № 4, 1892, № 4; Довнар-Запольский М. В. Белорусская свадьба в культурно-исторических пережитках. — Там же, 1893, № 1, 2, и др.

личные запреты, табу. Слияние обеих линий порождает запреты на любые виды общения между мужчинами и женщинами — так называемые половые табу. С этой точки зрения интимное приобщение к противоположному полу — вступление в брак — является, во-первых, изменой людям своего пола, а во-вторых, грубым нарушением табу. Как бы мы сказали современным юридическим языком, вступление в брак — источник повышенной опасности. Грозные последствия этого поступка необходимо как-то нейтрализовать. Вот этой-то цели и служит свадебный обряд якобы насильственного похищения, помогающий обмануть силы, карающие за нарушение табу, и превозмочь собственный страх перед карой за нарушение. Таким образом, похищение действительно является правилом, но это похищение не у родных, а у касты лиц другого пола: мужчиной — у женщин, женщиной — у мужчин⁵.

С этой позиции можно объяснить не только уже известные, но и не замеченные ранее или остававшиеся в стороне факты. Оказалось, что у многих народов в свадебном обряде имеются элементы, призванные нейтрализовать опасность также и для женихов. У африканцев-бечуана жених бросает в хижину нареченной стрелу. У римлян жених расчесывал волосы невесты копьем, у многих других народов ее свадебное покрывало снимают каким-нибудь острым орудием или предметом, способным испугать (в традиционной русской свадьбе нередко кнутами). Само свадебное покрывало — способ предотвратить пагубное взаимное воздействие при первых контактах, пока не будут приняты магические меры предосторожности. Мало того. Известны свадебные обряды, при которых в свадебное помещение несут или тащат не невесту, а жениха (андаманцы, зулусы) или же их обоих (многие индейские племена Южной Америки). Есть и такие, когда похищают не невесту, а жениха (в некоторых племенах тех же южноамериканских индейцев). Другое дело, что чаще все же похищают невесту и именно ее сторона является в большинстве случаев обороняющейся в свадебных коллизиях. Как-никак женщины — более слабый пол, и психологически они больше нуждаются в защитных обрядах снятия полового табу.

Разумеется, изложенное объяснение несколько абсолютизирует религиозную сторону жизни первобытного человека, сводя к ней одной все антагонистические черты свадебного обряда. Противники теории первобытного коллективизма сознательно ушли от вопроса об исторической последовательности материнского и отцовского родового строя, имеющего большое значение для понимания древнейшего прошлого человечества. На деле характер свадебных антагонизмов во многом зависел и от характера этого строя, в частности от того, где селились новобрачные, т. е. от локализации брачного поселения. Похищение именно невест, а не женихов как лейтмотив свадебной обрядности большинства народов мира связано с тем, что в свадьбе отразилось преимущественно поселение в доме мужа или его родителей, сменившее более раннее поселение в доме жены или ее родителей. По мнению части советских ученых, одно это изменение локализации брака, независимо от половых табу, стало причиной возникновения антагонистических свадебных обрядов⁶. Но так или иначе взгляд на свадебные коллизии как на доказательство приоритета и былой универсальности брака похищением оказался лишенным фактической базы.

⁵ *Crawley E. The Mystic Rose, a Study of Primitive Marriage. London, 1902, русск. пер.: Краулей Э. Мистическая роза. Исследование о первобытном браке. Спб., 1905.* Краулей не рассматривает половые табу, касающиеся добрых и внебрачных связей, что, казалось бы, несколько ослабляет его концепцию. Однако здесь надо принять во внимание своеобразие архаичной логики: вся сила стремления нейтрализовать опасность могла быть сконцентрирована на самом стабильном и длительном из нарушений половых табу — вступлении в брак.

⁶ *Казаков Е. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности. — Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. VIII. Л., 1929; Косвен М. О. Примечание 8 к кн.: Ковалевский М. Происхождение и развитие семьи и собственности. М.: Огиз, 1939; Кисляков Н. А. Семья и брак у таджиков. М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1959.*

Остались сами реальные похищения. Были ли они древнейшей и когда-либо универсальной формой заключения брака? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, как широко они были приняты в первобытном прошлом или позднее.

Во всех первобытных и даже в некоторых докапиталистических классовых обществах преобладала система так называемых предпочтительных браков, при которой выбор жениха или невесты в большой степени определялся их принадлежностью к той или иной категории родственников. Мужчины и женщины вступали в брак не с тем, с кем хотели, а с кем это было предназначено самим фактом рождения. В родо-вом обществе наибольшее распространение имели браки с дочерью брата матери или с дочерью сестры отца (крёскупенные браки). Поскольку в этих случаях брачные партнеры принадлежали к разным родам, такие браки не нарушали правила заключения браков вне рода — родовой экзогамии, а позднее экзогамии других родственных коллективов. С разложением родового строя у многих народов значительное распространение получили браки с дочерью брата отца (ортокупенные браки), так как при этом плата за невесту не выходила за пределы близкородственной группы. Существовали и другие виды предпочтительных браков: женитьба на двух сестрах, а позднее на сестре умершей жены (сорорат), брак с братом умершего мужа (левират), лю-лечное обручение, обменные браки и т. п. Система предпочтительных браков оставляла не так уже много места свободному брачному выбору, а значит, и похищению невест.

Однако так обстояло дело только в пределах своего племени или сходной общности людей. За их пределами похищение было в принципе возможно и действительно практиковалось на деле, однако лишь в дополнение к предпочтительным бракам. Племена, у которых похищение невест вытеснило заключаемые по сговору предпочтительные браки, не известны, хотя и известны племена, в которых похищение получило заметное распространение.

В основе этой практики, как чаще всего бывает, лежали экономические мотивы. До изобретения земледелия и скотоводства, обеспечивших относительно постоянные запасы пищи, человечество жило менее надежными занятиями — охотой, рыболовством, собирательством. Здесь почти все зависело от милостей природы, и к одним племенам она была милостива, а к другим нет. У тех, которые оказались в самых неблагоприятных, экстремальных условиях, пищи могло хронически не хватать, и им приходилось регулировать свои «демографические ресурсы». А поскольку в охотниче-рыболовском хозяйстве мужчины нужнее, чем женщины, в таких племенах подчас умерщвляли часть новорожденных девочек. И когда позднее ощущалась нехватка невест, их похищали в других племенах.

Причинно-следственная связь здесь не обязательно была жесткой. В силу традиции похищение невест могло сохраняться и после того, как исчезло умерщвление девочек, а оба эти обыкновения или одно из них — и после того, как племя освоило земледелие и получило более надежные источники существования. К тому же умерщвление девочек не обязательно влекло за собой похищение невест: например, американские эскимосы оставляли в живых только часть девочек, но выходили из положения, прибегая к многожеству. Однако некоторые племена все же восстанавливали «демографическое равновесие» за счет похищения невест во время военных столкновений. Одно из таких племен — яноама Южной Америки, известные своей воинственностью и частыми нападениями на соседей. Итальянский ученый Э. Бьокка написал воспоминания бразильской девушки, которая сама попала в плен к яноама, прожила среди них много лет и часто упоминает о похищенных ими женщинах⁷. И все же, как утверждают другие изучавшие это племя исследователи, преобладали в нем не грабительские, а нормальные предпочтительные браки.

⁷ Бьокка Э. Яноама. М.: Мысль, 1972.

Можно думать, что в предклассовых и раннеклассовых обществах похищение невест стало практиковаться чаще, чем в первобытности. В эпоху разложения родового строя сделалась менее жесткой, а у части народов вообще исчезла система предпочтительных браков — значит, она переставала или перестала связывать брачный выбор. Участились военные столкновения из-за начавших накапливаться богатств — значит, расширилось поле действий для насильственных похищений. Правда, в войнах и набегах чаще захватывали рабынь-наложниц, но некоторые из них становились и законными женами. А главное, на закате первобытного общества индивид впервые стал в какой-то степени освобождаться от всевластия традиций, от связывающего его мысли и поступки традиционалистского восприятия мира. Следовательно, возникли более благоприятные условия для нарушения брачных обычаев и похищения невест у их родни по соглашению между самими молодыми людьми. Есть даже сообщение, что у некоторых народов Южной Сибири — хакасов, северных алтайцев — похищение в такой форме временами преобладало над сговором⁸. Но единичное сообщение никогда не рассматривается как достоверное, а действительно надежных свидетельств преобладания в эту пору грабительских браков над договорными по-прежнему нет.

Для полноты картины нужно сказать о еще одной появившейся вместе с имущественным расслоением разновидности похищения невест — по согласованию не только между молодыми людьми, но и между родней обеих сторон. Этот, казалось бы, непонятный обычай на самом деле имел глубокий экономический смысл. Он освобождал обе стороны от части обременительных расходов, неизбежных при браке по сговору, в частности от расходов по сватовству. Такая разновидность похищения была известна, например, в средневековой Болгарии, а у некоторых народов Кавказа известна до сих пор. Внешне она не отличается от других разновидностей похищения: в одних случаях жене и невеста уходят тайком, в отсутствие родных девушки; в других — ее близкие, хотя и знают заранее о дне и часе ухода, выбегают, зовут на помощь, инсценируют неудачную погоню, а затем примирение и, наконец, устраивают скромную свадьбу. Это очень своеобразная разновидность похищения, имеющая мало общего с другими. Ее обычно называют фиктивным похищением и даже сближают с символическим похищением в свадебном обряде. Поэтому то обстоятельство, что и сейчас есть народы (скажем, адыгейцы или чеченцы), у которых такая форма заключения брака преобладает⁹, не может быть принято во внимание при оценке распространенности настоящего похищения.

Итак, правило или исключение? При решении этого вопроса лучше избегать той категоричности, с которой отвечали на него в прошлом. Похищение не могло быть древнейшей формой заключения брака, потому что сам этот институт возник как предпочтительный брак по сговору. Вместе с тем допустимо полагать, что в истории похищения невест был своего рода «пик» — эпоха предклассовых и раннеклассовых обществ, когда редкие до этого похищения без согласия или с согласия девушки участились. Участились — и вошли в предания многих народов, повествующие о захвате прекрасных пленниц и создающие иллюзию универсальности браков похищением. Но на деле вытеснить браки по сговору у сколь-нибудь широкого круга народов и в сколь-нибудь широких масштабах они не смогли. А раз так, то правомерен вывод: реальное, а не символическое или фиктивное похищение невест всегда занимало сравнительно скромное место в развитии форм заключения брака.

⁸ Старынкевич И. Д. Формы заключения брака у турецких племен Сибири и кочевников Средней Азии. — Сб. Музея антропологии и этнографии. Т. IX. Л., 1930.

⁹ Смирнова Я. С. К типологии обычаев умыкания (по материалам народов Северного и Западного Кавказа) — В кн.: Проблемы типологии в этнографии. М.: Наука, 1979.

СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. БУНАКА

С 23 по 26 февраля 1982 г. в Институте этнографии АН СССР проходила юбилейная научная сессия, посвященная 90-летию выдающегося советского антрополога, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора биологических наук, профессора Виктора Валерьяновича Бунака (1891—1979 гг.).

Имя В. В. Бунака неотделимо от отечественной антропологии. С ним связано развитие многих отраслей антропологической науки; разработанные им теоретические и методические принципы легли в основу советской антропологической школы. Имя В. В. Бунака широко известно антропологам и специалистам смежных наук как у нас в стране, так и за рубежом.

Виктор Валерьянович был инициатором гистологических, спектроскопических, физиологических, серологических, биохимических, популяционно-генетических, демографических, близнецовых, посемейных методов исследования в антропологии, инициатором введения в практику антропологических исследований антропологического фотографирования и методов вариационно-статистической обработки антропологических материалов. Он явился основоположником прикладной антропологии в нашей стране, разработав основы стандартизации для швейной и обувной отраслей легкой промышленности.

В юбилейной сессии, посвященной памяти В. В. Бунака, приняли участие сотрудники многих научных учреждений страны: Ин-та этнографии АН СССР (Москва, Ленинград), Ин-та археологии АН УССР (Киев), Ин-та искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР (Минск), Ин-та археологии и этнографии им. Валиханова АН КазССР (Алма-Ата), Ин-та истории им. Батырова АН ТуркмССР (Ашхабад), Ин-та истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР (Уфа), Ин-та истории АН ЭССР (Таллин), Ин-та Дальнего Востока АН СССР (Москва), НИИ антропологии МГУ (Москва), Ин-та судебной медицины (Москва), Ин-та гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения СССР (Москва), НИИ по биологическим испытаниям химических соединений (Москов. обл., Вильнюсского государственного университета (Вильнюс) и др.

Открывая сессию, зам. директора Ин-та этнографии АН СССР С. И. Брук показал огромное значение работ В. В. Бунака для развития всех разделов советской антропологии.

В ряде выступлений была дана всесторонняя характеристика В. В. Бунака как замечательного ученого, педагога и человека. О том, как в первой четверти XX столетия его работами закладывались основы антропологической науки в нашей стране, рассказал представитель старшего поколения Я. Я. Рогинский (НИИ антропологии МГУ), хорошо знавший В. В. Бунака. И. М. Золотарева (Ин-т этнографии, Москва) остановилась на теоретических разработках, созданных В. В. Бунаком в стенах Института этнографии. Под его руководством были предприняты не преувозможненное до сих пор исследование о происхождении гоминид и колоссальный труд по исследованию русского народа. О том, как тщательно готовил В. В. Бунак каждую экспедицию, в течение нескольких месяцев отработывая программу сбора материала, каким великолепным организатором экспедиционных изысканий он был, рассказала Г. М. Давыдова (Ин-т этнографии, Москва), работавшая с Виктором Валерьяновичем в течение последних 20 лет. О значении В. В. Бунака как организатора науки говорила Е. И. Данилова (Ин-т археологии, Киев).

Характеристика Виктора Валерьяновича как педагога, строгого и требовательного к своим ученикам, была дана в выступлении А. Г. Гаджиева (Всесоюзный заочн.

ашиностр. ин-т, Москва). Многие участники юбилейной сессии (Я. Я. Рогинский, И. М. Урысон — НИИ антропологии МГУ и др.) особо подчеркивали, что характерными чертами В. В. Бунака были смелость и новаторство; идеи ученого намного опережали его время. Все выступления свидетельствуют об огромном авторитете В. В. Бунака.

Все поколения антропологов нашей страны, представители самых разных «ветвей» антропологии в той или иной мере, прямо или косвенно учились у В. В. Бунака. Поэтому с полным правом можно связывать имя этого выдающегося ученого не только с истоками нашей антропологии, не только с ее настоящим, но также с ее будущим. Им создана единая наука, он предвидел направление естественного хода ее развития, ее «ветвления», образования новых разделов на стыке со смежными науками в едином процессе интеграции знания. Необычайная разносторонность научных интересов В. В. Бунака, во многом определившая рост «древя» антропологии в настоящем и будущем, была показана в докладах А. А. Зубова (Ин-т этнографии, Москва), М. И. Урысона, А. Г. Гаджиева, Т. И. Алексеевой (НИИ антропологии МГУ).

Тематика докладов, посвященных различным проблемам антропологии, которые были представлены на сессии, отличалась чрезвычайным разнообразием, и тем не менее их связь с фундаментальными идеями и деятельностью В. В. Бунака была совершенно очевидна.

Как известно, В. В. Бунак уделял очень много внимания развитию новых методов антропологических исследований, о чем, в частности, на сессии подробно рассказал А. И. Дубов (Ин-т этнографии, Москва). О методике антропологических исследований, обогатившейся за последние годы, говорилось в докладах, прочитанных Н. Н. Мамонтовой (Ин-т этнографии, Москва) — «Использование таблиц В. В. Бунака при разработках остеометрических материалов», В. Е. Дерябиным (НИИ антропологии МГУ) — «Построение типологии пропорций тела методом главных компонент», А. И. Дубовым — «Опыт введения новых расово-диагностических признаков в антропологических исследованиях», Ю. К. Чистовым (Ин-т этнографии, Ленинград) — «Многомерный статистический анализ линейных характеристик медиальной-сагиттальных контуров черепа», Л. П. Винниковым, И. Г. Индиченко (географический ф-т МГУ), И. М. Золотаревой, А. А. Зубовым и Г. В. Лебединской (Ин-т этнографии, Москва) — «Перспективы применения близкой стереофотограмметрии в антропологии», Л. И. Тегако, С. Ф. Мац (Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, Минск) — «Многомерный анализ сопоставления качественных признаков во внутригрупповом и межгрупповом масштабе». Эти доклады показали возросший уровень математического анализа антропологических данных, а также стремление исследователей внедрять новые методы обработки материала и вводить новые приемы антропометрии и антропоскопии (в частности, смелее применять современные фотографические методы, которые всегда были предметом особой заботы В. В. Бунака).

Во многих докладах рассматривались проблемы этнической антропологии, причем некоторые из этих докладов носили широкий, обобщающий характер. О. Исмагулов (Ин-т археологии и этнографии им. Валиханова АН КазССР) в очень обстоятельном, разностороннем докладе представил детальную антропологическую характеристику современных казахов. Н. А. Дубова (Ин-т этнографии, Москва) говорила о формировании русского населения европейского Севера. Доклад В. Д. Дяченко (Ин-т археологии АН УССР) был посвящен результатам исследования антропологического состава восточных славян в период средневековья.

В докладе С. И. Круца (Ин-т антропологии, Киев) рассказывалось о постоянно расширяющихся исследованиях украинских антропологов. Т. Чеснис (Вильнюсский ун-т) подробно остановился на краниологической характеристике населения Литвы I тысячелетия н. э. В. И. Хартанович (Ин-т этнографии, Ленинград) показал значение краниологических данных, полученных в результате применения новых, оригинальных методов статистической обработки материала для решения проблем этногенеза финноязычных народов Севера европейской части СССР.

Р. Юсупов (Ин-т истории, языка и литературы Башк. фил. АН СССР, Уфа) говорил об исследованиях поздних краниологических серий Башкирии, О. Бабак (Ин-т истории им. Батырова АН ТуркмССР) — о черепе парфянского времени из Туркмении.

Доклады по проблемам этногенеза большей частью основывались на краниологических материалах, причем отрядом отметить, что исследователи за последнее время собрали много новых данных и по-новому пытаются проанализировать весь имеющийся материал.

Интерес антропологов к краниологии выразился также в углубленных исследованиях морфологии черепа, причем большей частью в расово-морфологическом аспекте. Значительную работу в этом плане провели А. Г. Козинцев (Ин-т этнографии, Ленинград), изучивший расовую изменчивость некоторых швов лицевого скелета; М. М. Герасимова (Ин-т этнографии, Москва), показавшая необходимость пересмотреть и уточнить таксономическое значение показателей уплощенности лица; Л. Т. Яблонский (Ин-т этнографии, Москва), исследовавший соотношение лицевых отделов черепа в краниологических сериях эпохи неолита; В. Н. Звягин (НИИ Судебной медицины, Москва), разработавший систему практических приемов предсказания характеристик недостающих фрагментов черепа на основании математического анализа взаимосвязей краниологических признаков. Все эти исследования показывают, что интерес к краниологическому материалу, столь высоко ценившемуся В. В. Бунаком, не угасает.

Ряд докладов на сессии был посвящен одонтологии, в основном в плане этнической антропологии. Детальные одонтологические исследования современного населения легли в основу докладов И. А. Папrecke (Вильнюсский ун-т), Г. Г. Сарап (Ин-т истории АН ЭССР), С. П. Сегеды (Ин-т археологии АН УССР), представивших почти исчерпывающую картину вариаций одонтологических комплексов на территориях Украины и Прибалтики. В области одонтологии приток новых данных идет в настоящее время очень быстрыми темпами; все новые районы нашей страны охватываются систематическими исследованиями, приносящими ценный материал для решения проблем этногенеза.

Некоторые из прочитанных докладов можно отнести к области общего расоведения. Так, например, Г. Л. Хитъ и Н. А. Долинова (Ин-т этнографии, Москва) на основании дерматоглифических данных предложили новый вариант генеалогического древа человеческих рас, в котором монголоиды сближаются с австралоидами, а европеоиды с африканскими негроиды занимают изолированное, обособленное друг от друга и от монголо-австралоидной общности положение. Более частные вопросы расогенеза были рассмотрены в сообщении В. И. Богдановой (Ин-т этнографии, Ленинград) «Вопросы дифференциации центральноазиатской и южносибирской рас у современного населения».

По сравнению с проблемами этнической антропологии вопросы антропогенеза занимали на сессии довольно скромное место, но посвященные им доклады вызвали большой интерес у присутствующих, особенно доклад Е. И. Даниловой о продолжительности детства у неандертальцев, основанный на исследовании ископаемых фрагментов кисти руки неандертальцев в сравнении с кистью руки современного человека. Результаты этой работы имеют не только общетеоретическое, но и практическое значение для антропологии, так как позволяют уточнять возраст ископаемых гоминид. И. М. Пинчукова (Ин-т этнографии, Москва), используя данные краниотригонометрического анализа, предприняла попытку по-новому подойти к оценке систематического положения тешкиташского ребенка, до сих пор вызывающего разногласия среди антропологов. Проблем антропогенеза коснулся в докладе М. И. Урысон, подчеркнувший выдающееся значение работ В. В. Бунака для понимания ряда важных звеньев процесса эволюции человека.

Среди сообщений общетеоретического характера особое внимание привлек к себе новизной аргументации и оригинальностью выводов доклад Ю. С. Куршаковой (НИИ антропологии, МГУ) «Прогрессивная эволюция и система адаптаций». Автору удалось убедительно показать закономерность возникновения все более сложных вариантов биологической организации в процессе воспроизведения поколений. Предложен еще один плодотворный подход к объяснению прогрессивной эволюции. Сейчас этот вопрос рассматривается многими исследователями с позиций теоретической биологии, кибернетики, теории информации, неравновесной термодинамики. Нужно полагать, что будущее за комплексным решением проблемы.

Ряд докладов был посвящен вопросам физического развития, исследованию конституциональных типов, пропорций тела, т. е. традиционной антропологической тематике, плодотворно и разносторонне разрабатывавшейся в свое время В. В. Бунаком. Ю. А. Ямпольская (Ин-т гигиены детей и подростков, Москва) избрала темой своего сообщения физическое развитие и гигиену детей и подростков. В. В. Зубарева (НИИ антропологии МГУ) выступила с докладом «Предварительный анализ географической изменчивости некоторых антропологических признаков детского населения в СССР». Аспирант П. Квициння (Ин-т этнографии, Москва) связал соматологический полиморфизм с исследованиями феномена долгожительства.

Биохимические исследования в антропологии также нашли отражение в нескольких докладах. В. А. Спицын (НИИ антропологии МГУ) рассказал о проблемах биологической адаптации человека в свете данных генетического полиморфизма ряда ферментов и других белков крови. А. И. Микulich (Ин-т искусствovedения, этнографии и фольклора АН БССР) изложил результаты исследования полиморфизма эритроцитарных групп крови. И. А. Комиссарова (НИИ по биологическим испытаниям химических соединений, Москов. обл.), показала значение антропометрических показателей при оценке биохимической индивидуальности человека и прогнозе его роста и развития, подтвердив мнение В. В. Бунака, что антропометрические показатели суть выражения морфофункциональных особенностей организма.

Исследованию смешанных популяций, привлекавшему постоянное внимание В. В. Бунака, был посвящен доклад И. В. Перевозчикова (НИИ антропологии МГУ). Демографическая тематика прозвучала в докладе белорусских антропологов «Роль межнациональных браков в формировании антропологических особенностей современного населения Белоруссии» (И. И. Саливон — Ин-т искусствovedения, этнографии и фольклора АН БССР). Значение работ В. В. Бунака для исследователей смежных дисциплин было темой сообщения П. М. Кожина (Ин-т Дальнего Востока, Москва).

Прошедшая сессия показала, что труды В. В. Бунака по-прежнему остаются в центре внимания антропологов. Они не только не устаревают, но, напротив, с течением времени все более выявляется их актуальность. Об этом говорит принятое на сессии решение добиваться переиздания работ В. В. Бунака, многие из которых стали настольными книгами для ряда поколений антропологов. Высказывалось, в частности, пожелание о переиздании книги «Род Ното, его эволюция и дифференциация», вышедшей малым тиражом в сокращенном варианте.

Участники сессии пришли к единодушному мнению о необходимости регулярной организации подобных встреч антропологов один раз в три года. Следующая встреча — «Бунаковские чтения» ориентировочно намечена на 1984 г. Несомненно, полезной была бы публикация трудов прошедшей сессии, равно как и будущих «чтений».

Сессия, посвященная 90-летию В. В. Бунака, была, по всеобщему признанию, исключительно интересной и плодотворной. Она показала несомненный рост методического и теоретического уровня антропологических исследований, увеличение их тематического разнообразия при сохранении общей основы, единого фундамента, заложенного еще В. В. Бунаком.

Участники сессии с удовлетворением отметили высокий уровень научных докладов, представленных антропологами союзных республик, и широкий, разносторонний охват антропологическими исследованиями территории нашей страны.

Имя В. В. Бунака объединяет и будет объединять антропологов, его труды продолжают оставаться для всех поколений специалистов источником научных идей и ориентиром в сложном лабиринте новых направлений науки о человеке.

Г. М. Давыдова, В. К. Жомова,
А. А. Зубов, Н. И. Халдеева

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛИЗМА»

15—17 сентября 1981 г. в Бауцене (ГДР) состоялась Международная конференция «Семейные праздники в условиях социализма», организованная Международным комитетом по этнографическому изучению современности и Институтом по серболужицкому народоведению Академии наук ГДР. С докладами выступили 16 ученых НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР, СФРЮ, ЧССР.

Конференцию открыл вступительным словом М. Каспер — директор Института по серболужицкому народоведению АН ГДР, подчеркнувший, что семейные праздники в условиях социализма являются составной частью социалистического образа жизни и их следует рассматривать в связи с общими этнокультурными процессами.

Далее с докладами выступили: А. Робек (ЧССР) — «Традиции в жизни социалистической деревни в Богемии»; Ж. Б. Логашова (СССР) — «Новое и традиционное в семейной обрядности у народов СССР»; М. Шаркань (ВНР) — «Изменения в функциях сельских обрядов на примере свадьбы»; К. Квашневичева (ПНР) — «Семейные обряды в польском селе»; Д. Тодоров (НРБ) — «Современное состояние и изменения в семейных праздниках у городского населения»; М. С. Кашуба (СССР) — «Инновации в семейных обрядах у народов Югославии»; Я. Кодешабкова (ЧССР) — «Проблемы и направления изучения социалистической деревни в Богемии»; Л. М. Дробнжева (СССР) — «Отношение к свадебной обрядности в социально-демографических группах (по материалам этносоциологических исследований в СССР)»; С. Муснат (ГДР) — «Тенденции в развитии сербской свадебной обрядности»; У. Морман (ГДР) — «Свадьбы в Берлине (результаты изучения во время студенческой практики)»; П. Влахович (СФРЮ) — «Церемониальные обычаи при рождении детей в традициях и инновациях жизни сербов»; П. Сабо (ВНР) — «Новые обычаи и обрядность в сельских обществах»; Д. Братич (СФРЮ) — «Этнографические аспекты радиопередач»; Г. Грейпентраг (ГДР) — «Тенденции в семейных традициях в различных классах и слоях в деревнях Магдебургской области (1900—1960 гг.)»; Х. Хейнрих (ГДР) — «Изменения в семейных обрядах в Магдебургской деревне (1920 и 1960 гг.)».

В докладах и выступлениях отмечалось, что в семейной обрядности отражаются общие тенденции социально-экономического и этнического развития. Наблюдаемый интерес к семейным традиционным обрядам часто связан с другими этнокультурными явлениями, самосознанием народа, а также с потребностью во внутрисемейной интеграции.

Большое место в ходе обсуждения было уделено проблемам возрождения традиционных семейных обрядов и их соответствия социалистическому образу жизни. В выступлениях обращалось внимание на то, какие акции государственных и общественных организаций, направленные против устаревших традиций, гипертрофированных форм современной семейной обрядности, оказываются наиболее эффективными.

При обсуждении неоднократно высказывалось мнение о необходимости междисциплинарного подхода к обсуждаемой проблеме, в том числе сочетания этнографического, этносоциологического и психологического изучения функций семьи и семейной обрядности.

Участники конференции обменялись опытом использования различных методов исследования семейной обрядности и отношения к ней населения; в частности, говорилось о сочетании методов наблюдения, опроса, фотографирования. Большой интерес вызвал опыт фиксации процедуры заключения брака (в том числе с помощью фотографий) в загсах Берлина. Для изучения социального и возрастного состава партнеров, вступающих в брак, наличия у них детей и ряда других характеристик применялся метод интервью, которое брали студенты, работавшие во время студенческой практики в загсах Берлина. О совершенно новом методе количественно-качественного анализа радиопередач (поздравлений, приветствий), послуживших источником для изучения семейных связей и роли семейных праздников в поддержании семейной интеграции, рассказала Д. Братич.

Проблемы семейной обрядности являются составной частью более широких исследований этнокультурных процессов в социалистических странах. Участники конференции говорили о важности сравнительных исследований, которые позволяют обосновать

выводы о закономерностях этнического развития и интеграционных тенденциях. В связи с этим встает задача координации работ по изучению этнокультурных процессов в условиях социализма. Эту задачу выполняет Международный Комитет по этнографическому изучению современности. Его заседание состоялось во время конференции. Члены Комитета обменялись здесь информацией о соответствующих исследованиях, проведенных в течение двух лет, прошедших после последнего заседания Комитета в Чернигове.

В НРБ ведется изучение современных этнокультурных процессов в Родопах. Одной из главных тем программы этого исследования является изучение семьи и семейного быта. Готовится сборник статей о состоянии и развитии современных праздников в НРБ. В него войдут и статьи о семейных праздниках и обычаях. Изучаются также семья и семейный быт, современные обычаи городского населения, в том числе быт городских рабочих в Габрове. Все названные выше исследования проводятся в рамках темы «Современные культурно-бытовые процессы в Болгарии».

Венгерские этнографы разрабатывают тему «Передача этнокультурных традиций в современной деревне», а совместно с историками и социологами — круг проблем, связанных с социалистическим образом жизни. В последнем исследовании этнографы занимаются семьей, семейными обрядами, принимают участие в изучении темы «Изменения в мировоззрении человека в условиях социализма». Уделяется внимание и этнографии инонациональных малых групп в Венгрии.

В ГДР создан комплексный проект изучения современного образа жизни городского населения (ответственный исполнитель проекта — университет им. Гумбольдта в Берлине). Этнографам поручена здесь тема семьи и быта, в том числе семейных обычаев и праздников, художественной культуры в повседневной жизни людей. Этнографы Академии наук ГДР продолжали изучение Магдебургского и Мекленбургского районов. Институт серболожничего народоведения начал разработку темы «Современные этнокультурные процессы в Бауцене и сельских районах», в которую включено изучение семьи и ее роли в передаче этнокультурных традиций и ценностей. Осуществлялось новое издание Атласа. Изучались быт рабочих и народные традиции в современных условиях.

Ученые ПНР занимаются проблемами трансмиссии культуры, в том числе производственных знаний в семье. В рамках общей проблемы «Традиции и инновации в формировании современной сельской культуры в Польских Карпатах» польские этнографы изучают жилище, народную одежду, пищу, народную медицину, обрядовый годовой цикл, народную демонологию. Проблемы современной семьи исследуются в Познанском и Вроцлавском университетах.

Советские ученые в течение истекших двух лет разрабатывали темы: «Современные этнические процессы», «Развитие и сближение наций в СССР». Продолжалось всесоюзное этносоциологическое исследование «Оптимизация социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР». Особое внимание уделялось проблемам общего и национально-особенного в образе жизни народов СССР. Опубликована книга «Опыт этносоциологического исследования образа жизни (по материалам Молдавской ССР)». М.: Наука, 1981. В нее включена подтема «Семья и семейный быт (этносоциологические аспекты)».

Продолжалось комплексное изучение этнокультурных процессов у народов Поволжья, особенно в Мордовии и Чувашии. Исследовались семейные обряды у латышей и русского населения ряда районов РСФСР.

Завершилось этносоциологическое исследование современных культурно-бытовых процессов у народов Северного Кавказа, в рамках его также разрабатывалась тема семьи и семейно-бытовых отношений.

В Институте этнографии АН СССР был подготовлен специальный проект для изучения семьи у народов Средней Азии. Осуществление его начнется в текущем пятилетии.

Советские этносоциологи участвовали в осуществлении Международного европейского проекта «Направление и тенденции культурного развития. Взаимодействие культур». Одна из основных тем, входивших в него, была «Передача культуры в рамках семьи».

Ученые СФРЮ подготовили сборник «Изменения в народной жизни», в котором нашли отражение материальная культура населения, обычаи и обряды, духовная культура, включая изменения ценностей в жизни людей.

Осуществляются также проекты «Влияние больших строек на образ жизни населения», «Изменения народной культуры в деревне». Проблемы демографии сербского населения, изменения в его образе жизни — материальной и духовной культуре, в том числе художественном творчестве, должны найти завершение в будущем в обобщающей работе «Этнос и этнические процессы в Сербии».

В итоге изучения этнокультурных процессов в Словении предполагается выпустить книгу «Жизнь словенцев в XX в.».

Ученые ЧССР готовили сборник «Этнические процессы в Средней Европе», который предполагается издать в 1983 г. Подготовлены проекты и опросники по темам «Роль рабочего класса в этнических процессах», «Этнические процессы в деревне», «Этнические процессы в пограничных районах». Кроме того, будут изучаться отдельные нации в ЧССР, а также процессы этнокультурного развития у групп чехов, живущих за границей.

Словацкие ученые исследуют проблемы современного этнокультурного развития, бытования фольклора в современных условиях. Подготовлен проект исследования роли семьи в передаче этнокультурных традиций.

Заслушав информацию о работах, проведенных в отдельных странах, члены Комитета высказались за развертывание исследований современных этнических и этносоциальных процессов с широким спектром тем и их координацию по различной проблематике. Тема «Роль семьи в передаче этнокультурных традиций» будет разрабатываться по более тесно согласованной программе в рамках более крупной темы «Этнокультурные процессы в условиях социализма».

Л. М. Дробижева

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ СЕГОДНЯ»

С 24 по 28 марта 1982 г. в Вене проходил Международный симпозиум «Историческая этнография сегодня», организованный по инициативе Института этнографии Венского Университета. На симпозиуме были представлены доклады о состоянии современных исследований в области исторической этнографии в СССР, Югославии, Австрии, ФРГ, Франции, Англии, Мексике и США. Открыл симпозиум проф. В. Гиршберг — патриарх современной австрийской этнографии и основоположник исторической этнографии в Австрии, выступивший с докладом «Характер работ этноисториков в Австрии». Директор Института этнографии Венского университета К. Вернхарт (ученик Гиршберга) выступил с докладом «Этнография и история культуры в Вене».

Габриэла Вейсс (Ин-т этнографии, Вена) прочитала доклад «К разъяснению понятия исторической антропологии». С. А. Арутюнов (Ин-т этнографии, АН СССР) представил доклад, написанный в соавторстве с Ю. В. Бромлеем: «Историко-этнографические исследования в СССР». У. Браукампер (Институт Фробениуса во Франкфурте-на-Майне) выступил с докладом «Современное положение исторической этнологии в ФРГ», Р. Сучич (секретарь Посольства Австрии в СССР) — с аналогичным докладом по Югославии. Бритта Рупп-Эйзенрейх (Высшая школа общественных наук, Париж) — по Франции, И. Брода (Ин-т исторических исследований Мехико) — по Мексике, Ян Вансина (Висконсинский Университет) — по США, Ян Льюис (Лондонская школа экономики) — по Англии. Все доклады носили историографический характер. В них показывалось, что подразумевается в данной стране под «исторической этнографией» или «этноисторией», какие школы и направления в ней возникали; назывались наиболее крупные исследователи и говорилось о характере их работ; характеризовались термины, понятия и методологические основы этноисторических исследований и т. д.

Во время обсуждения докладов уточнялись оставшиеся неясными положения, касающиеся отдельных школ, исследователей или публикаций. Значительная часть работы симпозиума была посвящена общей дискуссии, в ходе которой обсуждались уже не конкретные историографические положения, а теоретические проблемы: вопросы терминологии и понятийного аппарата, т. е., что вкладывается в то или иное понятие представителями той или иной научной школы, каковы общефилософские или культурологические основания для выделения того или иного понятия и т. д.

Особенно широко был затронут в ходе дискуссии комплекс понятий этничности и этнического. Участники симпозиума проявили большой интерес к изучению проблем этнической специфики и к разработке соответствующего научного аппарата в советской этнографии.

Из западноевропейских участников серьезное внимание проблеме этноса уделил К. Вернхарт. С. А. Арутюнов выступил в этой дискуссии, разъясняя позиции советской этнографической школы.

В целом, дискуссия была очень оживленной и интересной и дала возможность подробно представить теоретические и фактологические достижения советской и мировой науки в области исторической этнографии.

С. А. Арутюнов

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФОЛЬКЛОРИСТОВ

[Кишинев, 1981 г.]

26—27 мая 1981 г. в Кишиневе состоялась Всесоюзная научно-практическая конференция «Фольклорное наследие народов СССР и его роль в художественной культуре развитого социализма», посвященная обсуждению задач советской фольклористики в свете решений XXVI съезда КПСС. Она была организована Научным советом по фольклору и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Научным советом «Культура молдавского народа» и Институтом языка и литературы АН МССР.

В работе конференции приняли участие фольклористы — филологи и музыковеды, этнографы, литературоведы, писатели и деятели культуры Москвы, Ленинграда и большинства столиц союзных и ряда автономных республик.

Для более оперативной работы конференции были заблаговременно подготовлены, напечатаны и разосланы участникам 11 основных (вводных) докладов, которые были предварительно рассмотрены и одобрены оргкомитетом¹. В докладах обосновывался современный подход к выделенным проблемам и определялось направление практической работы — научно-организационной, собирательской, экспедиционной и исследовательской. Свыше 50 специалистов получили возможность подготовиться и выступить в качестве содокладчиков-дискутантов, причем все они были заслушаны на общих заседаниях конференции. Благодаря предварительному ознакомлению с полными текстами докладов, деления аудитории на секции удалось избежать. Пожалуй, впервые в практике проведения фольклористических конференций прения стали основной частью каждого заседания. По общему мнению участников, такая организация работы оправдала себя и доказала свою эффективность, так как позволила сконцентрировать внимание выступавших на вопросах, важных для дальнейшей коллективной работы.

Директор Института языка и литературы АН МССР акад. С. С. Чиботару, открывший конференцию, подчеркнул, что она призвана способствовать действенному участию фольклористов в решении поставленных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего духовного прогресса нашего общества.

Первой на конференции обсуждалась проблема «Фольклорное наследие народов СССР как достояние новой социальной и интернациональной общности. Задачи его освоения в свете решений XXVI съезда КПСС».

В докладе В. М. Гацака (Москва) было показано, что при развитом социализме функционирование фольклорного наследия народов СССР получает качественно новый смысл и масштабы. Собрание, издание и изучение памятников фольклора обретает новую перспективу: обогащение не только национальной, но и общей культурной сокровищницы советского народа» (Л. И. Брежнев). Задача фольклористики — помочь приблизить всесоюзного читателя к национальным фольклорным шедеврам. По мнению докладчика, для этого требуется прежде всего значительно расширить двуязычное издание памятников народного творчества.

Особое значение, как подчеркнул В. М. Гацак, приобретает историческое осмысление многонационального фольклорного наследия в целом, выявление запечатленных в нем единных начал и тенденций, критика буржуазно-националистических концепций, взятых на вооружение советологами. Всем этим проблемам, сказал он, будет посвящен пятиминутный труд «Фольклорное наследие народов СССР», подготовку которого предложил осуществить в 80-е годы Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР совместно с соответствующими республиканскими институтами.

Заместитель министра культуры МССР А. П. Примак (Кишинев) отметила, что за последние годы в репертуаре самодеятельных коллективов республики (а их в Молдавии 1954 и объединяют они свыше 150 тысяч участников) значительно больше места стали занимать фольклорные произведения. В докладе подчеркивалось, что хоровые, музыкальные и хореографические коллективы должны не просто выступать с концертами, как это имело место в прошлом, но и выявлять, сохранять и популяризировать сокровища народного творчества. Существенную помощь в этой работе им должны оказывать научно-методические центры народного творчества и рекомендации ученых. Важным видом массовой работы, по мнению А. П. Примака, следует признать проведение фольклорных фестивалей, в организации которых накоплен ценный опыт сотрудничества Министерства культуры и Академии наук республики.

Г. Г. Гамзатов (Махачкала) подчеркнул, что советская фольклористика обязана быть своеобразным катализатором процесса взаимного духовного обогащения народов. Отметив достижения советской фольклористики в области публикации и перевода произведений народного творчества, а также изучения межэтнических фольклорных связей, докладчик призвал анализировать глубинные процессы жизни фольклора на уровне «молекулярной» поэтической фольклористики.

Выступавшие в прениях поддержали основные положения докладов и внесли свои предложения по дальнейшей разработке затронутых вопросов. В. П. Аникин (Москва) говорил об актуальности ряда методологических задач — в частности, критической оценки структурализма. Он указал также на необходимость принять меры по улучшению преподавания фольклора народов СССР в вузах страны и в средней школе. Х. Г. Корбу (Кишинев) отметил, что широкое взаимодействие фольклора и современной культуры следует изучать как преемственный процесс, приобретающий новые черты в наши дни. В. П. Кругляшова (Свердловск) предложила исследовать по специальной программе роль фольклора народов СССР в духовной культуре современного рабочего класса.

По мнению Б. П. Чарыярова (Ашхабад), не следует преуменьшать той роли, которую продолжают играть в ряде регионов традиционные формы бытования фольклора и его исполнители. Секретарь Союза писателей Молдавии И. К. Чобану (Кишинев) говорил о необходимости серийных изданий фольклора народов СССР: эпоса, песен, сказок и т. д. Эту мысль поддержал А. И. Баландин (Москва), подчеркнувший, что встает вопрос о новом типе издания, где фольклорные памятники разных народов будут соотнесены между собой и предстанут как часть единого общесоюзного наследия. Б. П. Кербелите (Вильнюс) на примере сказок показала актуальность изучения

¹ Фольклорное наследие народов СССР и его роль в художественной культуре развитого социализма. М., 1981. 180 с.

правственного богатства фольклора. Э. Е. Алексеев (Москва) отметил, что в условиях возросшего общественного интереса к фольклору особенно важно объединять фольклористов-словесников и музыковедов с целью комплексного изучения фольклорной традиции, издания и популяризации фольклора народов СССР.

По второй проблеме — «Состояние фольклора в современную эпоху и его роль в народной художественной культуре» — были представлены четыре доклада.

А. И. Дей (Киев) показал, что устная традиция далеко не исчерпана. Она остается важным элементом духовной жизни народа, сохраняя для фольклориста историко-художественную и историко-теоретическую ценность. Отметив, что фольклор, вовлекаясь в литературу, возвращается в массовое обращение через книгу, докладчик призвал дифференцированно оценивать «работоспособность» каждой из этих форм современного функционирования произведений народного творчества, изучать их динамику и закономерности.

В. Е. Гусев (Ленинград) выделил основные типы использования фольклора художественной самостоятельности. По мысли докладчика, изучение места и роли фольклора в художественной самостоятельности имеет большое научно-теоретическое и практическое значение для развития социалистической культуры. При исследовании процесса освоения и трансформации фольклора художественной самостоятельностью должны быть учтен и опыт, накопленный в данной области в странах социалистического содружества.

К. П. Кабашиников и А. С. Федосик (Минск) охарактеризовали современное состояние жанров традиционного фольклора, подчеркнув неоднозначность процессов, характеризующих их бытование. А. Клотынь (Рига) посвятил свой доклад теоретическому осмыслению системы современной народной культуры, предпосылкам сохранения или воспроизведения аутентичных форм традиционного фольклора.

Участники обсуждения показали, что многообразие проявлений фольклорной традиции на современном этапе ставит перед исследователями ряд специфических задач и вопросов. Так, Е. И. Шастина (Иркутск) говорила об изменениях в традиционном репертуаре русского населения Сибири в связи с разветвлением здесь строительства БАМа; В. К. Соколова (Москва) подчеркнула значение новых записей для исследования эволюции традиционного фольклора; Х. М. Халидов (Махачкала) рассказал об особенностях фольклористической работы в условиях многоязычного Дагестана; Е. В. Баранникова (Улан-Удэ) посвятила свое выступление раскрытию специфики современной сказочной традиции в Бурятии; Б. Абдуллаев (Баку) рассказал о работе по пропаганде фольклорного наследия, ведущейся в Азербайджане с помощью радио и телевидения; Г. И. Спатару (Кишинев) говорил о важности всестороннего исследования фольклорного театра. И. Мунеев (Грозный) показал, что изучение жемчужины традиции по-новому раскрывает жанр историко-героических песен в Чечено-Ингушетии. Выступление Н. М. Бешу (Кишинев) было посвящено молдавской календарно-обрядовой поэзии и влиянию на нее современного быта. А. О. Мальсагов (Грозный) рассказал о сборе и публикации фольклора вайнахов, Ш. Х. Салакаева (Сухуми) — фольклора абхазов.

Третья проблема — «Эстетическая и нравственная ценность классического фольклора для современности; фольклорное наследие и современный литературный процесс».

В докладе М. Я. Чиковани (Тбилиси) речь шла о содержании и воспитательном значении фольклорного наследия, огромной силе народного слова. У. Б. Далга (Москва) осветила современные формы воздействия фольклора на литературу. На примере произведений писателей ряда народов СССР (Р. Гамзатов, С. Наровчатова, Ч. Айтматов, Б. Шинкуба и др.) она показала, что фольклор выступает в качестве одного из формообразующих и стилизующих факторов, служит показу внутреннего мира человека. Особенности использования фольклорной традиции отражают своеобразие художника. Но есть и некоторые общие тенденции, как, например, предпочтение, оказываемое эпическим персонажам фольклора. Практика обращения к фольклору содержит и негативные примеры, когда фольклорные элементы не гармонируют с изображаемой действительностью или толкуются вопреки их исконному значению и смыслу.

В дискуссии выступили 12 человек. И. П. Березовский (Киев) говорил, в частности, о необходимости объединять усилия литературоведов и фольклористов при изучении данной проблемы, Р. Б. Бердыбаев (Алма-Ата) подчеркнул, что своеобразие развития современной казахской культуры — в одновременном развитии фольклора и литературы. П. С. Выходцев (Ленинград), полемизируя с работами Л. И. Емельянова и В. Кубилюса, отстаивал мысль о возрастающем значении фольклора для современного развития литературы. М. М. Плисецкий (Киев) отметил, что фольклор оказал значительное влияние на развитие систем литературного стихосложения. По мнению Л. И. Куруча (Кишинев), ресурсы фольклора в этом плане еще далеко не исчерпаны. А. Р. Волков (Черновцы) говорил о многообразии отражения поэтических традиций фольклора в современной советской литературе; Л. А. Бекизова (Черкесск) заметила, что проблема фольклоризма на современном этапе должна решаться на материале литературы различных регионов, а Т. Г. Леонова (Омск) связала своеобразие фольклоризма с региональными особенностями национального фольклора. В. А. Захарова (Минск) остановилась на вопросе о влиянии мемуаров на литературные произведения о Великой Отечественной войне; Е. Н. Ботезату (Кишинев) показала, что обращение к жанру плачей усиливает драматизм поэзии, а Г. Ф. Богач (Иркутск) говорил о психологизме фольклора. В. Т. Петров (Якутск) обратил внимание на необходимость сравнительного исследования поэтики фольклора и литературы.

Оживленную дискуссию вызвала проблема «Издание сводов национального фольклора как важнейшая форма освоения богатств народной устно-поэтической культуры».

Б. Н. Путилов (Ленинград) подчеркнул, что своды — это средоточие итоговых обобщений, широких разсыканий источноковедческого, текстологического и историографического порядка и исследований как частных, так и общих. Он особо остановился на необходимости учета вариативности фольклора, полноты привлечения текстов, их обоснованной источноковедческой оценки.

Призвание свода — ознакомить читателя с золотым фондом национального устно-поэтического наследия, — эта мысль акцентировалась в докладе Г. Г. Ботезату, А. С. Хынку, И. Д. Чебана и В. А. Чиримпей (Кишинев) о 17-томной серии молдавского фольклора. Издания подобного рода вызывают широкий общественный отклик и в то же время стимулируют научное изучение фольклора.

Обширный позитивный опыт, а также стремление выработать действенные и последовательные принципы работы над сводами отразились и в выступлениях по докладам. А. А. Горелов (Ленинград) говорил о специфических проблемах серии былин в издании русского фольклора; опытом работы над таджикским сводом поделились Р. Амонов (Душанбе) и И. Г. Левин (Ленинград). По мнению И. Г. Левина, нельзя считать сводом любое серийное издание, для свода требуется специальная систематизация материала. Он предложил готовить своды на единых основах, что позволит соотносить материалы разных сводов между собой. И. Сарв (Таллин) рассказала о принципах подготовки серийного издания эстонского фольклора, Р. П. Матвеева (Улан-Удэ) — о работе над многотомным изданием русского фольклора Сибири. Л. Саука (Вильнюс), характеризуя подготовку корпуса литовского фольклора, указал, что принципы свода должны определяться и спецификой материала; он акцентировал внимание на необходимости составления каталогов по всем жанрам. Ю. И. Смирнов (Москва) считает, что изданию сводов фольклора должен предшествовать нацеленный собирательский поиск. И. Н. Надиров (Казань) доложил о работе над 12-томным сводом татарского фольклора, Т. Мирзаев (Ташкент) — о публикации в Узбекистане многотомника дастанов и терма на узбекском языке и трехтомника этих произведений в переводе на русский язык.

Обсуждение проблемы «Роль фольклора во взаимообогащении национальных культур» было открыто докладом М. М. Гайдая, Н. С. Шумады, В. А. Юзвенко (Киев), в котором обобщался опыт фольклористов Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рильского АН УССР по изучению межэтнических связей в фольклоре на современном этапе. Перспектива работы, по заключению авторов доклада, — в широкоохватном наблюдении и обобщении процесса взаимодействия жанровых систем, трансформации отдельных жанров и изменения их функций и взаимосвязей (заимствование, взаимопроникновение, сотворчество) на уровне жанра, усвоения текста в оригинале благодаря билингвизму или трилингвизму, народного перевода (полного или частичного), контаминации мотивов и сюжетов т. д.

Х. Г. Королгы (Москва) говорил о необходимости учитывать во всей полноте социально-исторические факторы, обуславливающие общность фольклорных памятников неродственных народов (например, тюркоязычных и ираноязычных). Г. К. Бостан (Черновцы) рассмотрел вопрос о зональном своеобразии межэтнических взаимодействий на фоне общей типологии фольклора, А. И. Алиева — о переиздании дореволюционных записей и переводов как важном резерве включения фольклора народов СССР в общий обиход. Актуальность собирания, издания и изучения фольклора русского населения Казахстана подчеркнула М. А. Багизбаева (Алма-Ата); поэтические аспекты освоения иноязычных текстов охарактеризовала Р. А. Богомоляная (Кишинев); А. С. Романец (Черновцы) отметил традиционность спонтанных народных переводов и их корректирующее значение для теории и практики литературных переводов, подчас искажающих художественную суть фольклорных произведений.

* * *

Подводя итоги конференции, председатель Научного совета по фольклору АН СССР В. М. Гацак констатировал, что на ней выдвинуто и обосновано в качестве принципиально важного, объединяющего научного направления, изучение фольклорного наследия народов СССР как единого достояния советского народа; выявлены встающие в связи с этим новые задачи, предложены практические пути их решения.

Конференция приняла резолюцию, в которой, в частности, поддержана идея создания обобщающего коллективного труда «Фольклорное наследие народов СССР», признано необходимым расширять двязычные публикации фольклора и серийные издания разнонациональных памятников, осуществлять межреспубликанские фольклорные экспедиции для изучения взаимодействия традиций, всемерно улучшать техническое обеспечение собирательской работы. Предусмотрено также проведение рабочих симпозиумов, посвященных комплексному изучению народного творчества, систематике, текстологии и проблемам перевода фольклора, исследованию роли устно-поэтического наследия в современной духовной культуре, улучшению преподавания фольклора народов СССР.

А. И. Алиева, В. А. Чиримпей

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЛЕТАРИАТА ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ»

16—19 июня 1981 г. в Берлине состоялась конференция «Жилищные условия и образ жизни промышленного пролетариата при капитализме». Она была организована Отделом изучения истории культуры/народоведения Центрального института истории АН ГДР и приурочена к 20-летию созданной при Отделе Рабочей группы по исследованию жилищ и поселений ГДР. В работе конференции наряду с учеными ГДР участвовали этнографы из ВНР, ПНР, СССР, ЧССР.

Конференция открылась докладом председателя Рабочей группы Г. Ю. Раха, подводящим итоги ее 20-летней деятельности. Докладчик подчеркнул, что создание Группы способствовало организации охраны памятников материальной культуры и разработке принципов формирования музеев под открытым небом. Он отметил также, что до 1975 г. в ГДР изучалось преимущественно сельское жилище, и только после 1975 г. интересы этнографов постепенно стали перемещаться в город, в городскую среду. В настоящее время, по словам Г. Ю. Раха, одной из важнейших задач, стоящих перед этнографами ГДР, является изучение образа жизни пролетариата, требующее широких междисциплинарных исследований.

В докладах Н. С. Полищук (Москва) и Г. Рольса (Берлин) на конкретном материале (в первом случае на примере текстильщиков Центрально-Промышленного района России, во втором — берлинского пролетариата) была показана зависимость образа жизни рабочих от жилищных условий. Завершилось первое заседание докладом Е. Карасек (Берлин), рассказавшей о замысле, организации и оформлении выставки «Столичный пролетариат. Об образе жизни одного класса», открытой в Государственном этнографическом музее в Берлине. После доклада участники конференции ознакомились с выставкой.

На втором заседании были заслушаны доклады, главным образом об архитектуре рабочего жилища и проблемах градостроительства. В докладах В. Фольк (Берлин) и Г. Мюлля (Берлин) рассматривались различные виды жилища берлинских рабочих, их планировка, декор, функциональное использование площади, а также размещение жилых рабочих кварталов в городе с конца XVII до начала XX в. З. Кубе (Дрезден) рассказал о рабочем жилище городского предместья (на примере Дрездена), З. Бок (Шверин) — о формах заводских жилых помещений в бывшей солесварне в Шёнебеке. В докладе В. Шрёдера (Лейпциг) была сделана попытка связать анализ жилищных условий с бытом рабочих (на примере берлинского пролетариата 1870-х гг.).

На третьем заседании докладчики рассказали о типах жилища разных групп рабочих Средней и Восточной Европы. А. Нимейер (Берлин) сообщил о ранних доходных домах из бетона в Берлине, А. Филеп (Будапешт) — о жилище венгерских рабочих, М. Эбруи (Лютерштадт) — о жилищных условиях горнорабочих Мансфельда во второй половине XIX в. Доклад И. Варжеки (Прага) был посвящен рассмотрению взаимосвязей образа жизни и культуры жилища рабочих во второй половине XIX — начале XX в. на примере чешских и немецких горняков Северо-Моравского бурогольного бассейна. Особое внимание в нем было уделено этническим аспектам образа жизни рабочих.

На четвертом заседании Х. И. Науманн (Галле) рассказал (на примере г. Галле) о внешнем оформлении рабочего жилого квартала и составляющих его доходных домов (домов-казарм). К. Людвиг (Карл-Маркс-Штадт) познакомил участников конференции с некоторыми проблемами заводского жилищного строительства в бывшем округе Хемниц в 1930-е годы. Затем состоялась пешеходная экскурсия по старым рабочим кварталам Берлина, которая служила документальной иллюстрацией к докладом, посвященным жилищу берлинских рабочих.

На последнее заседание были внесены четыре доклада, два из них — о рабочем жилище: И. Шульц (Берлин) «Городское строительство и пролетариат» и Б. Май (Магдебург) «О развитии пролетарского жилища в Магдебурге». В докладе И. Балашовой (Прага) рассматривались образ жизни и жилище рабочих кирпичных заводов Чехословакии в 1900—1915 гг. К. Юнгханс (Берлин) остановился на частном вопросе об изготовлении германскими рабочими в 1930-х гг. мебели для своего жилища по готовым чертежам. По мнению большинства участников дискуссии это явление не было типичным для рабочего класса.

Подавляющее большинство докладов было хорошо проиллюстрировано картами, схемами городов и отдельных кварталов, слайдами, фотоснимками и зарисовками домов, а также их планами.

На каждом заседании 30—40 мин. отводилось на дискуссию. В ходе ее особенно подчеркивалась необходимость уделять больше внимания изучению образа жизни рабочих, и при исследовании рабочего жилища переходить от рассмотрения отдельных, частных вопросов (архитектура, планировка, интерьер) к более общим (функциональное использование жилой площади, влияние жилища на образ жизни).

Конференция показала, что изучение рабочего жилища в ГДР ведется широким фронтом, разными специалистами — этнографами, архитекторами, инженерами-строителями, сотрудниками музеев, в том числе и на открытом воздухе. Благодаря этому исследованиями охвачены различные промышленные центры ГДР.

Н. С. Полищук

С 11 мая по 2 июня 1981 г. в Москве в залах Государственного музея искусства народов Востока (ГМИНВ) экспонировалась выставка «Куклы Японии» («Нихон нингё тэн»), пользовавшаяся огромным успехом у зрителей. Выставка была организована Министерством культуры СССР, японским обществом Сока Гаккай (в первую очередь его Женским отделом) и ГМИНВ. На выставке было представлено более 800 экспонатов, подавляющее большинство которых составляли разнообразные по материалу, по форме и по происхождению куклы. Куклы — из глины и бумаги, из дерева и соломы, из ткани и папье-маше. Утонченные красавицы с фарфоровыми личиками в роскошных одеждах и с замысловатыми прическами соседствовали на выставке с деревянными куколками *кокэси* в ярких разрисованных кимоно; рядом со смешным и совсем не страшным тигром из папье-маше — деревянные птички-свистульки или сделанные то из глины, а то и просто из рисовой соломы веселые лошадки. Впервые советские зрители имели возможность познакомиться с таким разнообразием японских кукол и игрушек. Экспозицию прекрасно дополняли цветные репродукции с гравюр, на которых запечатлены моменты игр и развлечений горожан эпохи Эдо (1603—1868), а также фотографии современных мастеров, изготавливающих те или иные виды кукол. Интересно и большая цветная карта, на которой показаны основные центры производства игрушек в Японии.

С глубокой древности куклы являются важной частью японской культуры. Конечно, в разные исторические периоды им придавалось различное значение. В прошлом многие из них играли магическую роль в обрядах. Поэтому вопрос о происхождении некоторых видов кукол продолжает оставаться дискуссионным. Однако несомненно, что со временем куклы стали одним из видов игр, забав и театральных представлений. Но куклы — это не только развлечение детей и взрослых, это своеобразная отрасль декоративно-прикладного искусства, вид народного ремесла. По-прежнему куклы играют огромную роль в традиционных календарных праздниках японцев.

Экспозиция начиналась с неолитических божеств *догу* (период дзёмон, IV тысячелетие до н. э. — IV—III вв. до н. э.) и глиняных скульптур *ханива* (IV—VII вв. н. э.). В первых веках нашей эры ханива охраняли и украшали курганы древнеяпонской знати. Современные ученые и мастера-керамисты разгадали секрет изготовления ханива¹. Многократно повторенные имитации ханива стали прекрасными садово-парковыми украшениями, а их уменьшенные варианты — любимыми игрушками и сувенирами.

Скульптуры ханива сегодня можно встретить во многих парках Японии, мы видели их и в самом центре Токио, на зеленых лужайках парка Хибия. Особенно славятся производством «современных ханива» мастера о. Кюсю, а в г. Миядзакки вот уже несколько десятилетий существует единственный в своем роде парк ханива — *Ханива коэн*.

В период средневековья в Японии сложились центры, славящиеся производством различных видов кукол. Так, изготовлением деревянных куколок *кокэси* вот уже более 300 лет славится район Тохоку и особенно городок Наруго и его окрестности. *Кокэси* — самая любимая и повседневная игрушка японских девочек². Делают эти игрушки из двух брусков дерева — один подлиннее, а другой — покороче; из длинного делают туловище, а из короткого — головку, а затем расписывают куклу. *Кокэси* имеют прическу японской девочки. Каждый мастер на свой вкус создает узор кимоно *кокэси*³.

На выставке было показано 10 различных видов *кокэси*, а огромные цветные фотографии знакомили зрителей с процессом их изготовления современными мастерами из г. Наруго.

Изготовлением глиняных кукол *хаката-нингё*, представленным на выставке, издавна славятся мастера городов Фукуока и Хаката (север Кюсю). *Хаката-нингё* делаются из обожженной местной коричнево-красноватой или желтой глины, а затем расписываются яркими красками. Куклы *хаката-нингё* изображают и красавиц в роскошных кимоно, и борцов сумо, и девочек в нарядных праздничных одеждах.

Особый раздел выставки был посвящен кулкам *ояма-нингё* («куклы, изображающие актеров театра Кабуки, играющих женские роли»). Их очаровательные головки воспроизводят облик наиболее прославленных красавиц из пьес театра Кабуки. С большим вкусом выполнены их наряды, сшитые из дорогой парчи и шелка. Каждая кукла как бы застыла в изящной позе, в руках веер или зонтик, в высокие замысловатых прическах трепещут украшения из серебряных шпилек, разноцветных нитей, искусственных цветов. Древним центром создания деревянных кукол, одетых в богатые кимоно (*камо-нингё*, *камогава-нингё*, *кимэкоми-нингё*), был и остается до наших дней город Киото.

Начиная с XVII в. производством глиняных кукол и игрушек *фусими* — *нингё* славится район Кансай, а изготовлением кукол из папье-маше — мастера префектуры Аити и окрестностей Токио. Эти куклы были показаны на выставке. Среди этих ярких и веселых игрушек — добродушные тигры, изображения женщины с ребенком за спиной, мальчиков, плывущих на карде, лошадок, обезьянок, драконов, рыбок, петухов и уток.

Внимание зрителей привлекли глиняные куклы из Нагасаки, изображающие европейцев⁴. Вот священник в темном облачении; чиновники в камзолах, в светлых чулках, в

¹ Кофун то ханива (Древние курганы и ханива). Токио, 1978, с. 134—135 (на японском языке).

² Коломиец А. Кокэси и Тако. М.: Детская литература, 1974, с. 5.

³ Подробнее о куклах *кокэси* см.: Винкельхофер Я. и В. Сто взглядов на Японию. М.: Наука, 1968, с. 83.

⁴ Навлицкая Г. Б. Нагасаки. М.: Наука, 1979, с. 80, 81.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
Общество „Сока Ганкай“
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИСКУССТВА НАРОДОВ ВОСТОКА

КУКЛЫ ЯПОНИИ



日本人形展

черных туфлях на каблуке, в непривычных японскому глазу шляпах; дамы в широких юбках и пестрых приталенных кофтах со множеством пуговиц. Такими видели жители Нагасаки в XVI—XVIII вв. европейцев и такими они сохранили их облик в куклах *кога*, выполненных с большой долей юмора и гротеска.

Многие виды кукол и игрушек в Японии до сих пор связаны с традиционными и календарными праздниками. Поэтому не случайно устроители выставки отвели важное место куклам и игрушкам, предназначенным, например, для Праздника девочек, отмечаемого в наши дни 3 марта (по традиционному календарю — 3 числа 3 месяца), и для Праздника мальчиков, отмечаемого 5 мая (по традиционному календарю — 5 числа 5 месяца).

В центре зала была установлена семиступенчатая полочка, покрытая красной тканью. На ней были выставлены куклы *хина*, которыми японские девочки играют только во время своего праздника. Поэтому этот веселый праздник и называется *Хина-мацури* («Праздник кукол»). По мнению Нага Хидэо, Хина-мацури сложился еще в период Хэйан⁵. Однако наибольший расцвет он получил в эпоху Эдо, когда был включен в число пяти основных праздничных дней, отмечавшихся при дворе сёгуна⁶. Еще 100 лет назад праздник отмечался 3-го числа 3 месяца. Куклы хина, которыми девочки играют во время этого торжества, по окончании праздника убираются и хранятся в течение целого года до следующей весны. Куклы хина бывают большими, одетыми в нарядные кимоно, и совсем маленькими, сделанными из глины, бумаги или дерева. Высказываются предположения, что происхождение кукол хина восходит к древнему обряду, некогда выполнявшемуся 3-го числа 3 месяца. В этот день из белой бумаги вырезали куколок, напоминавших фигурки священников в белых одеждах; этими бумажными куклами протирали тело, а затем, написав на них пол и год рождения совершавшего обряд человека, бросали их в воду. Считалось, что таким образом можно освободиться от всех грехов, совершенных в течение года. В период средневековья существовала также традиция устраивать 3-го числа 3 месяца петушиные бои для мужчин и

⁵ *Naga Hideo, Japanese Festivals. Tokyo, 1979, p. 23.*

⁶ *Бекон А. Женщина в Японии. Пер. с англ. СПб., 1904, с. 337.*

праздник кукол для женщин. Куклы, которыми играли в этот день, назывались *о-хина-сама*. Причем одно из значений слова *хина* — «цыпленок», возможно, восходит к петушным боям, некогда проводившимся одновременно с праздником кукол⁷.

Другое название праздника девочек — *момо-но мацури* («праздник персиков») отражает некогда существовавший обычай японцев украшать в этот день свои жилища цветущими ветвями персикового дерева⁸.

Как только в доме рождается девочка, в первый же в ее жизни праздник Хина-мацури для нее устраивают полочку с куклами-хина. Самый скромный набор кукол хина состоит из двух кукол-супругов. Когда девушка выходит замуж, она забирает кукол с собой и до рождения дочери устраивает этот праздник сама. Куклы хина передаются по наследству, и иногда набор кукол и предметов, связанных с ними, собираются в течение нескольких поколений.

На выставке был показан классический набор хина, который состоит из 15 кукол. На самой верхней полочке помещаются куклы, изображающие императора и императрицу. Около них две вазы с букетами цветов. На следующих полочках три фрейлины, пять музыкантов (среди которых флейтист, барабанички, играющие на большом, среднем и маленьком барабанах, и певцы), два вассала и три стражника. На нижних полочках миниатюрные игрушки, изображающие фонари, лакированные столики, разнообразную утварь, паланкины, оружие, латы. В знатных и богатых домах, как об этом еще в конце XIX в. писала американская исследовательница Алиса Бекон, в домах, где хина собирались в течение не одного столетия, было несколько наборов кукол, соответствовавших различным историческим периодам. «Император и императрица различных эпох появлялись в нескольких изображениях, так же как и пять современных им музыкантов и крошечная мебель, и утварь были удивительно красивы и ценны», — писала А. Бекон⁹.

А вот перед нами в витрине плетеные из рисовой соломы круглые плоские корзиночки с бумажными куколками в них. Эти куклы называются *нагасибина* — «плывущие куклы». Нагасибина также связаны с Праздником девочек, с уникальным обычаем, который до наших дней сохранился в префектуре Тоттори. Во время праздника Хина-мацури в г. Кураси (преф. Тоттори) устраивается ярмарка кукол (*хинаити*). На этой красочной ярмарке представляют свои изделия кукольных дел мастера. На этой ярмарке продаются и связки бумажных кукол. Их покупают девочкам. Развязав нитку, каждая девочка разбирает кукол по парам, а затем одну пару кладет в маленькую плетеную корзиночку — вместе с цветами персикового дерева и рисовыми лепешками. Эти корзиночки с бумажными куклами хина сначала устанавливают на праздничную полочку для кукол, а по окончании праздника их опускают на воду, чтобы они уплыли вниз по реке¹⁰.

Во время работы выставки «Куклы Японии» у входа в музей на высоких шестах развешались огромные изображения карпов. Такими праздничными шестами в Японии обычно украшают дома, где есть сыновья, в день Праздника мальчиков — *Танго-но сэкку* (который сейчас отмечается 5 мая). Карп за свое умение плыть против течения с незапамятных времен почитается народами Восточной Азии как символ мужества, стойкости, умения преодолевать все препятствия, способности противостоять невзгодам, т. е. таких черт и свойств характера, которые родители непременно хотят воспитать в своих сыновьях. Сыновьям также устраивают полочки с игрушками, среди которых обязательно фигурки известных героев древностей, игрушечные оседланные лошадки, миниатюрные рыцарские латы. Одна такая полочка была показана на выставке.

В последние годы в Японии день 5 мая считается Праздником детей, но по-прежнему он наиболее торжественно справляется для сыновей. Другое название праздника — *Сёбу-но сэкку* («Праздник ирисов») связано с древним обычаем украшать в этот день жилища ирисами. С ирисами связаны различные игры и приметы¹¹.

Во время Праздника мальчиков, а также в новогодние праздники любимым занятием ребят бывает запуск воздушных змеев (*тако*). На выставке было показано не мало этих красочных игрушек. С праздником Нового года связаны также ракетки (*ха-кошта*) для игры девочек в волан, экспонировавшиеся в залах музея. До сих пор сохраняется традиция дарить на Новый год такие красивые ракетки родителям, у которых родилась дочь. Накануне Нового года японцы покупают и дарят друг другу игрушку *дарума*, с которой связано много добрых пожеланий¹².

В одной из витрин выставки мы увидели несколько раковин (а вернее, несколько створок раковин), внутренняя поверхность которых была расписана разноцветными красками. Впервые большую коллекцию раскрашенных раковин нам довелось увидеть в ноябре 1980 г. в Музее культуры, искусства и быта XVI—XVII вв. в г. Кумамото (о. Кюсю), в музее, залы которого разместились на нескольких этажах старинного замка *Кумамото дзё*¹³. Среди картин на раковинах были пейзажи, бытовые сценки; росписи

⁷ Там же.

⁸ *Фельдман Н. И.* Японские праздники. — Сов. этнография, 1972, № 1, с. 158.

⁹ *Бекон А.* Указ. раб., с. 31—32.

¹⁰ *Naga Hideo.* Ibid., p. 26.

¹¹ *Фельдман Н. И.* Указ. раб., с. 159, 160.

¹² *Кодомиц А.* Указ. раб., с. 21; *Арутюнов С. А.* Три матрешки. — Вокруг света, 1980, с. 56—59. С. А. Арутюнов полагает, что именно дарума стала прообразом русской матрешки.

¹³ Замок Кумамото дзё был основан в 1607 г., в 1877 г. был сильно поврежден во время пожара. В 1960 г. полностью восстановлен. В замке расположен музей. С верхнего этажа открывается великолепный вид на город. На территории замка разбит парк.

многих раковин украшалась позолотой. Думается, что живопись на створках раковин — очень своеобразный и даже в известной мере уникальный вид декоративно-прикладного искусства Японии, пока еще мало известный у нас.

Интересны современные (XX в.) игрушки айнов из нераскрашенного дерева: супружеская пара *ни-по-по*, птицы с фантастическим оперением, различные куколки. Почти всей айнской игрушки украшены пучками стружки. Очевидно, этот прием восходит к айнским *инау* — ритуальным предметам из дерева. Запомнились также соломенные дошадки из префектуры Ниигата, деревянные куклы *кага* из префектуры Исикава.

Украшением выставки были куклы знаменитого театра Бунраку (г. Осака). Особенно хочется отметить выполненные современными мастерами многофигурные композиции из бумаги на тему наиболее любимых народом праздников: летний праздник *танабата*, торжества *о-бон*, осеннее любованье луной, зимние развлечения *камакура*.

Яркая, красочная выставка «Куклы Японии» расширила наше представление о декоративно-прикладном искусстве японского народа, о его быте, культуре и традициях.

Р. Ш. Джарылгасинова

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

Мышкинский районный краеведческий музей последние 8 лет ежегодно организует экспедиции в Ярославскую, Кировскую, Костромскую и Вологодскую области. Цель экспедиций — сбор материалов по крестьянскому быту.

В экспедициях обычно участвует 10—15 человек. Руководит экспедицией кто-нибудь из районного отдела народного образования или спортивно-технического клуба ДОСААФ. Основная работа осуществляется силами учащихся средней школы.

В 1981 г. экспедиционная работа велась в Галичском и Солигаличском районах Костромской области. В Галичском районе обследовались селения по рекам Ноля и Шача. Участники экспедиции обошли около 30 деревень, расположенных вокруг пос. Ноля и дер. Польское (некоторые из обследованных деревень находились в Буйском районе).

В этих селах было собрано более 40 предметов старого крестьянского быта, в том числе разные кованые изделия, среди которых — напольный светец с металлическим плоским кругом в основании и с двумя «ветвями». Стержень светца крученный, завершение ветвей ярославского типа (рогульки). Поскольку светец невысок (1,1 м), то его можно было ставить и на лавку.

Среди орудий труда особый интерес представляет деревянный плуг из дер. Козино, имеющий лишь три железных элемента: нож, сошник, винт.

Из плетных вещей следует отметить пестерь — заплочный берестяной кошель с

холщевыми ляжками. Он найден в дер. Ромашково.

Поиски бытовых предметов, украшенных росписью, не дали ожидаемых результатов. На немногочисленных расписных изделиях, выявленных участниками экспедиции, рисунок был нанесен главным образом с помощью трафаретов. Лишь однажды встретились суденка с дверцами, украшенными кистевой росписью без использования трафарета. Это дало нам основания полагать, что кистевая роспись не имела здесь такого распространения, как в Вологодской и Кировской областях, где она встречается довольно часто.

Также малоуспешными оказались и поиски изделий, сплетенных из прутьев. Хлебницы, набирушки, грибные корзинки, плетюги (большие санные корзинки), встречающиеся в Галичском районе, выполнены в простой и грубоватой манере. Аналогичные предметы, изготовленные в Ярославской и Вологодской областях, отличаются более тонкой работой. Малоформатных изделий из прута, таких, как солонки, корзиночки для пуговиц, детские корзиночки, мы здесь не встретили.

Особое внимание было уделено сбору прялок. На обследованной территории встречаются два их типа: «башенки» и «фонари». Традиционными являются «башенки». Это костромской вариант известного ярославского типа, с лопастью несколько иных пропорций и со стойкой-башенкой из вынутых, напряженных столбиков-колонок. Встречается этот тип прялок уже довольно редко (так, на 20 «фонарей» пришлось всего четыре «башенки»).

«Фонарь» отличается от «башенки» тем, что на его стойке вместо сквозных оконцев сделаны яруса мелких ниш, в которых под стеклом закреплены различные «картинки», в том числе фотографии родных и близких, фантики от конфет, кусочки материи, обоев, обертки (красивые упаковки каких-либо товаров).

Опрос жителей позволяет сделать вывод, что прялки-фонари появились здесь не ранее 80—90-х годов XIX в. Бытуют они на ограниченной территории, в соседних районах уже не встречаются.

В Солигаличском районе основное внимание было уделено знакомству с местными образцами прялок. Поиск вели в восточной (с. Судай) и в западной (с. Нижний Березовец) частях района. Было обнаружено более 70 прялок, приобретено для музея 15.

Солигаличская прялка — переходный тип от ярославско-костромского к вологодскому. Просматриваются как бы два «слоя» солигаличских прялок. Прялки первой группы (80—90-е годы) изящные, второй (начала XX в.) — грубоватые, теряющие своеобразный местный характер.

Материалы, собранные экспедицией, обогащают сложившееся представление о традиционной обработке дерева и металла в обследованных районах и дополняют экспозицию по этой теме, имеющуюся в музее.

В. Гречухин

* * *

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Ростовского областного музея краеведения в июле — августе 1981 г. силами сотрудников музея и студентов исторического факультета Ростовского государственного ун-та велись полевые исследования в Тарасовском и Вешенском районах области. В Вешенском районе работало пять сотрудников музея и три студента, в Тарасовском — пять сотрудников и два студента. Цель экспедиции — сбор материала по истории материальной культуры и быту сельского населения Дона (казаков и иногородних), конца XIX — первой половины XX в.

В Вешенском районе были обследованы станица Вешенская, хутора Антиповский, Пигаревский, Терновской, Кружилинский, Меркуловский; в Тарасовском — с. Дячкино (бывшая слобода Дячкино), хутора Мокрая Таловка, Атаманский, Каюков.

Члены экспедиции собрали материал по истории заселения, занятиям, ремеслам казаков и иногородних, записали также обряды и отдельные сведения об общественном быте.

Основными занятиями казаков были земледелие и скотоводство, а также садоводство и огородничество. В придонских хуторах большую роль играло рыболовство. Иногородние, не имевшие, как правило, земли, работали по найму и занимались ремеслами (портняжное, сапожное, кузнечное и т. д.).

Среди казаков было распространено искусство плетения из лозы, изготовления изделий из дерева (орудия труда, режущая посуда, кровати и т. д.); казачки занимались ткачеством, вышиванием, плетением кружев.

Экспедицией были приобретены прялки, донца, гребни, ткацкий станок, ярмо для быков, ручная мельница «крупорушка», предметы домашнего обихода, в том числе керамика, плетеные изделия. В Вешенском районе был выявлен центр гончарного производства — хут. Меркуловский. «Меркуловская» глиняная посуда: махотки, кувшины, бальсаны (бочкообразный сосуд для воды), глечики — встречались во всех обследованных пунктах района.

В Дячкино, Атаманский, Каюков керамика, по словам информаторов, поступала из слобод Красновка и Рашковка.

В Дячкино, заселенном в прошлом украинцами, была собрана коллекция кружевных изделий — подзоров, накидок, занавесок, кружев на полотенца.

В Мокрой Таловке и Дячкино были куплены домотканые половики, скатерть, рушники, верхняя одежда иногороднего крестьянина. В казацких хуторах — Атаманском и Каюкове — кружевные косынки, шали, донская запашная шуба, а также расшитый яркими нитками «колпак» — головной убор замужней казачки. Покупные предметы — фарфоровая и фаянсовая посуда, мебель — занимали видное место в быту. Часто они попадали в дом в качестве приданого или свадебного подарка. Свадебные сундуки, например, заказывались или покупались зажиточными казаками в Ростове, Тифлисе, Польше.

Члены экспедиции зафиксировали свадебные и похоронные обряды казаков и иногородних, легенды о колдунах, собрали сведения о знахарстве, о проводах казаков на службу.

В хут. Атаманском были записаны легенды о находящемся вблизи «святом колоде», а также обряды, совершавшиеся здесь.

Все материалы экспедиции после обработки поступят в фонды и научный архив Ростовского областного музея краеведения.

С. В. Черницын



КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Семейная обрядность народов Сибири. Опыт сравнительного изучения. М.: Наука, 1980. 240 с.

Появление сводных и обобщающих работ — всегда событие в науке. В этом отношении выход книги «Семейная обрядность народов Сибири», подводящей итоги изучения двух важнейших обрядов жизненного цикла — свадебного и погребального — у подавляющего большинства сибирских народов, особенно примечателен, так как в ней материал обобщается на трех уровнях исследования. Во-первых, в каждой статье суммируется опыт изучения соответствующей обрядности у того или иного народа, начиная с первых известий ученых-путешественников XVIII в. и кончая современными полевыми материалами самих авторов; во-вторых, оба раздела книги — «Свадебная обрядность» и «Похоронная обрядность» — завершаются краткими заключениями, в которых подводятся итог сравнительного анализа материала, представленного в отдельных статьях; в-третьих, в конце каждого раздела имеются таблицы и карты, призванные выразить наиболее высокую степень обобщения и систематизации конкретного материала.

Статьи книги написаны известными этнографами-сибироведами, ведущими на протяжении многих лет постоянные полевые исследования: Е. А. Алексеевко, С. И. Вайнштейном, Г. Н. Грачевой, И. С. Гурвичем, В. П. Дьяконовой, М. Я. Жорницкой, Ю. Б. Симченко, А. В. Смоляк, З. П. Соколовой, В. А. Туголуковым, Л. В. Хомич и др. Обогащение сводных статей по свадебной и похоронной обрядности собственными полевыми материалами и наблюдениями исключительно ценно не только тем, что вводит в науку новые данные, дополняющие или уточняющие сведения предшественников, но и тем, что позволяет показать развитие обрядовой культуры на протяжении 100, а иногда и более лет. Публикуемый впервые полевой материал безусловно создает авторам репутацию первооткрывателей в изучении ряда явлений духовной культуры народов Сибири.

Краткие, но чрезвычайно информативные конкретные статьи по семейной обрядности сибирских народов, написанные по определенной схеме, дополняются двумя приложениями: в одном из них (автор Е. И. Ромбандеева) характеризуются различные стороны мировоззрения сыгвинских манси с точки зрения представителя этой этнографической группы (взгляды на жизнь и смерть, идеи о перерождении душ, связи между миром живых и миром мертвых, отношение к умершему и т. п.), в другом (автор В. В. Леонтьев) — описываются некоторые особенности способа погребения у кереков.

Авторы, несмотря на неизбежную сжатость изложения, сумели раскрыть основные представления сибирских народов, связанные с жизненным циклом. Сосредоточенные прежде всего на описании семейной обрядности, они приводят, кроме того, немало полезных сведений и для специалистов, изучающих иные области культуры; это относится к материалам о функции и роли шаманов, о магическом и символическом значении волос (наиболее подробно описаны обрядовые действия с волосами у хантов и манси в статьях З. П. Соколовой и Е. И. Ромбандеевой), о душе как особой жизненной силе, о мире мертвых как зеркальном отражении мира живых и др.

«Присутствие» свадебных элементов в погребальном обряде, уже упоминавшиеся представления о загробном мире позволяют увидеть, сколь условна и непрочна граница между жизнью и смертью в сознании сибирских народов, ибо смерть мыслится как жизнь в иной форме существования.

В результате изучения и сравнения видов семейной, особенно погребальной, обрядности в книге реконструируются древнейшие способы захоронения на территории Сибири + делается вывод, имеющий, независимо от того, как к нему относиться, важное значение.

для будущих этногенетических исследований, а именно: о связи основных традиционных типов погребения с природными условиями, а подтипов погребений и деталей обряда — с этническими особенностями (с. 229).

Подробное освещение свадебной и похоронной обрядности у большинства сибирских народов составляет фундаментальную основу для дальнейшего сравнительного изучения и обобщения. Опыт подобной работы представлен в данной книге, как уже было отмечено, в виде кратких заключений и, что ново, в виде карто-схем распространения определенной обрядности. Тем самым положено начало практическому осуществлению исследований духовной культуры методом картографирования, который становится одним из основных методов современной этнографии. Необходимость его применения неоднократно обсуждалась на теоретическом уровне¹. Приступая к решению своей задачи, авторы понимали ее трудность: с одной стороны, неравномерное и недостаточное освещение материала по разным народам Сибири, с другой — неразработанность общей методики картографирования элементов духовной культуры. И все же появление данной работы в известной степени было подготовлено изданием ряда обобщающих трудов, упомянутых во «Введении». Это прежде всего историко-этнографические атласы, в которых зафиксированы элементы материальной культуры и выявлены ареалы их распространения², а также работы, где рассматриваются отдельные элементы материальной и духовной культуры народов Сибири³. Нельзя не назвать и книгу Н. А. Кислякова, в которой обобщен ценный опыт классификации важнейших этапов свадебного обряда, и ряд публикаций, посвященных картографированию отдельных элементов обрядовой культуры⁴. Кроме того, в рецензируемой книге были учтены общие установки и положения, выработанные в ходе обсуждения проблем и методов ареальных исследований на специальных конференциях⁵. И все-таки в конкретном воплощении поставленных задач по картографированию элементов свадебной и похоронной обрядности у авторов книги не было предшественников ни в советской, ни в зарубежной этнографии, кроме не вполне удачных попыток создания отдельных карт, фиксирующих разрозненные элементы свадебного обряда в австрийском и немецком атласах⁶. Ясно, что работа, в которой на сибирском материале впервые реализуются принципы систематизации и картографирования элементов духовной культуры, вызовет интерес не только специалистов-сибиреведов. Открывая новый этап в сравнительно-типологических исследованиях, она приобретает важное методологическое значение для последующих трудов в этой области. Поэтому необходимо всесторонне обсудить принципы и методы картографической обработки сибирского материала, чтобы показать, в какой мере возможно применение их к другим этнографическим данным и каков вклад рецензируемой книги в теоретический фонд ареальных исследований в целом. Это тем более важно, что публикуются все новые

¹ Брук С. И. Историко-этнографическое картографирование и его современные проблемы.— Сов. этнография, 1973, № 3; *его же*. Этнологический атлас Европы и сопредельных стран.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, 1977, с. 6—21; Рабинович М. Г. К методике этнографического картографирования.— В кн.: Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, 1974, с. 63—68; Чистов К. В. Проблемы картографирования обрядов и обрядового фольклора.— Там же, с. 69—84; Байбури А. К. К ареальному изучению русского свадебного обряда.— В кн.: Ареальные исследования в языкознании и этнографии, с. 92—96.

² Историко-этнографический атлас народов Сибири. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1961; Русские. Историко-этнографический атлас. М.: Наука, 1967, т. 1, 1970, т. 2.

³ Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX — начала XX в. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1954; Василевич Г. М. Типы обуви народов Сибири.— Сб. Музея антропологии и этнографии. М.—Л., 1963, т. XXI; Попов А. А. Плетение и ткачество у народов Сибири в XIX и первой четверти XX столетия.— Там же, 1955, т. XVI; Одежда народов Сибири. Л.: Наука, 1970; Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л.: Наука, 1976.

⁴ Кисляков Н. А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л.: Наука, 1969, с. 149—162; Носова Г. А. Картографирование русской масленичной обрядности (на материале XIX — нач. XX в.).— Сов. этнография, 1969, № 5, с. 45—56; Терновская О. А. Словесные формулы в урожайной обрядности восточных славян.— В кн.: Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л.: Наука, 1974, с. 136—146; Гура А. В. Поэтическая терминология северно-русского свадебного обряда.— Там же, с. 171—180; *его же*. Опыт выявления структуры северно-русского свадебного обряда (по материалам Вологодской губернии).— В кн.: Русский народный свадебный обряд. Исследования, и материалы. Л.: Наука, 1978, с. 72—88; Журавлев А. Ф. Охранительные обряды, связанные с падежом скота, и их географическое распределение.— В кн.: Славянский и балканский фольклор. Генезис, архаика, традиции. М.: Наука, 1978, с. 71—94.

⁵ Проблемы картографирования в языкознании и этнографии; Ареальные исследования в языкознании и этнографии.

⁶ См. об этом: Чистов К. В. Указ. раб., с. 78, 79.

и новые работы по экспериментальному картографированию, благодаря которым постепенно отработывается методика изучения культуры данным способом⁷.

Систематизация этнокультурных явлений картографическим методом предполагает соблюдение ряда требований, а именно: предварительную типологию элементов, подлежащих картографированию, установление принципов выделения тех или иных элементов и признаков, определение хронологических границ, решение вопроса о главных второстепенных признаках, о качественной и количественной оценке их. Важно также определить сопоставимость терминов и понятий.

Реализация этих требований имеет свои особенности в каждом из названных разделов обрядовой культуры. К сожалению, в рецензируемой книге нет разъяснений о том, в какой мере можно применить общие принципы картографирования к конкретному материалу и каков собственный подход редактора к подобной работе. Об этом можно судить только по результатам. Прежде всего остановимся на понятии «свадебная обрядность». Из таблицы (с. 87) следует, что оно охватывает как социальные институты и отношения, связанные с браком, так и собственно обрядовые действия, сопровождающие заключение брака. Такое широкое понимание свадебной обрядности возможно, но далеко не общепринято. Ведь в нем теряется смысл самого понятия обряда как действия, символизирующего определенные социальные связи, и исчезает различие между собственно социальными категориями и формами, в которых они выражаются. Кроме того, при таком подходе к свадебной обрядности предполагается, что и выделение типов ее должно происходить по всем перечисленным признакам. Однако это не так. В «Заключении» говорится, что обзор свадебных обрядовых действий в Сибири позволяет выделить два основных типа свадебной обрядности (с. 88), но выделены они по признакам, характеризующим прежде всего семейно-брачные отношения: родовая или фратриальная экзогамия по отцовской линии, выплата калыма и принесение невестой приданого, патрилокальность или матрилокальность поселения, отработка за невесту. Только один из признаков действительно относится к собственно свадебному действию — «празднование свадьбы в кругу родственников невесты, а затем в среде родичей жениха» (с. 88).

Свадебный обряд как действие, сопровождающее заключение брака, представляет собой сложный многофункциональный комплекс⁸, из которого в книге «Семейная обрядность народов Сибири» выбраны для картографирования лишь отдельные моменты ритуального поведения участников свадьбы (сговор, сватовство, свадьба в доме жениха и невесты, жертвоприношения в доме жениха и невесты; «хватание невесты», «топтанье котлов»). Остальные элементы, строго говоря, не относятся к свадебному обряду. Они отражают: условия заключения брака (экзогамия), формы брака (калым, отработка за невесту, брак-похищение, обменный брак) и формы послебрачных поселений (патрилокальные или матрилокальные). Поэтому таблица, приведенная в конце раздела «Свадебная обрядность», фиксирует соотношение между отдельными элементами свадебного поведения и нормами семьи и брака, а не соотношение между элементами свадебной обрядности. Карта 1 (с. 89) представляет не столько типы свадебной обрядности, которые могут быть выделены лишь после систематизации и картографирования главных элементов свадебного комплекса, сколько типы семейно-брачных отношений. Последние, конечно, тесно связаны со свадебным обрядом, определенным образом влияют на его характер, но все-таки это — не тождественные этнокультурные комплексы, и они не могут заменять друг друга. Точно так же карты 2 и 3 (с. 223 и 225) характеризуют не погребальную обрядность соответственно XVII—XVIII и XIX вв., а типы погребений, так как на них обозначены только место и способ захоронения.

Употребляя определенные термины и понятия, авторы испытывали объективные трудности, ибо столкнулись с проблемами, которые находятся в стадии разработки и не могут считаться окончательно решенными. Это касается, например, сложного вопроса об экзогамии. В таблице отмечено наличие ее у всех народов Сибири, кроме населения крайнего Северо-Востока (чукчи, коряки, ительмены). Из описания материала выясняется, что в действительности внутри рода были возможны браки у западных тувинцев (с. 28), у шорцев (с. 35), у хантов и манси (согласно Г. Старцеву, с. 36); у нанайцев, ульчей и низовцев преобладали кросскузенные браки, браки дяди на племяннице и др. (с. 63, 69). При этом отсутствует указание, к какому роду принадлежат партнеры по

⁷ Бернштам Т. А., Лапин В. А. Винограды — песня и обряд. — В кн.: Русский север. Проблемы этнографии и фольклора. Л.: Наука, 1981; Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры по материалам родильной обрядности украинцев. Киев: Наук. думка, 1981.

⁸ Чистов К. В. Указ. раб., с. 78.

отцовскому или материнскому. Все это явно ставит под сомнение вопрос об экзогамии или, во всяком случае, свидетельствует о нарушении экзогамных норм. По-видимому, не случайно в статьях о народах Приамурья не употребляется термин «экзогамия»; тем не менее в таблице отмечено наличие у них этого института.

Не вполне однозначно решается и проблема калымного брака. У сибирских татар, эвенков и эвенов калымный брак является браком-покупкой, т. е. калым представлен в своем классическом варианте, известном у ряда народов Средней Азии и Казахстана. Однако у тувинцев, нанайцев, хантов и манси калым — это не выкуп за невесту. Вместе с приданым он форма осуществления эквивалентного обмена ценностями между родственниками жениха и невесты, причем авторы неоднократно подчеркивают это (с. 31, 40, 68). Следовательно, калым у сибирских татар, например, по своему содержанию отличается от «калыма» у нанайцев, и возникает вопрос, в какой мере их можно сопоставлять?

Сговор и сватовство относятся непосредственно к свадебному поведению. Иногда сговор и сватовство образуют отдельные моменты досвадебного обряда (буряты). У большинства сибирских народов эти моменты недостаточно четко отделены: сватовство принимает характер сговора, порой совпадает со свадебной церемонией (у куноватских хантов, с. 39). Надо ли в подобных случаях отрицать наличие сговора (см. табл. на с. 87) у якутов, хакасов, сибирских татар, хотя в статьях говорится о сватовстве-сговоре у этих народов (с. 16, 18, 24, 28, 32, 51). Может быть, в тех случаях, когда оба элемента есть, но в слитной форме, следует отмечать наличие обоих, а не присутствие одного и отсутствие другого.

Названия отдельных элементов, встречающихся в текстах, таблицах и на картах, надо было унифицировать. «Жертвоприношение» (табл., с. 87), по-видимому, лучше назвать «приобщение к семейному очагу», так как именно об этом идет речь и в статьях, и в «Заключении». На карте 2 есть термин «выбрасывание», употребленный С. П. Крашенинниковым для захоронений ительменов, хотя в статье говорится об «оставлении» умершего. Если термины «выбрасывание» и «оставление» имеют разный смысл, то тем более нельзя один из них употреблять вместо другого. Термин «оставление» умершего был введен Г. Н. Грачевой при исследовании погребальных обрядов нганасан. Этим термином обозначались как один из наземных способов погребения, так и определенный мировоззренческий комплекс, с ним связанный⁹. Авторы рецензируемой книги используют термин «оставление» прежде всего для характеристики наземного способа захоронения.

Очень важной проблемой при пространственном изучении духовной культуры является выделение главных и второстепенных признаков. Существуют разные мнения не только о том, какие признаки являются главными и существенными, а какие второстепенными, но и о том, что следует наносить на карту, ибо невозможно предсказать, какой путь приведет к лучшим результатам. Имея в виду общую неразработанность этой проблемы, редактор книги выбрал наиболее рациональный вариант — учет некоторых главных и некоторых сопутствующих элементов свадебной обрядности. Такой выбор вполне оправдан и сразу привел к интересным результатам, так как именно сопутствующие элементы сыграли основную роль в выделении северо-восточного типа и дальневосточного подтипа свадебной обрядности, вернее, семейно-брачных отношений. В разделе «Погребальная обрядность», где шире использованы принципы классификации, принятые в археологии и этнографии, подробнее и точнее, по сравнению с разделом «Свадебная обрядность», перечислены отдельные признаки. И все-таки, с моей точки зрения, и в свадебной, и в похоронной обрядности упущены некоторые существенные детали, важные для картографирования. В первом случае это перемена прически невесты, символизирующая переход в иной статус, наличие свадебного поезда, проводы невесты, закрытие лица невесты. Во втором — также перемена прически и закрывание лица, поза покойного, порча его одежды и сопровождающих предметов. Сведения об этих деталях имеются почти во всех описаниях, и вряд ли учет их можно считать преждевременным ввиду неполноты материала, как написано в «Заключении» раздела «Свадебная обрядность» (с. 90). Скорее несколько преждевременным выглядит выделение типов и подтипов свадебной обрядности без достаточно полного охвата существенных признаков и обоснования принципов типологии этого явления.

⁹ Грачева Г. Н. Ранние представления нганасан о человеке по материалам погребального обряда XIX — начала XX века: Автореф. на соискание уч. ст. канд. ист. наук. Л.: Ин-т этнографии АН СССР, 1974, с. 16—19.

Применение картографического метода в изучении этнокультурных явлений должно вскрыть закономерности связей и взаимоотношений между различными народами Сибири. Пока же некоторые выводы, установление типов и подтипов свадебной обрядности (карта 1) основаны не столько на анализе картографического материала, сколько на известных данных об этнокультурных связях народов Сибири, восходящих к отдаленной эпохе, в частности на данных о роли южносибирского компонента у самодийских, тунгусских и угорских групп населения.

Не менее важным, чем выделение существенных и второстепенных признаков, является и вопрос о количественной и качественной оценке этих признаков. У различных этнографических групп одни и те же элементы семейно-брачных отношений, свадебной и похоронной обрядности выражены иногда настолько различно, что даже приобретают противоположный смысл. Большие различия в свадебной и погребальной обрядности, судя по описаниям, существуют между западными и восточными тувинцами, отдельными этнографическими группами хантов и манси, хакасов, бурят, тунгусских народов, юкагиров. У восточных тувинцев отмечены экзогамия и калымный брак, у западных — нет экзогамии и есть отработка за невесту, у таежных юкагиров был брак без калыма с отработкой за невесту и матриликальными поселениями, а у тундровых — калым, приданое, патрилокальные поселения и т. д. Очевидно, в таблицу вносились распространенные, общие и преобладающие признаки, хотя этот принцип отбора и не обозначен. Но иногда разнообразие материала так велико, что говорить о преобладающем типе явления невозможно, и явно встает вопрос о выделении более дробных ареалов. Поэтому невольно создается впечатление, что количественные показатели выбраны интуитивно. Например, у шорцев часто встречались браки внутри рода (с. 35), а у ульчей — браки без калыма (с. 70), между тем в таблице «Элементы свадебной обрядности» отмечено преобладающее наличие экзогамии и калыма. В то же время редкий уже в XVIII в. брак-похищение у эвенков и эвенов (с. 58) обозначен в таблице положительным знаком, а редко встречающаяся у ненцев отработка за невесту (с. 42) — отрицательным. Обряд трупопожожения, не очень характерный для тувинцев в XVII—XVIII вв. (с. 113), в таблице «Погребальная обрядность XVII—XVIII вв.» (с. 230—231) есть, а основной способ погребения — оставление (у ламаистов) в нее не вошел. В таблице указаны захоронения в жилищах, хотя так хоронили лишь служителей культа (в чумах и срубах — шаманов) только на юге и западе Тувы (с. 115), но не отмечен общий для тувинцев-ламаистов обряд «очищения» (с. 118). Поминки у одних групп эвенков устраивались через год, у других — несколько раз в разное время, в таблице же отражены только первые. Возможно, во всех подобных случаях следовало бы ввести систему одновременного использования знаков «плюс» и «минус», обозначающих меру распространенности той или иной формы и, одновременно, их сосуществование.

Недостаточно ясным представляется и вопрос о том, насколько полно и точно должны фиксироваться в таблицах и картах сведения, имеющиеся в статьях. Так, в таблице (с. 230—231) отмечен только один из двух способов захоронения у бурят (с. 92); в таблице и на картах 2 и 3 отражен лишь один из трех типов погребения у хантов и манси (с. 135); в таблице и на карте 3 не учтены старые способы погребения, сохранявшиеся до недавнего времени у эвенков (с. 171 и др.), и т. д.

Важным аспектом исследования в данной книге является выделение детских и шаманских погребений, которые помогают восстановить преобладающие в прошлом формы захоронения в Сибири (с. 228). Детские погребения отличаются большим разнообразием, которое, однако, картографически не вполне отражено; кроме того, не всегда объяснено, почему тот или иной тип считается общим для данного народа. У хантов и манси, например, детские захоронения не отличаются от обычных (с. 136, 137), только грудных детей без зубов хоронили в дуплах деревьев, тем не менее этот вид захоронения на карте 4 представлен (с. 226). У кетов существует два способа погребения детей — в земле и в дупле (пне) дерева (с. 160, 161), на карте представлен лишь один и не совсем верно: отмечено захоронение на деревьях, в то время как ребенка хоронили в пне срубленного дерева, а на дереве подвешивали только колыбель ребенка (с. 160). Несколько способов погребения детей известно у нанайцев и нивхов, на карте же представлен всего один. Детские захоронения у хакасов на карте вообще не отмечены, хотя существовали два способа: на деревьях и в дупле дерева (с. 109).

Возможно, сам характер материала и ограниченный объем книги не позволили полностью соотнести карто-схемы с данными статей. В этом случае опять-таки следовало бы объяснить, что на картах обозначены только самые общие, широко распространенные и твердо установленные элементы обрядности того или иного народа.

Более строгий учет количественных показателей и более тщательное выделение дифференциальных признаков по отдельным этнографическим группам привели бы, вероятно, и к более точной коррекции между различными элементами. Действительно, в целом существует сопряженность между экзогамией по отцовской линии, выкупом-калымом, привозом невестой приданого и патрилокальными поселениями (с. 88) — вывод довольно очевидный и известный. Но если учесть некоторые различия в отдельных деталях и элементах, то окажется, что почти повсеместно распространенный брак-похищение или обменный брак не сочетается с уплатой калыма и приданым (ханты и манси, ненцы, сибирские татары). У тунгусов три формы брака (калымный, обменный и отработка за невесту) не существовали одновременно, одна форма исключала другую, и лишь как изменение этого порядка, характерное для XX в., рассматривается сочетание выкупа с отработкой (с. 59). В таблице все указанные элементы искусственно совмещены, что упрощает реальную картину и лишает ее динамики. Из материала статей, недостаточно отраженного в таблицах и картах, следует, что ареалы распространения определенных признаков семейно-брачных отношений не совпадают с границами расселения народов: например, характерные элементы северо-восточного типа свадебной обрядности, — отработка за невесту и матрилокальные поселения, — свойственны также хантам и манси. Тщательное и дифференцированное применение количественных и качественных характеристик выявит, вероятно, такие особенно интересные ареалы и приведет к конкретным выводам об этногенезе и историко-культурных связях сибирских народов. Во всяком случае, можно будет точнее определить, какие элементы семейной обрядности у тюркских и монгольских народов объясняются генетическим родством, а какие — культурным взаимодействием. Общий же вывод об их генетических и этнокультурных связях не нов, и, чтобы еще раз повторить его, не обязательно было применять современные методы пространственного изучения культур.

Наличие материала и степень его изученности определили хронологические рамки картографирования обрядности. Если свадебный обряд рассмотрен только в пределах XIX в., то погребальный представлен в двух хронологических срезах: XVII—XVIII вв. и XIX — начало XX в. Рубежом во временном измерении погребальной обрядности явилась христианизация, проходившая под влиянием русского населения (XIX в.). Несмотря на то что источники XVIII в. не всегда удовлетворяют современного исследователя и отнюдь нелегко выделить в традиционном обряде, функционирующем и в наши дни, элементы, относящиеся к XVII—XVIII вв., и элементы, появившиеся в XIX—XX вв., в целом авторам удалось разграничить характеристики погребального обряда в указанных хронологических границах. Не у всех сибирских народов, однако, христианизация повлияла на традиционные способы погребения. Народы Северо-Востока и Приамурья, а также часть тундровых ненцев, нгансан и буряты-ламаисты не подверглись христианизации и сохранили традиционные формы погребения, что указано в книге. Надо ли было в таком случае исключать чукчей, коряков, эскимосов, нанайцев, ульчей, нивхов из таблицы, отмечающей элементы погребального обряда в XVII—XVIII вв., только потому, что основные источники по этим народам относятся к XIX в.? Кроме того, принцип их исключения проведен недостаточно последовательно: на карте 2 («Погребальная обрядность XVII—XVIII вв.») эскимосы, чукчи, коряки и нивхи представлены (наземные захоронения у эскимосов и чукчей, трупосожжение у коряков и нивхов). Сопоставление двух карт, отражающих типы погребальной обрядности в разные эпохи, позволяет увидеть исследуемое явление культуры в историческом развитии. Еще больше способствовала бы этому таблица, содержащая сведения о погребальной обрядности XIX — начала XX в. (в таблицах фиксируется больше обрядовых элементов, чем на картах), но такой таблицы в книге нет. Ее отсутствие объяснено значительной унификацией обряда в указанный период, однако это не совсем точно. Традиционные элементы обрядового погребального комплекса сохраняются очень стойко, несмотря на то, что у многих народов действительно стали преобладать захоронения в земле. С помощью таблицы можно было бы показать не только историческое развитие ряда элементов погребальной обрядности, но, может быть, и дополнить их количественной характеристикой, поскольку нередко перемены, произошедшие под влиянием христианства, сводились к изменению количественных соотношений: у хакасов, хантов, манси и эвенков погребения в земле были уже в XVII—XVIII вв., но в XIX в. они стали преобладать, хотя в ряде случаев сохранились и старые способы погребения. Возможно, удалось бы избежать некоторых смещений. Мы имеем в виду случаи, когда элементы, явно относящиеся к погребальной обрядности XIX в., оказались в таблице «Погребальная обрядность XVII—XVIII вв.»: у сибирских татар специальная погребальная одежда появилась в XIX в., а до этого хо-

понили просто в лучшей одежде (с. 120), поминки у хакасов на 3, 7, 20, 40-й день появились тоже только в XIX в., в XVII—XVIII вв. они устраивались на 7-й день. В то же время материал о захоронении в земле, о жертвоприношении коня, об «очищении» водой у хакасов, относящийся, очевидно, к XVII—XVIII вв. и характерный для всех хакасов (с. 108, 111), в таблицу не вошел. У селькупов проводы покойного через сутки имели место в XIX в., а раньше устраивались сразу после смерти (с. 154). На карте 2 отмечены водные захоронения у коряков, хотя эти сведения относятся только к керекам и собраны буквально в наши дни.

В разделе о погребальной обрядности наиболее серьезная проблема связана с типологией погребений. В качестве критерия выделения типа принято два признака: место и способ погребения. Они обозначаются сходным образом: штриховкой дано преобладающее явление, а значками на фоне штриховки — реже встречающееся, бытующее явление. На карте 2 основным элементом погребального типа у большинства народов выступает признак «место» захоронения (обозначено штриховкой) в сочетании со «способом», который обозначен значками (селькупы, ненцы, буряты, эвенки и эвены, юкагиры, якуты). Но у тувинцев и алтайцев таким элементом становится «способ» погребения (обозначен штриховкой), а «место» выступает как дополнительный элемент (значок на фоне штриховки). У чукчей тип погребения обозначен только по «месту», у коряков, нивхов, ительменов — только по «способу». Иногда на картах отмечается еще один признак погребальной обрядности — «наличие и форма гроба и могильных сооружений» (карты 4 и 5, частично карта 3). На карте 4 у одних народов тип детских погребений выделен по «месту» погребения, у других только по признаку «наличие и форма гроба и могильных сооружений». На карте 5 у одних народов тип шаманских погребений выделен по признакам «место» и «наличие и форма гроба» (ненцы, нганасаны, буряты, тувинцы, орочи, ульчи), у других только по «месту» (эвенки, якуты), у третьих по «способу» (нивхи), у четвертых по «месту» и «способу» (юкагиры). Отсутствие унификации обозначений затрудняет сопоставление отдельных элементов погребальной обрядности, так как карта составлена по преобладающим, но неодинаковым признакам, которые к тому же не выступают в комплексе. Отсутствие унификации внешне нашло отражение в технике картографирования, но за этим скрывается недостаточно четко разработанная предварительная типология погребений. Оба элемента, входящие в тип, — место и способ погребения — не могут считаться эквивалентными и взаимозаменяющими друг друга. Имеющийся материал представляет, с моей точки зрения, возможность более точной типологии погребений, определяющими признаками которой могут быть «локальность, или место погребения» (в земле, наземное, воздушное, водное), «модальность, или способ погребения» (оставление, трупосожжение, расчленение, трупобложение, подкурганные захоронения, грунтовые могилы и т. д.) и «наличие и характер вместилища» (помост, лодка, нарты, гроб, дерево, дупло, сруб, погребальный домик, насыпь, обкладка и т. д.). Так как у многих народов существует несколько типов погребений, в которых определяющие признаки по-разному сочетаются между собой, то их удобнее всего было бы отмечать значками (ими легче выразить и количественные оценки). Обозначение всех этих элементов на картах в разных хронологических измерениях с соблюдением принципа единообразия позволит не только соотнести их между собой у разных народов, но и представить в исторической динамике.

Следует обратить внимание и на более частные вопросы типологического описания, например, на типологию одежды. В погребальной обрядности элемент «одежда» дан в трех видах: повседневная, праздничная и специальная. В описаниях встречается «лучшая» или «новая» одежда (с. 92, 127). Но в таблице она квалифицируется у одних народов как праздничная (буряты), у других как повседневная (ханты и манси): вероятно, это сведения начала XX в. и относятся они к бедным слоям населения.

Есть в таблице и несопоставимые данные. В графе «проводы покойного» у хакасов и селькупов отмечены сроки обрядового действия, а у хантов и манси — участники его. Лучше было бы представить этот элемент более общим названием «наличие» или «отсутствие проводов», и тогда, в сущности, не столь важно разграничивать, когда их устраивают и кто в них участвует.

Все сказанное выше касается общих вопросов и методов картографирования явлений духовной культуры. Имеются в книге и погрешности, которые не связаны с теоретическими принципами картографирования материалов, а объясняются недостаточной фиксацией в картах и таблицах сведений, сообщенных в описаниях, что приводит к явным несоответствиям. Об обменном браке у ненцев есть данные (с. 43), а в таблице стоит вопросительный знак, хотя его следовало бы отнести к браку-похищению, существ-

зование которого устанавливается косвенно; брак-похищение был у чукчей, так же как поминки — у бурят, селькупов и ительменов (с. 91, 93, 95, 154, 221), в таблице же отмечено отсутствие у названных народов этих элементов свадебной и похоронной обрядности. Не ясно, почему в книге нет статей о свадебной обрядности коряков и орочей, хотя элементы этой обрядности (кстати, без указания источника их) получили картографическое отражение. В таблице «Погребальная обрядность XVII—XVIII вв.» нет сведений об ориентации умерших у хакасов, об изображении покойного у хантов и манси, хотя в статьях об этом говорится (с. 108, 142). Погребальная обрядность хакасов вообще не отражена на карте 2.

Многочисленные неточности подобного рода, разумеется, снижают общее благоприятное впечатление от книги и не способствуют возникновению абсолютного доверия к карто-схемам, но в целом они все же не умаляют ее научной значимости и новаторского характера. Рецензируемая работа положила, по существу, начало систематическому картографированию элементов духовной культуры, до сих пор имевшему преимущественно экспериментальный характер. Содержащийся в ней большой систематизированный материал представляет собой резерв для дальнейших исследований и обобщений, возможности которого далеко не исчерпаны. Книга подводит итог и одновременно открывает перспективы для последующих обобщений духовной культуры с помощью картографирования. Опыт ее авторов, безусловно, будет учтен в дальнейших исследованиях. В этом смысле поучительны как определенные достижения, так и некоторые упущения рецензируемой работы.

Е. В. Ревуненкова

Свод армянских сказок. (Армянские народные сказки). Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1959—1980. 11 томов (на арм. яз.).

«Творчество сказок присуще армянскому народу в высшей степени», — писала Мариэтта Шагинян в своем «Введении» к сборнику армянских сказок, изданному в 1933 г. на русском языке. Лучшее подтверждение этого высказывания — 11 томов «Армянских народных сказок», вышедших в Издательстве АН Армянской ССР. Невозможно переоценить общественное и научное значение этого труда.

Произведения фольклора, в течение веков выражавшие надежды и ожидания народа, стали доступны и исследователю-филологу, и этнографу, и историку культуры, и, наконец, всякому, кто любит сказки, кто не устает восхищаться неисчерпаемой фантазией народа, поразительным богатством и меткостью его языка.

Издание было начато более 20 лет назад (в 1959 г.) под общей редакцией И. А. Орбели. Правда, программа, рассчитанная на 25 томов, еще далека от завершения, однако проделанная к настоящему времени очень значительная работа позволяет подвести некоторые итоги.

В 11 томах (которые выходили в такой последовательности: т. I, II — 1959 г., т. III — 1962 г., т. IV — 1963 г., т. V — 1966 г.; т. VI — 1973 г., т. VII — 1979 г., т. VIII — 1977 г., т. IX — 1968 г., т. X — 1967 г., т. XI — 1980 г.) опубликовано 1447 текстов; 1244 из них печатаются впервые. Если к этому добавить, что значительная часть ранее опубликованных текстов появилась в дореволюционных изданиях, ставших сейчас в силу малых тиражей труднодоступными, то станет ясно, что в широкий научный оборот введен огромный материал, имеющий исключительное народоведческое значение. По существу, это свод армянских народных сказок, и именно в этом качестве его следует оценивать.

Составители поставили перед собой задачу представить полное собрание не подвергавшихся каким-либо изменениям текстов армянских сказок, которые могли бы быть использованы специалистами-исследователями, в том числе этнографами, историками, лингвистами и др. (см. «Предисловие» к т. I, с. 5—6).

Важнейшая проблема подобного издания касается принципа распределения материала. Тут существует несколько решений. Тексты могут быть расположены по сюжетным гнездам, по собирателям, по сказителям и, наконец, по этнографическим, географическим районам. В рецензируемом своде принят этот последний принцип, что объясняется, как пишут составители, особенностями исторических судеб армянского народа и состоянием архивных материалов, всегда носивших региональный характер.

Уже первые собиратели и публикаторы армянских сказок в 60—70-х годах прошлого столетия, стремясь сохранить национальную старину, и в первую очередь диалект обращались к фольклору определенного историко-этнографического района. Так Г. Срвандзтян собирал фольклор Вана (Западная Армения), Г. Тер-Александрян — фольклор Тифлиса, Т. Навасардян — сказки Айрарата и т. д.

Эта традиция продолжена в Своде армянских сказок — каждый том содержит тексты, записанные в каком-нибудь одном регионе. В I—III томах напечатаны сказки Айрарата; в IV — Ширака, Басена, Джавахка; в V — Арцаха, Карабаха; в VI — Арцаха Утика, Гандзак-Тавуша; в VII — Арцаха-Сюника; в VIII — сказки Гугарка (Лори); в IX — Багреванды, Алашкерта, Маназкерта; в X — сказки Муша, Буланха; в XI — Туруберана. Следующие тома, частично уже подготовленные к печати (XII и XIII), будут посвящены как районам самой Армении, так и зарубежным армянским колониям.

Такое расположение текстов имеет ряд преимуществ. Появляется возможность судить как о жанровом и сюжетном составе репертуара данного этнографического района, так и о деятельности собирателя, работавшего в этом регионе, микрорайоне или селе.

Следует отметить самоотверженный труд фольклористов-собрателей старшего поколения. Деятельность этих энтузиастов — братьев Бахатрянов (60-е годы XIX в.), С. Айкуни (80-е годы XIX в.), Т. Навасардянца (70—90-е годы XIX в.), С. Мовсисяна (1910-е, 1930-е, 1940-е годы), М. Григорян (1920-е, 1930-е и 1940-е годы) и др. — навсегда вошла в историю армянской культуры. Особое место среди них занимает выдающийся ученый — этнограф и фольклорист Ерванд Лалаян (1864—1931 гг.). Благодаря его личным усилиям и планомерной работе организованных им экспедиций были зафиксированы и сохранены сказки Айрарата и Гугарка, Джавахка и Багреванды. Об огромной работе Лалаяна говорит хотя бы то, что тексты, записанные им и участниками его экспедиций, входят в I, II, IV, VIII, IX и XI тома (1900—1920-е годы).

Расположение материала по этнографическим районам, а внутри них — по селам позволяет также выделить тексты, записанные от одних и тех же сказителей, и тем самым выявить особенности их репертуара, а также их индивидуальной манеры — языка и стиля.

Все тома построены однотипно. Каждый из них открывается кратким предисловием, затем следуют основные тексты и варианты, словарь диалектных слов, примечания к текстам, список сказителей и алфавитный указатель текстов. Предисловие к тому содержит историко-географический очерк о регионе; сведения о собирателях, записи которых составили содержание тома, характеристику данного диалекта, перечень тем, по которым сгруппированы сказки.

Тексты, основные и варианты, расположены в следующем порядке: сначала волшебные, затем бытовые сказки и сказки-анекдоты. Варианты, приведенные в приложениях, это, как правило, тексты ущербные, неполные, плохо рассказанные. При публикации текста составители твердо придерживаются единого принципа: исключается всякое редактирование, текст печатается в том виде, в каком его оставил собиратель; все изъятия, нарушение хода повествования, путаница в именах, числах оговариваются сносками. Если текст не был озглавлен сказителем, то это тоже отмечается особо.

В примечаниях к текстам характеризуется состояние архивных материалов, даются сведения о первой публикации текстов и о перепечатках, если они были, о сказочнике о месте и времени записи. К сожалению, не все собиратели, особенно в конце XIX в., снабжали текст полными паспортными данными, что очень чувствуется сейчас, при попытках выявить социальный состав сказочников и динамику бытования сказок.

Уже это краткое описание издания дает представление о том, какой ценный материал содержат вышедшие 11 томов. Отметим наиболее интересные и актуальные аспекты исследований, источниковой базой для которых может стать Свод армянских сказок.

Разумеется, в первую очередь предметом исследования должны стать сами тексты. Начало такого исследования положено в самом издании — расположением материала научным комментарием, различного рода указателями. Итак, что уже сделано составителями? Во-первых, в потоке многочисленных текстов выделены отдельные виды сказок — волшебные, бытовые, сатирические и сказки о животных. На таком большом материале эта работа осуществлена впервые. Во-вторых, сделана попытка сгруппировать в первых трех томах сказки по темам. В-третьих, из текстов, напечатанных в I—IV и V—VII томах, извлечены собственные имена и географические названия и составлены соответствующие указатели. В-четвертых, в III, IV, VII, VIII томах помещены предметные указатели, которые содержат обозначения предметов, животных, растений, явлений природы, религиозные и бытовые представления (т. IV, с. 512).

Как видим, начало анализа сказочных текстов положено. Что еще можно сделать в намеченных рамках и в каком направлении продолжать эту работу? Чтобы ответить на этот вопрос, надо определить, кому адресовано издание. Разумеется, сказки будут с большим интересом прочитаны самым широким кругом читателей, но «Свод...» ориентирован в первую очередь на научную аудиторию, следовательно, в нем непременно должны быть учтены достижения современного сказковедения, в частности, в области типологизации и систематизации сказочных сюжетов. К сожалению, богатейший Свод армянских сказок, изданный АН Армянской ССР, лишен указателя сюжетов, который один может ответить на вопросы о том, какие сказки рассказываются на армянском языке, какие сюжеты наиболее распространены, какие сюжетные контаминации можно считать традиционными и т. д. Тот перечень тем и сюжетов, по которым сгруппированы сказки в I—III томах, не может заменить указателя, так как он не дает представления о конкретном содержании собрания. Некоторые группы определены настолько расплывчато и приблизительно, что к ним можно причислить сюжеты самого разного типа. Например, «коварный, несправедливый и жестокий недруг всегда наказывается»; «приключения сына, покинувшего родителей и после многих испытаний вернувшегося домой» (т. I, с. 22—23); «доброта и благодарность всегда вознаграждаются» (т. II, с. 17). Очевидно, осознав научную несостоятельность подобных определений, составители в последующих томах уже не прибегали к ним.

Между тем сюжетный состав «Свода...» должен быть выявлен, чтобы любой читатель, будь то ученый-фольклорист или просто ценитель народного творчества, мог легко ориентироваться в нем. А для этого необходимо сопроводить последний том типологическим анализом и сводным указателем сюжетов. Ясно, что задача исследования национального сказочного фонда не может быть выполнена без его типологизации по международному каталогу Аарне — Томпсона.

В нашей стране в последние годы начали активнее составляться национальные указатели. К сожалению, такого указателя к армянским сказкам нет, хотя работа в этом направлении была начата еще в 30-е годы. В 1933 г. в Москве в серии «Сокровища мировой литературы» вышло второе, значительно дополненное и исправленное издание «Армянских сказок». Перевод их был выполнен Я. С. Хачатрянцем, введение принадлежит перу М. С. Шагинян, Н. П. Андреев, составитель научного комментария, идентифицировал помещенные в сборнике армянские сказки по указателю Аарне и привел к ним русские параллели. Работа по классификации сюжетов была продолжена А. Т. Ганалаяном в его книге «Армянские народные сказки», вышедшей в 1965 г. в Ереване на русском языке. Однако сделанного явно недостаточно, так как классификация проводилась на сборниках, т. е. на небольшом числе специально отобранных сказок, а не на большой коллекции. Необходим каталог, в котором были бы учтены хотя бы те 1447 текстов, которые напечатаны в рецензируемых 11 томах. Создание национального каталога позволит ввести в международный оборот богатейший армянский материал, отраженный в Указателе Томпсона явно недостаточно. Этот пробел не восполняет и сборник «100 армянских сказок», изданный в 1966 г. в Детройте С. Угасян-Вилла на английском языке, так как число идентифицированных текстов невелико — 72 из 100.

Таким образом, создание национального каталога сюжетов, с одной стороны, положит начало новому этапу изучения армянских сказок на основе научной систематизации, с другой — явится ценным вкладом в международное сказковедение.

Какие еще перспективы научных исследований открываются в связи с изданием многотомного собрания сказок? Поскольку время записи опубликованных текстов охватывает более 100 лет — с 1860-х до 1960-х годов, появляется возможность на достоверном материале показать состояние сказочной традиции в различных районах с армянским населением, ее развитие на протяжении достаточно длительного периода. Учет числа записей на протяжении каждого десятилетия, в каждом историко-этнографическом регионе, а также изучение состава сказителей позволит получить очень интересную информацию о характере словесной культуры, особенностях ее бытования в определенной социальной среде, о типичных и случайных явлениях в репертуаре сказок. Система подобного рода аналитических исследований, разработанная И. Г. Левиным в 1970 г., была принята Институтом этнографии и археологии АН Армянской ССР и успешно применяется для описания, упорядочения и классификации архивных материалов, извлечения информации по разным параметрам, а также создания каталогов, атласов, сводов. Думается, что использование этой системы для изучения коллекции сказок открывает новые, до сих пор не выявленные аспекты. Один из таких аспектов — количественный анализ источниковой базы, ряда ее показателей. Так, можно зафиксировать в репер-

туаре какие-то типы сюжетов, мотивы, персонажи, реалии, но только статистический материал позволит сделать достоверные научные выводы о характере общих закономерностей, раскрывающихся в совокупности источников.

Около 1500 сказок — волшебных, бытовых, сатирических, собранных в 11 томах «Армянских народных сказок», представляют богатейший материал для познания народного быта, народных обычаев, народного мировоззрения. Именно это имел в виду В. И. Ленин, когда подчеркивал то значение, которое имеет «подлинно народное творчество, такое важное и нужное для изучения народной психологии в наши дни»¹.

Издание произведений фольклора — «дело большого культурно-исторического значения», — писала «Правда» 13 сентября 1975 г. Дело это успешно начато небольшим коллективом сотрудников Института этнографии и археологии АН Армянской ССР (гл. редактор А. М. Назинян). Остается пожелать, чтобы задуманная программа была столь же успешно завершена и чтобы она не затянулась еще на 20 лет.

С. А. Гуллакян

¹ Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин об устном народном творчестве. — Сов. этнография, 1954, № 4, с. 118.

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Б. А. Рыбаков. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981, 606 с.

«Познание народной культуры, всех видов крестьянского творчества невозможно без выявления его архаичной подосновы. Изучение язычества — это не только углубление в первобытность, но и путь к пониманию культуры народа». Так заканчивает свою фундаментальную книгу Б. А. Рыбаков, и трудно подобрать слова лучше, чтобы начать разговор о ней.

Конечно, язычество — это религия, и к ней приложимо все то, что относится к религии вообще: это результат непонимания человеком подлинных законов мироздания, результат его бессилия перед некоторыми проявлениями этих законов. Однако, в отличие от того, что принято называть «опиумом народа» — религий развитых классовых обществ, первобытные формы религии наряду с немалой долей самообмана и униженности содержат и иную, религиозную лишь по форме, а не по сущности составляющую: это интуитивное осознание человеком своего места в мире, его основных структурных связей, соотношенности людей и вещей во времени и пространстве, выраженных в ярких опозитизированных ассоциативных образах. Вряд ли можно спорить с тем, что преодоление пошлости, китча, мещанской бездуховности, порождаемых раздутой односторонностью восприятия материального прогресса, невозможно без обращения к истокам народной, традиционной культуры. Но для того чтобы это обращение не выродилось в убогую бутафорию и вызывающую чувство неловкости нескладную искусственную канцелярскую обрядность, нужно глубоко и досконально знать структурные и системные принципы всей совокупности традиционной культуры, а значит, нужно знать язычество.

Однако что такое язычество? Сам автор пишет в первых же строках своей книги: «При всем несовершенстве и расплывчатости слова «язычество», лишенного научного терминологического значения, но крайне широкого и полисемантического, я считаю вполне законным обозначение им того необъятного круга вопросов, которые входят в понятие первобытной религии: магия, анимизм, пандемонизм, прамотеизм, дуализм и т. п.» (с. 3). Но можно ли и нужно ли называть язычеством, скажем, верования австралийских аборигенов, или религию ацтеков, или синтоизм, где мы найдем все или почти все из перечисленных категорий, кроме, пожалуй, прамотеизма, само существование которого весьма дискуссионно? Думается, что такое употребление термина сделало бы его неоправданно расширительным и, главное, неоперациональным. Мне представляется, что слово «язычество» может быть приближено к терминологическому уровню, который стихийно вырисовывается из круга тех вопросов, где оно привычно и употребительно. Под язычеством следует понимать тот комплекс религиозных представлений, истоки которого сформировались вместе с развитием производящего хозяйства, т. е. земледелия и скотоводства, в одном из его первичных очагов, а именно переднеазиатском, и были в

дальнейшем теснейшим образом связаны с этнокультурной историей прежде всего индоевропейских, а также иберийско-кавказских, семито-хамитских, и, по-видимому, также финно-угорских народов. Здесь мы встречаемся с проявлениями ряда идей, частично восходящих к некоторым общим истокам, частично же обусловленных взаимными связями и контактами в ходе дальнейшего развития. В других земледельческих идеологиях, связанных с другими очагами domestikации растений и животных, например с юго-восточноазиатским или мезоамериканским, мы встречаемся с другими представлениями и образами, хотя, разумеется, и в них можно найти ряд общих черт, обусловленных единством мыслительных категорий, свойственных на определенных этапах развития всему человечеству. Существенно также и то, что субстратом формирования языческой идеологии в вышеуказанном смысле слова была другая, более ранняя система религиозных представлений, связанная с хозяйством и культурой палеолитических охотников умеренной зоны Евразии — полуседлых охотников на крупного зверя, создавших такие формы самовыражения, а следовательно, и мироощущения, каких мы не находим нигде в палеолитических культурах остального мира. Позднее это язычество было разрушено и задавлено рядом других, стадияльно более поздних идеологий общей монотеистической направленности — зороастризмом, иуданзмом, брахманизмом, исламом, христианством, однако в крестьянской среде продолжало существовать практически повсюду, хотя бы и в виде гонимых и неузнаваемо замаскированных пережитков.

Язычество, которое исследует в своей книге Б. А. Рыбаков, по существу, вполне подходит именно под приведенное выше определение. И совершенно оправданно поэтому, что его исследование значительно шире по кругу рассматриваемых проблем и привлекаемых сопоставлений, чем мог бы быть труд по истории собственно славянских дохристианских верований.

Книгу Б. А. Рыбакова можно считать большим шагом на пути к созданию всеохватывающей концепции язычества в обширном, но целостном европейско-индосредиземноморском этнокультурном регионе.

Первая часть книги — «Глубокие корни» посвящена предистории славянского язычества. На археологическом материале, интерпретируемом с помощью этнографических аналогий, автор стремится проследить эволюцию основных языческих образов от их предтеч — представлений эпохи палеолита, — и до расцвета энеолитической трипольской культуры. Но начинающая эту часть глава «Периодизация славянского язычества» посвящена анализу памятника начала XII в., условно названного «Слово об идолах», вероятного автора которого путем ряда остроумных сопоставлений Б. А. Рыбаков находит в лице игумена Даниила.

Возникает вопрос: идет ли речь о периодизации язычества с точки зрения современной науки или с точки зрения церковников XII в.? Ответ несколько неожиданный: и о той и о другой, ибо обе они совпадают. Как считает Б. А. Рыбаков, данная в «Слове об идолах» периодизация вполне соответствует научным представлениям об этапах развития религии (с. 25). Это три этапа: первый, когда «кляли требы упырям и берегиным», т. е. задабривали вредоносных духов и чтили благостных, — культ, свойственный еще охотникам и рыболовам эпохи мезолита; второй, когда «под влиянием средиземноморских культов»¹ (с. 16) «начали трапезу ставити Роду и рожаницам», т. е. чтить божества плодородия и урожая; третий, позднейший — выдвигание на первое место в пантеоне культа Перуна как дружинно-княжеского культа. Б. А. Рыбаков полностью принимает эту периодизацию, считая единственным ее недостатком «отсутствие самостоятельной матриархальной стадии земледельческого монотеизма» (с. 25). Нужно ли было бы выделять такую стадию, мы увидим ниже. Пока же следует лишь сказать, что любая периодизация не заложена в самой эволюции явления как таковой; схемы периодизации мы создаем сами, исходя из поставленных нами же познавательных задач. И так же, как, по английской пословице, проверка пудинга в том, что его съедают, чтобы проверить любую схему, нужно попытаться применить ее в практике исследования. В главе второй — «Глубина памяти» предприняты, как определяет их автор, три «историко-культурных зондажа». Б. А. Рыбаков выделил три мотива, широко распространенные в народном искусстве восточных славян, и показал параллельно с А. К. Амброзом, что один из них (квадраты с точками в середине) является идеограммой засеянного поля и восходит к энеолиту, другой (небесные олени) связан с мезолитическим наследием, а третий

¹ Это влияние следовало бы разграничить на два этапа: ранний, когда Восточная Европа восприняла импульсы производящего хозяйства, шедшие через Балканы из Восточного Средиземноморья, т. е. в неолите, и гораздо более поздний, к которому относятся данные главы шестой.

(ромбический меандровый узор) восходит к прослеженной В. И. Бибиковой связи геометрического орнамента палеолита с естественной фактурой резного мамонтового бивня и, следовательно, ко времени палеолита.

Обряды, образы и представления, имеющие палеолитический и мезолитический возраст, рассматриваются Б. А. Рыбаковым в третьей главе — «Каменный век. Отголоски охотничьих верований». В рамках рецензии невозможно передать все богатство мыслей автора, возникающих в связи с анализом памятников палеолитического искусства, захоронений, фольклорных материалов, в которых можно проследить пережитки палеолитических реалий. Три сказочных сюжета автор считает восходящими к палеолиту: связь с инициациями, образ женского охотничьего божества и трансформированное описание схваток с мамонтами. Но мы здесь остановимся на другом. Б. А. Рыбаков довольно резко разделяет явления палеолитического и мезолитического возраста. Он считает, что «мир палеолитического человека был замкнут в плоскости земли», что «времени для созерцания природы или неба, для осмысления движения звездного небосклона не оставалось» (с. 120). К мезолиту же относятся появление образа ящера, фиксация и зооморфизация важнейших созвездий и появление образа берегини, связанной как с «обереганием», так и с материальным берегом полного «опасностей водного пространства. В то же время Б. А. Рыбаков допускает, что корни представлений о Велесе — «скотьем божее» — восходят еще к медвежьему культу мустьерских неандертальцев. Но и медведь и Велес тесно связаны с созвездием Плеяд. Как отмечает Б. А. Фролов, представление о Плеядах как о «семи сестрах», безусловно, имеет палеолитический возраст и предшествует времени заселения Америки и Австралии². Из двух характерных семизвездий северного неба, названия и функции которых часто смешиваются и переносятся с одного на другое³, Плеяды для палеолитического охотника могли быть даже важнее, нежели Большая Медведица, ибо движение их предвещало похолодание, начало зимнего охотничьего сезона со многими его преимуществами — концом распутицы, порошей, прочным настом, холодом, благоприятствующим хранению мяса, и т. д. Из ряда данных фольклора южносибирских народов вырисовывается зооморфный образ Плеяд; любопытно также, что по-мордовски они зовутся Веле, т. е. «рой»⁴. Это мог быть один из истоков имени Велеса, безусловно исконно волосатого; этот признак был только подчеркнут созвучием со славянским корнем «волос», ср. также германское «Wolle» — шерсть.

Оформление понятий упырей и берегинь Б. А. Рыбаков относит тоже к мезолиту. Но не относятся ли и они к периоду палеолита? Конечно, здесь возможны лишь догадки, но не являются ли палеолитические женские (подчеркнуто женские) статуэтки олицетворением берегинь? В матриархальном палеолитическом обществе, к тому же полуоседлом, с постоянными жилищами, было бы вполне естественно связывать с женским началом представление о доме, благе, безопасности, противопоставляя ему «дикое поле» и лес, поле деятельности мужчин, полное опасностей и непостижимого зла. Да и упыри, «заложенные покойники», навьи и прочие образы зла вполне могли пополняться за счет погибших на охоте, не захороненных должным образом, не обезвреженных покойников-мужчин. Во всяком случае, бинарная оппозиция женского и мужского, как связанного соответственно с домом и диким полем, сакрального и профанного, божественного и демонического, т. е., по существу, «мира берегинь» и «мира упырей», безусловно, очень древняя. По-видимому, она отражается и в центральной позиции женских символов на реконструированном А. Леруа-Гураном «палеолитическом иконостасе» (с. 117): тогда крайний правый его придаток мог бы отражать символику сил зла; однако это, конечно, уже такая догадка, которую обосновать пока практически невозможно. В мезолитическое время такая бинарная оппозиция, естественно, имела все предпосылки для дальнейшего усиления.

Итак, стадия упырей и берегинь должна скорее всего охватывать всю эпоху господства присваивающего хозяйства — как палеолит, так и мезолит. В это же время формируются и астрономические образы, связанные с хозяевами-покровителями, да и формирование образа женского высшего божества, некоей «Протокибелы» (грузинская Дали, пожалуй, самый яркий ее вариант), имело место, по-видимому, параллельно со всеми этими образами.

² Frolow B. A. On Astronomy in the Stone Age. — Current Anthropology, October, 1981, v. 22, N 5, p. 585; Фролов Б. А. К истокам первобытной астрономии. — Природа, 1977, № 8, с. 96—106.

³ Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. В. IV. Материалы этнографические. СПб., 1883, с. 779. См. также Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М.: Наука, 1974, с. 49—52.

⁴ Потанин Г. Н. Указ. раб., с. 730, 779, 788, 203.

Одна только категория мифических существ, разбираемых в этом разделе, остается крайне непонятной — это ящеры и загадочные «сливни»⁵. То, что Ящер в детских песенках сидит в золотом кресле и лушит каленые орешки, в общем вполне понятно в связи с его функцией «закатного солнцеглотания» (автор этого не отметил, но аналогия напрашивается). Однако могли ли охотники мезолита приносить ему в жертву девушек? Бродячая охотничья орда (а именно такой была основная ячейка мезолитического общества) такой роскоши позволить себе не могла как по малочисленности, так и по малой рождаемости, и это ясно по всем этнографическим аналогам⁶; умиляющие жертвоприношения девушек распространены очень широко, но исключительно в обществах с развитым производящим хозяйством.

Любой фантастический образ должен иметь свой реальный прототип. И если для Чуда-Юда, для огнедышащего «Змея», как предполагает Б. А. Рыбаков, таким прототипом вполне мог бы быть мамонт, то что в Европе или на Ближнем Востоке могло подсказать человеку образ прожорливого ящера, хозяина вод? Культ крокодилов? Он был в Египте, но это явление явно позднее и сугубо локальное. Истоки образа ящера-дракона скорее следует искать на Востоке, в дальневосточном центре возникновения производящего хозяйства. На Ближний Восток этот образ мог попасть через Индию, а на Север Европы — через Сибирь. Не случайно ярче всего он выражен именно в пермско-югорском искусстве, на самом пороге Сибири. И если для всей верхней части композиции пермско-югорских бляшек — сульде действительно можно найти убедительные мезолитические аналогии, то для ящера таких аналогий нет, и вполне возможно, что он отражает влияния, хронологически гораздо более поздние.

Последняя, четвертая глава первой части — «Золотой век энеолита». Здесь не место пересказывать взгляды автора о соотношении неолитических и энеолитических культур Центральной, Южной и Восточной Европы с разными этническими группами индоевропейцев, в том числе предковыми по отношению к славянам. И этнические сдвиги, и, главное, процессы культурного взаимовлияния в этом регионе с энеолита и до античности были настолько интенсивны, что исследователь вправе для любого археологического факта энеолита и ранней бронзы находить то или иное отражение в любом исторически или этнографически известном факте, касающемся восточных индоевропейцев, будь то балты, славяне, индоиранцы и т. д. Опять-таки не будем пересказывать всего богатства идей, содержащихся в этой главе. Пластика и орнамента неолитической, в основном трипольской, культуры прочтена в ней с помощью как славянских фольклорных, так и ведических параллелей. Автор находит в трипольской росписи и Варуну, и Пурушу, и другие иллюстрации к гимнам Ригведы. Все это не только чрезвычайно увлекательно, но и достаточно убедительно. Остановимся лишь на нескольких моментах, упущенных, на наш взгляд, или несколько противоречиво истолкованных.

Во-первых, на с. 201—202 говорится о формировании образа единого космического божества, четырехглазого, следовательно, всевидящего — Прародительницы мира. Однако на сосудах мы не видим единого лика, где левый глаз одной проекции личины служил бы правым глазом другой. По крайней мере то, что изображено на иллюстрации, — это два лица, четко разграниченных ручками-ушками или контурами щек. Значит, мы не выходим тут за пределы представлений о двух рожаницах, выраженных также (очевидно, на более раннем этапе) сосудом с четырьмя грудями. Автор говорит об идее фратриальности, выраженной в парности рожаниц, но не уделяет этой теме большого внимания. Между тем фратриальная дуальность, очевидно, была весьма важна в обществе энеолита. В частности, керамика яншао, столь близко напоминающая трипольскую своим космогоническим орнаментом, дает об этом явные свидетельства⁷.

Посвятив эту главу в основном культам урожая злаков, культам земледельческим, автор сравнительно мало говорит о скотоводстве и его отражении в культовой символике, хотя и упоминает о связи коз с земледельческим плодородием (с. 156), о переходе воззрений, связанных с оленем как жертвенной пищей, на крупный рогатый скот и т. д. Следует обратить внимание на то, что животворящий дождь в рассматриваемой образ-

⁵ Что сливень не овод и не слепень, а вид дракона, совершенно ясно из литовского *serpyniagalvis slibinas*, т. е. «семиголовый дракон». См. Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М.: Наука, 1965, с. 29.

⁶ *Dumond D. The Limitation of Human Population: a Natural History.*— *Science*, 1975, v. 187, N 4178, p. 713—721; *Birasell J. Some Predictions for the Pleistocene Based on Equilibrium Systems among Recent Hunter-Gatherers.*— In: *Man the Hunter*. Chicago, 1968, p. 236—240.

⁷ *Крюков М. В. Формы социальной организации древних китайцев.* М.: Наука, 1967, с. 146.

ной системе изливается на землю как молоко из четырех сосцов небесного вымени. Очевидно, ритуальное отношение к молоку становится столь же важным, как и ритуальное отношение к зерну и хлебу. Сосуды с дырочками в поддоне (с. 172) автор трактует как предназначенные для сушки зерна; однако в действительности зерно сушат, а точнее, поджаривают перед помолом в плоских сосудах (сковородах, противнях) без дырок, а дырчатые сосуды скорее связаны с изготовлением сыра. Очень интересно прочтение некоторых женских фигурок на керамике как «додол», т. е. девушек в обрядовом убранстве из листы. На сосуде из Концешт (с. 189) рядом с додолой танцует девушка в рогатом уборе, а рядом с колосьями видны 14 животных, которые названы в книге косулями. Но косули и другие дикие копытные вредят хлебам, их надо отгонять с помощью собак, о чем автор пишет очень подробно (с. 207). Поэтому здесь перед нами скорее домашний скот, и вся эта роспись является выражением парности не земледельческой и охотничьей, а земледельческой и скотоводческой магии. Напомним, что трапеза рожаницам помимо жертвы оленя, замененного быком, состояла постоянно из хлебов и сыров; очевидно, здесь уже отражается осознание парности хлебно-молочной европейской и переднеазиатской модели питания, комплексности земледельческо-скотоводческого хозяйственно-культурного типа, о которой мне доводилось писать в другой связи⁸.

Вторая часть книги «Древнейшие славяне» состоит из двух глав — «Истоки славянской культуры» и «Земледельческие культы праславян». Праславян Б. А. Рыбаков увязывает с тшинецко-комаровской культурой бронзового века, пшеварской и зарубинецкой культурой рубежа нашей эры и частично с культурой типа Прага — Корчак V—VII вв. Ареалы этих культур, действительно, поразительно совпадают. Наличие же интервалов, когда такого стройного совпадения не было, имеет свои объяснения. Ряд оснований находит автор и для того, чтобы славянами считать скифов-пахарей или по крайней мере какому-то часть из них.

Такое единство территории на протяжении двух тысячелетий должно иметь свои причины. Южная граница в основном ясна — это горные цепи Судет, Татр и Карпат. На юго-востоке это окраина лесостепи. На севере и северо-востоке, как отмечает Б. А. Рыбаков, граница размыта и недостаточно ясна; однако она все же есть, она отмечена на всех картах, и весьма любопытно отметить, что по крайней мере на территории СССР и северная граница, да и практически вся праславянская зона в целом совпадают с зоной дубового леса с примесью граба и прочих западных пород⁹, не заходя ни в степь, ни тем более в ельники, которые, очевидно, были заселены балтами и угро-финнами. Таким образом, мы видим здесь достаточно четко очерченную экологическую нишу некоего культурного единства. Язык его мог и меняться; но фундаментальные основы связей человека с природой и форм осознания этих связей оставались, очевидно, неизблемыми. Из всего разнообразного материала, содержащегося в пятой главе (связь прялок с «нитью жизни», их солярная орнаментика, жезлы-тояги, эволюция ритуала погребений в связи с эволюцией идеи о посмертной жизни и т. д.), остановимся только на термине «смерды» (сѣ-мерды), который Б. А. Рыбаков истолковывает как «соумирающие». Не вдаваясь в анализ лексических аналогий, отметим лишь, что проще было бы корень «мрд» объяснить как отражение иранского «мард» — муж, человек — слова, вошедшего даже в северофинские языки (коми и др.). «Сѣ-марды» в этом случае просто со-мужи, т. е. мужчины, составляющие свиту вождя и при жизни и по смерти.

В шестой главе среди других мотивов содержится интересное сопоставление идей огненного колеса, грома, молнии (особенно шаровой), плода граната и культа Рода; почему-то автор не упомянул в этой связи, что и молния и гроза постоянно воспринимаются как акт оплодотворения небом земли и что гранат со множеством его семян повсеместно служит символом плодородия. Когда родился символ, вобравший в себя все эти значения, а именно шестиспичное «колесо Юпитера», и когда он проник к славянам, как признает автор, определить трудно (с. 303). Очевидно, нужно искать исторический

⁸ Арутюнов С. А., Мкртумян Ю. И. Проблема классификации элементов культуры (на примере армянской системы питания). — Сов. этнография, 1981, № 4; Этнография питания народов стран зарубежной Азии. М.: Наука, 1981, с. 232—233.

Уместно вспомнить здесь и символу козы в колядной обрядности:

Где каза ходзиць,
Там жита родзиць,
Где каза нагой.
Там жита капой.

(Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Гродно, 1895, с. 96—97); см. также с. 156 рецензируемой книги.

⁹ Карта растительности СССР. Вклейка. — В кн.: Алехин В. В., Кудряшов Л. В., Говорухин В. С. География растений. М.: Учпедгиз, 1961.

момента, когда особенно интенсивны были связи славянской парадигмы и восточного Средиземноморья. Это могла быть именно «эра Сварога» (с. 287), начало железного века, то время, когда гиперборей «через скифов» посылали жертвенные дары на Делос; или время ближневосточных походов уже не легендарных, а вполне исторических скифов. Решение вопроса зависит от находок древнейших примеров таких знаков, которые следует еще ожидать. Пока же лишь укажу, что скатывание огненных колес, широко известное и в Восточной, и в Западной Европе, по-видимому, отразилось в нартовском эпосе в виде «колеса Батраза», разбрасывавшего искры (кстати, Батраз — герой, связанный с грозой). Отмечу еще ряд возможных кавказских параллелей и другим реалиям, описываемым в этой главе. «Поганские кржи» (с. 288), т. е. Х-образные кресты, могут быть сравнены с грузинским «джвари» — крест и всякое культовое место, святилище. То, что крест был именно Х-образный (так называемый *сгух decussata*), явствует из написания именно таким образом буквы «джар», завершавшей древнегрузинский алфавит; крестом же заканчивались и все древнейшие южносемитские алфавиты: минейский, сабейский, химьяритский, т. е. это был общепринятый знак завершенности¹⁰.

Другая параллель касается зольников XI—III вв. до н. э. Зольные узоры в рыхлых канавках были обнаружены на обширной площади при раскопках Мели-Геле, святилища эпохи поздней бронзы в Восточной Грузии. К сожалению, как и при раскопках Пожарной Балки, точные контуры зольных писаниц не стали достоянием науки; между тем привлечь внимание к их фиксации необходимо, так как они могут дать, наверное, не менее ценную информацию, чем скальные писаницы¹¹. Что касается самого обычая весеннего костра, в котором сжигаются не только остаточная солома и хлам, но и специальные прутьево-соломенные ритуальные символы, то он распространен повсеместно в Европе и далеко за пределами Европы, например в Японии¹².

В части третьей «Истоки славянской мифологии» главы седьмая — «Рождение богинь и богов» и восьмая — «Род и рожаницы» реконструируют древнеславянский пантеон непосредственно перед принятием христианства. Опираясь на разрозненные, обрывочные и зачастую противоречивые данные, путем их сопоставления автор строит достаточно четкую систему древнеславянского пантеона. Ее, разумеется, можно оспаривать в деталях, но как целое она должна быть принята по крайней мере до тех пор, пока не будет создана какая-либо иная, не менее убедительная система. Во всяком случае по одной из важнейших составляющих этой системы, именно по соотношению Перуна и Велеса, по-видимому, Б. А. Рыбаков прав, считая совершенно неубедительным взгляд В. В. Иванова и В. Н. Топорова на этих божеств как на непримиримых противников.

Что касается мифа о Громовержце и Противнике в целом, отвлекаясь от конкретного образа Велеса, то, на наш взгляд, Б. А. Рыбаков несколько недооценивает его значимость. Весь «сценарий» мифа и даже корень *uel- в имени Противника на общендоевропейском уровне можно считать доказанной реальностью. Вопрос о том, что она отражает. Мне представляется, что у истоков мифа стоят явления палеолитического возраста — те самые схватки с мамонтами, а также пещерными медведями и другими опасными, но мясообильными животными, о которых говорилось во второй главе рецензируемой книги. Кульминация мифа — это, очевидно, изгнание медведя из пещеры или берлоги и убийство его. На этом и только на этом уровне у Противника и Велеса действительно есть некоторые общие, т. е. медвежьи, истоки. Но дальнейшая эволюция этих персонажей была, по-видимому, независимой и сугубо разной. Велес стал «добрым и благожелательным божеством достатка и богатства» (с. 422), и даже связь его с миром мертвых, по-видимому, охранительная, как у Гермеса-Психопомпа. Противник же остался «лютым зверем», каким и был изначально, хотя реквизит мифа и менялся, обрстая рядом с каменными топорами сперва колесницами, а потом и мушкетами. Именно в охоте за этим зверем гонитель может становиться гонимым, охотник и дичь меняться местами¹³, а змей-медведь¹⁴ может быть одновременно и лютым, опасным врагом, и благодетелем-мясоделом¹⁵.

¹⁰ Патаридзе Р. М. Грузинское письмо асомтаврули. Тбилиси: Накадули, 1980, с. 85—86 (на груз. яз.).

¹¹ Устные сообщения Ш. Ш. Дедабришвили и Б. К. Чолокашвили.

¹² Бункадзай Хогоинкай. Сегану-но Гедзи (Новогодняя обрядность). Ч. 2. Токио, 1954, с. 78.

¹³ Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования..., с. 125.

¹⁴ Синкретические образы змей-медведя известны, например, в искусстве айнов. См. Лавров И. П. Об изобразительном искусстве нивхов и айнов. — Кр. сообщ. Ин-та этнографии. В. V. М.: Изд-во АН СССР, 1949.

¹⁵ Сходные наблюдения о трансформации сказочных персонажей см. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1946.

Сопоставление персонажей славянского пантеона с персонажами хронологически и территориально близких родственных мифологий весьма затруднено тем, что лишь для двух из них существует привязка по дням недели. Это Перун, связанный с четвергом («перундан»), что позволяет построить если не тождество в стиле Яна Длугоша, то хотя бы отдаленное соответствие Перун — Юпитер (Зевс) — Тор и, как показывает Б. А. Рыбаков, Макошь, которую можно считать пятничным божеством, позднее скрытым под обликом Параскевы-Пятницы; а если так, то соответствие будет Макошь — Венера (Афродита) — Фрея. Приводимый Б. А. Рыбаковым апокрифический пятничный календарь позволяет догадываться об огромной роли культа Макоши — богини судьбы и удачи — в жизни древних славян: ее праздник первоначально имелся, видимо, в каждом месяце.

Может быть, в будущем удастся найти недельные соответствия и другим славянским божествам, что, конечно, позволит существенно уточнить их место в системе и функциональную характеристику. Здесь выскажем по этому поводу лишь одно предположение. По ряду коннотаций (скотоводство, богатство, торговля, мир мертвых, посольство, искусство, длинная борода) Гермес и Велес могут совпадать. Если это действительно так, то днем Велеса будет среда и соответствие будет Велес — Меркурий (Гермес) — Один (Вотан) связан с миром мертвых и предстает в фольклоре как лесной царь (Вуте). Тогда известное противостояние Перуна и Велеса обретает некоторый смысл, но не тот, который ему придают В. В. Иванов и В. Н. Топоров, а совсем иной — противостояние между Тором и Одином. Правда, у германцев Один связывался с аристократией, а Тор — с рядовыми общинниками, а у славян, очевидно, наоборот.

Может быть, у средневековых авторов были некоторые основания для отождествления Яровита с Ареем; по крайней мере фаллическая функция Арея как соблазнителя Афродиты и отца Эроса несомненна. Но имел ли Ярило-Яровит специфическую связь со вторником, мы не знаем.

Разбирая древнеславянский пантеон, Б. А. Рыбаков справедливо указывает, что «одно и то же божество могло иметь несколько имен» (с. 365). Более того, учитывая глубокие славяно-индоиранские соответствия, логично предположить, что под разными именами скрывались разные аватары (ипостаси) одного божества. Одно патриархальное божество могли означать слова Сварог, Стрибог и Род (с. 432—433). Сварог сопоставляется с санскр. *svarga* — небесный, возможно и сопоставление с *svagaj* — самодержец, эпитет многих индийских божеств. Стрибог — бог-отец, бог пространства. Род предельно полисемантичен. Проводится и сопоставление Рода со Светом и Святовитом, которого Гельмольд называл *deus deorum* (с. 459); поскольку же русский Перун соответствует западнославянскому Святовиту (с. 464), то получается, что во введенном в 980 г. в Киев пантеоне имеются две аватары Рода — Перун и Стрибог, которые вместе с Дажьбогом образуют троицу в виде бога-духа, бога-отца и бога-сына. Это наше рассуждение может быть дополнительным аргументом к предположению Б. А. Рыбакова, что на збручском идоле за Святовитом изображен именно Стрибог (с. 464). То, что «словене начали трапезу ставити Роду и рожаницам прежде Перуна бога их», на наш взгляд, не противоречит пониманию Перуна как аватары Рода, а то, что «Род сидя на воздухе мечеть на землю груди», прямо подтверждает его.

К разбору Б. А. Рыбаковым збручского идола добавим, что если принять сопоставление Гермеса и Велеса, то это позволит рассматривать идол как параллель фаллической гермы, а в триглавом образе Велеса видеть отражение позднеантичного понятия о Гермесе-Трисмегисте.

Хотя в «Заключении» Б. А. Рыбаков пишет, что в его книге «систематическое изложение доведено только до последних веков перед нашей эрой» (с. 597), на самом деле и последнее тысячелетие славянского язычества нашло в ней достаточно полное отражение. Другое дело, что даже при привлечении, в дополнение к данным письменных источников, неисчерпаемых богатств фольклорного, археологического, языковедческого материала последняя точка в изучении язычества, как и любой другой сопоставимой по масштабу темы, никогда не может быть поставлена. Нам удалось в рамках этой рецензии изложить лишь несколько соображений, возникших при чтении этой книги. В принципе же почти каждая ее страница могла бы послужить — и, надо полагать, в дальнейшем не раз послужит — отправной точкой для особой статьи или целой диссертации. Положения автора: дуализм упырей и берегинь, эволюция образа Велеса от «бога мертвого зверя» палеолита до бога богатства классового общества, культ двух рожаниц с охотничьей и земледельческой стадией, принципы прочтения орнамента на керамике, геоцентрическая концепция движения солнца и ее графическое выражение, динамика смены погребальных обрядов и многие другие положения, обоснованные Б. А. Рыбаковым в его труде,

можно уподобить восстановлению основных грамматических парадигм мертвого, дошедшего до нас лишь в обрывках текстов, языка. Сами носители языка этих правил обычно не осознавали, но говорили (и верили, и требы клали) согласно им. Эти парадигмы не могут быть полными: но ведь это не нормативная грамматика, не руководство к тому, как создавать тексты, а руководство к тому, как их читать.

Разумеется, в большинстве гуманитарных наук, в особенности в такой сложной их отрасли, как этнографическое религиоведение, где исследователь должен изучить мелкие осколки явлений, рьяно громившихся мощным молотом церкви, да к тому же донесенных через эстафету сотен поколений, не может быть истины в конечной инстанции. Вполне возможно, что открытие новых археологических либо эпиграфических источников, переосмысление имеющихся письменных и этнографических данных потребует пересмотра или внесения корректив в какие-либо из сделанных Б. А. Рыбаковым выводов. Но его работа, столь импонирующая непредубежденному читателю масштабностью охвата фактов, широтой и смелостью их интерпретации, последовательной логикой сопоставлений и доказательств и, главное, активно стимулирующая дальнейшую работу исследовательской мысли, несомненно, явится одним из заметных верстовых столбов на том увлекательном ответвлении многодорожья исторического знания, какое представляет собой изучение древних форм идеологии.

С. А. Арутюнов

НАРОДЫ СССР

Л. М. Дробижева. Духовная общность народов СССР. Историко-социологический очерк межнациональных отношений. М.: Мысль, 1981, 263 с.

В многонациональном советском государстве исследование теории и практики национальных отношений имеет, несомненно, важное значение. В Постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования СССР» отмечается: «Партия чутко следит за тем, чтобы новые процессы и проблемы в сфере национальных отношений, которые постоянно рождает развитие такого крупного многонационального государства, как наше, получали своевременное отражение в деятельности партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций, хозяйственных органов»¹. Это указание ЦК КПСС в полной мере относится к обществоведам, занимающимся разработкой марксистско-ленинской теории и практики национальных отношений в СССР. В 70-е годы и в начале 80-х годов советские философы, социологи, историки, этнографы, экономисты, юристы опубликовали десятки коллективных и индивидуальных монографий по различным проблемам развития национальных отношений в нашей стране.

Особое значение для глубокого изучения национальных отношений имеют конкретно-социологические исследования. В течение последних 10—15 лет в нашей стране были проведены крупномасштабные конкретно-социологические исследования социально-экономической, культурной, бытовой и психологической сфер жизни народов.

Духовный, нравственный климат жизни народов, их отношение к соседствующим национальным общностям всегда интересовали советских этнографов. Однако исследования такого рода относились преимущественно к историческому прошлому.

В последние десятилетия в советской этнографии так же, как и в других общественных науках, обнаруживается стремление к широкому, всеохватывающему изучению развития и сближения советских наций и народностей и особенно таких проблем, как национальное самосознание, социально-психологические установки, национальные ориентации. Эти и другие духовные, психологические явления и процессы в жизни народов СССР в последние годы начали изучаться как в теоретическом плане, так и на конкретном материале.

Именно к таким работам, с полным основанием можно отнести новую книгу Л. М. Дробижевой — одного из основных авторов ряда фундаментальных работ по конкретно-социологическим исследованиям национальных отношений в нашей стране². Рецензируемый труд посвящен наиболее сложным теоретическим и практическим проблемам наций и народностей. Это оригинальное, первое в нашей стране исследование

¹ «Правда», 21 февр. 1982 г.

² Социальное и национальное. Опыт этносоциологических исследований. М.: Наука, 1973; Опыт этносоциологического исследования образа жизни. М.: Наука, 1980.

межличностных национальных отношений в СССР (психологических установок и реального поведения людей в сфере национальных взаимодействий на производстве и в быту).

Автор разрабатывает вопрос о влиянии этнической среды на социально-психологические установки и поведение людей в сфере межнационального общения, анализирует роль этнической среды в межэтнических отношениях в пределах городов и сел, производственных коллективов и неформального — дружеского и семейного общения. Фактически впервые на конкретном материале разрабатываются проблемы психологии межэтнического общения — одной из важных тем этнопсихологии.

В нашей общесоветской литературе личные отношения между представителями различных национальностей стали изучаться (на эмпирическом материале) лишь с развертыванием конкретно-социологических исследований национальных отношений в СССР. Работа Л. М. Дробижевой — одного из организаторов и активных участников массовых конкретно-социологических обследований является известным их результатом и обобщением.

Источниковедческой базой книги послужили результаты этносоциологических исследований, проведенных по единой программе в РСФСР, Узбекистане, Грузии, Молдавии, Эстонии под руководством Сектора этносоциологических исследований Института этнографии АН СССР, (всего опрошено свыше 30 тыс. чел.); а также статистические материалы, документы партийных и государственных органов, данные текущих архивов государственных учреждений, пресса и другие источники.

В книге применяются разнообразные методические приемы разработки источников, прежде всего различные статистические группировки, полученные в результате обработки массовых материалов на ЭВМ, а также коэффициенты взаимосвязи признаков.

Одной из первых в нашей стране Л. М. Дробижева вводит для изучения межнациональных отношений контент-анализ текстов газет, телепередач, сочинений школьников, писем-заявок на телевидение.

Для данного исследования характерен комплексный подход. Автор тесно сочетает исследование межнациональных отношений на личностном и институциональном уровнях. Социально-психологические установки, реальное общение респондентов рассматриваются в связи с политикой Коммунистической партии и Советского государства в области национальных отношений в связи с процессами социального и культурного развития наций. Иначе говоря, социально-психологические явления и процессы анализируются в комплексе с социально-экономическими, политическими и культурными факторами.

В книге исследуются проблемы социальной мобильности контактирующих национальных групп, специфика условий их трудовой деятельности, т. е. те особенности социальной ситуации, которые в значительной степени определяют межнациональные отношения. На основе изучения этих социальных процессов рассматриваются основные тенденции в развитии культуры, психологии народов СССР. Культурные, бытовые, морально-нравственные и психологические стороны национальной жизни автор справедливо считает зоной «наиболее глубокого залегания национального своеобразия» (с. 164).

Автор подходит к анализу всех факторов, определяющих межнациональные отношения, исторически. Исторический принцип особенно четко прослеживается при рассмотрении общих социально-экономических условий культурной жизни народов, а также при изучении межнациональных отношений в различных возрастных группах. Большое значение придается анализу влияния предшествующего опыта контактов народов в каждой республике. Все рассматриваемые Л. М. Дробижевой явления даются в динамике.

Межличностные национальные отношения рассматриваются в самой широкой сфере — производственной, семейно-бытовой. Автор подчеркивает, что на производстве национальные отношения в наибольшей мере обуславливаются социальной ситуацией, зависят от степени социально-профессиональной удовлетворенности. В книге раскрыто и то важное обстоятельство, что культурные факторы, в том числе уровень культурного развития и исторические традиции тесно взаимосвязаны с межнациональными отношениями в непроизводственной сфере — в семье, в дружеском окружении. Анализ большого эмпирического материала позволяет убедительно доказать, что межличностные национальные отношения влияют на сближение бытового слоя поведенческой культуры народов через механизм межэтнической трансмиссии этнокультурной информации.

Большой интерес представляет анализ взаимосвязи межнациональных отношений с художественной культурой. Л. М. Дробижева раскрывает общие тенденции в соотношении национального и интернационального как в профессиональной художественной, так и в повседневной бытовой культуре, ею изучается взаимосвязь национальных ориентаций людей и их культурных интересов.

Основные тенденции в развитии и сближении национальных культур рассматриваются на большом конкретно-социологическом эмпирическом материале: результатах исследования национальных вкусов, в частности ответов на вопрос о том, кого городское население коренных наций Эстонии, Грузии, Молдавии, Узбекистана (с. 160—161) считает выдающимися деятелями культуры; выявления отношения к народной музыке у респондентов из Эстонии, РСФСР, Узбекистана и роли культурного кругозора в межличностных национальных отношениях (с. 165—183), рассмотрении некоторых норм семейной жизни (с. 188—189, 194—198), анализа влияния социально-профессиональной принадлежности на приобщение к духовным ценностям и многих других.

Вместе с тем роль традиций и национальной специфики в повседневной культуре народов, так же как и значение семейного воспитания в формировании взглядов людей

и их поведение в сфере межнациональных взаимодействий могли бы быть раскрыты полнее.

Характеризуя значение рецензируемой работы, следует отметить, что автор исследовал новую сферу национальных отношений, которая раньше лишь затрагивалась в отдельных комплексных работах по национальным проблемам в СССР. Л. М. Дробижевой выявлена и обоснована система факторов, влияющих на межличностные национальные отношения в различных сферах общественной жизни, выделены их основные компоненты и вскрыт механизм их взаимодействия.

Применительно к изучаемой ситуации 1960—1970 гг. установлено определяющее влияние социально-экономической и политической обстановки на отношения между людьми разных национальностей, объяснены причины сохранения некоторых элементов национальной ограниченности, встречающейся в современных условиях.

В книге раскрыто влияние городской и сельской среды разного типа, а также производственных и бытовых контактов на межэтнические установки людей.

Материалы исследования Л. М. Дробижевой открывают большие возможности для выявления как особенного, так и общих тенденций, имеющих важное значение для выяснения роли конкретных социальных ситуаций и этнокультурных особенностей в межличностных национальных отношениях в нашей стране.

Рецензируемая работа имеет несомненное практическое значение. Ее результаты могут быть использованы для управления национальными отношениями в идеологической работе по интернациональному воспитанию. Автор убедительно показывает, что меры культурно-просветительного характера весьма эффективны для преодоления проявлений национальной ограниченности в группах менее образованного и квалифицированного населения, и в первую очередь сельских жителей, у которых сохраняется известная культурная замкнутость. Для более широкого круга населения, как утверждается в работе, предупреждение неблагоприятных явлений в межнациональном общении можно связывать с регулированием социальных проблем, актуальных для современного этапа общественного развития народов СССР.

Представляется, что новая книга Л. М. Дробижевой будет встречена с большим интересом не только специалистами в области теории национальных отношений, но и широким кругом советских читателей, интересующихся этими весьма актуальными проблемами развития советского многонационального государства, идущего навстречу своему 60-летию юбилею.

А. И. Холмогоров

Этногенез народов Севера (Отв. ред. Гурвич И. С.). М., 1980, 278 с.

Потребность во фронтальном обобщении результатов изучения происхождения народов северного региона азиатской и европейской частей нашей страны возникла давно. Это обстоятельство, так же как накопление в советский период, в особенности за последние десятилетия значительных материалов об этногенетических процессах на территории Крайнего Севера и Дальнего Востока СССР, побудило сотрудников Отдела этнографии народов Севера и Сибири Института этнографии АН СССР взяться за подготовку обобщающего исследования, освещающего формирование этих народов на древних этапах их истории. В монографии «Этногенез народов Севера» прослеживается происхождение предков саамов, хантов, манси, селькупов, кетов, ненцев, энцев, эвенков, эвенов, чукчей, коряков, ительменов, азиатских эскимосов, нивхов, нанайцев, ульчей, ороков, орочей, негидальцев и удэгейцев. Это первый опыт реконструкции этногенетических процессов применительно ко всей зоне Крайнего Севера и Дальнего Востока нашей страны. Последовательный ретроспективно-генетический и исторический анализ сложных процессов формирования народов арктической и субарктической зон позволил по-новому подойти к освещению целого ряда больших проблем. Забегая вперед, отметим, что основным достоинством работы, по существу своеобразным открытием, сделанным авторским коллективом, является доказательство положения о том, что известные нам этнические общности Севера представляют собой сложные двух- и многокомпонентные образования. Обособленные и замкнутые северные этнические общности, все же, как показано в работе, имели историко-культурные связи с населением южных областей Сибири и Восточной Европы. Высокой оценки заслуживают приведенные в монографии данные о специфике становления отдельных этнических общностей, связанной с заселением ими особых экологических ниш, о воздействии на формирование отдельных этносов миграций, инфльтраций, межплеменного обмена спонтанной культурной информацией. Таким образом, перед нами весьма масштабное исследование.

Монография состоит из 12 глав, объединенных в три больших раздела: «Этногенез урало-язычных народов и кетская проблема», «Этногенез юкагиров и тунгусских народов», «Этногенез палеоазиатских народов Северо-Восточной Азии». Такое членение материалов не случайно. У народов Европейского Севера, Западной, Средней и Восточной Сибири, Северо-Востока еще в эпоху позднего неолита стали проступать особые этнические черты.

В краткой рецензии невозможно рассмотреть все вопросы, затронутые в этой большой работе, поэтому мы ограничимся лишь общей характеристикой глав и постараемся выделить новое в постановке проблем этногенеза и их решения.

Монография открывается содержательным предисловием, написанным редактором книги И. С. Гурвичем. В нем обоснованы принципы подхода авторского коллектива к решению проблем этногенеза и охарактеризованы источники, использованные в монографии. При этом, на наш взгляд, правомерно отмечена ограниченность и неравноценность данных разных смежных дисциплин для решения рассматриваемых авторами проблем. В предисловии подчеркнута перспективность сравнительно-генетического изучения фольклора, религиозных верований и других явлений духовной культуры, исследованных еще далеко не достаточно.

Совершенно справедливо утверждается в предисловии, что этнографическая классификация народов и выделение историко-культурных областей Сибири имеют «большое значение для освещения этногенетических проблем на Севере» (с. 7). К сожалению, автор не указал, что исследовательская работа в этом направлении еще не завершена.

Вызывает определенное возражение ограничение верхней даты этногенеза народов Севера (назван XVII в.). В XVIII в., как можно понять из текста предисловия (с. 10), наступает период этнической истории, т. е. развития уже сложившихся этносов. Соглашаясь с принципом выделения конечного этапа этногенеза, связанного с появлением относительно устойчивых признаков этноса, отметим, что некоторые этнические общности сложились здесь ранее (например, саамы — с. 28, тунгусоязычные народы Нижнего Амура — с. 193), а другие, наоборот, позднее (например, современные северо-самодийские народности — с. 66, тофалары — с. 88). Представляется, таким образом, что конечная дата этногенеза, впрочем как и начальная, у разных народов своя и унификация их весьма условна. Это обстоятельство следовало оговорить особо. Кроме того, хотелось бы заметить, что процессы этногенеза нередко наблюдаются и у сформировавшихся этносов (в тех случаях, когда этногенез еще не завершился, либо при включении в этнос новых этнических компонентов, значительно меняющих его этнические свойства, но не влияющих на его этническое самосознание).

В первой главе «Ранние этапы этногенеза народов уральской языковой семьи Заполярья и Приполярья Евразии» (автор Ю. Б. Симченко) рассматривается уралоязычное автохтонное население высоких широт, приводятся материалы, позволяющие видеть в нем этнический субстрат, который вошел в состав саамов и самодийцев. В главе очерчивается территориальное распространение древних уральцев. Большое внимание уделено анализу гипотез о происхождении культур древнего населения Европейского Севера и Западной Сибири: автор присоединяется к концепции В. Н. Чернецова о формировании древней финно-угро-самодийской общности и расселении ее в Зауралье и Западной Сибири. В главе приводятся некоторые данные о реконструируемой Ю. Б. Симченко древней культуре охотников на дикого оленя. Однако эти материалы очень общи. Остается неясным, была ли это одна или ряд культур. Не освещена роль рыболовства и других подсобных отраслей в хозяйстве тундровых охотников.

Вторая глава «Этногенез саамов», написанная Т. В. Лукьянченко, посвящена ранним этапам этнического формирования этого народа — проблеме, много лет дискутируемой археологами, лингвистами и этнографами. На основе анализа имеющихся материалов автор приходит к выводу об участии двух основных компонентов в этногенезе саамов (древних уральцев и европеоидных финноязычных волго-окских переселенцев). Сложение единого этнического массива предков саамов в данной главе отнесено к началу I тыс. до н. э. Территория их формирования включала север Норвегии и Финляндии, часть Кольского полуострова и Карелию. В главе справедливо отмечается, что общие черты больше выявляются в культуре у саамов и их европейских соседей и гораздо меньше между саамами и народами Сибири. Это объясняется местоположением саамов. Тем не менее приводимые автором примеры сходных особенностей культуры у саамов и сибирских народов настолько разительны, что можно говорить не только об историко-культурных, но и об этногенетических связях между их предками.

В третьей главе «Проблемы этногенеза северосамодийских народов (ненцы, энцы, нганасаны)», написанной В. И. Васильевым, в концентрированном виде излагаются основные положения его монографии «Проблемы формирования северо-самодийских народностей» (М., 1979)¹, и вводятся в оборот некоторые новые материалы. В целом концепция автора о времени и путях заселения самодийцами Севера и о формировании там новых народностей, на наш взгляд, убедительна. Все же некоторые построения вызывают возражения. Следует заметить, что навряд ли чаты могли быть звеном в распространении этнизма кара через этногенетическую цепь еушинцы — чаты — барабинские кагалы (с. 45), поскольку, во-первых, этот этноним у них не зафиксирован, а, во-вторых, сами они появились в Барабе и Приобье, видимо, гораздо позже, чем карагалы и еуштинцы.

В четвертой главе «Происхождение саянских оленеводов» (Проблема этногенеза тувинцев-тоджинцев и тофаларов) (автор С. И. Вайнштейн) рассматриваются сложные этногенетические процессы в таежных Саянах — продвижение сюда в неолите протосамодийских племен, смешение их с аборигенами (протоэвенками), распространение позднее

¹ См. рец. В. А. Зибарев, Н. А. Томилов, В. И. Васильев. Проблемы формирования северосамодийских народностей. — Сов. этнография, 1980, № 5.

новых этнических волн самодийских, кетоязычных, тюркских и монгольских групп. Несмотря на то что эта глава, посвященная населению южного региона, стоит несколько особняком в данной монографии, она помогает понять начальные этапы формирования многих народов Севера, выявить значение в их этногенезе связей с народами южных регионов.

З. П. Соколова в пятой главе «К проблеме этногенеза обских угров и селькупов» убедительно показала, что ханты, манси и селькупы сложились из разнородных этнических компонентов. Она раскрыла пути формирования этих народностей, выявила особенности их культурной и языковой дифференциации. Выводы автора основаны главным образом на анализе материальной и духовной культуры обских угров. По мнению З. П. Соколовой, самодийскоязычные селькупы, близкие по культуре к хантам, сформировались относительно поздно, испытав сильное влияние обских угров и кетов. Однако этот вопрос, как она говорит, еще нельзя считать до конца решенным, поскольку «в настоящее время мы не можем нарисовать стройную и убедительную картину происхождения селькупов» (с. 116). В заключение автор намечает круг проблем, касающихся этногенеза обских угров и селькупов, требующих дальнейшего этнографического исследования. Однако не со всеми положениями, высказанными в данной главе, можно согласиться. Вызывает возражение утверждение о принадлежности хантов, манси и селькупов к одному хозяйственно-культурному типу (с. 89—90), так как у различных групп этих народов зафиксированы черты разных хозяйственных типов — пеших охотников и рыболовов, рыболовов бассейнов крупных рек, земледельцев и скотоводов, северных оленеводов. Кроме того, следует заметить, что при рассмотрении археологических данных почему-то не получила отражения точка зрения В. И. Матюшенко о ходе этногенетических процессов в Приобье в эпоху неолита и бронзы, изложенная им в многочисленных статьях и четырехтомной монографии.

В главе шестой «Кетская проблема» Е. А. Алексеенко на основании накопленных лингвистических и этнографических материалов высказывает предположение, что в Южной Сибири предки кетов появились в I тыс. до гуннской эпохи (с. 139). Автор убедительно показывает, что история предков кетов в дальнейшем длительное время была связана с тюркоязычным, а затем и самодийским населением, что привело к частичному вхождению их в состав некоторых современных народов Сибири. Е. А. Алексеенко удалось раскрыть сложность и многокомпонентность собственно кетской народности, что отразилось в особенностях ее традиционной культуры, связанных с разными хозяйственными комплексами — горно-таежным охотничьим, рыболовческим, скотоводческим.

Авторы первой главы второго раздела «Этногенез юкагиров» И. С. Гурвич и Ю. Б. Симченко присоединились к гипотезе, согласно которой юкагиры рассматриваются как прямые потомки древних неолитических охотников, вышедших из той же недифференцированной еще языковой среды, что и древние уральцы. Наиболее ценным в данной главе является анализ традиционной культуры юкагиров, позволивший выявить у них элементы, общие с северо-восточными самодийцами. В главе подробно освещаются также контакты юкагиров с северо-восточными палеоазиатами, эвенками и эвенами.

Следует особо отметить во многом новое решение проблемы этногенеза эвенков и эвенов в главе второй этого раздела «Этнические корни тунгусов», написанной В. А. Туголуковым. Период исторического существования собственно тунгусов, по приводимым автором данным, охватывает не более полутора тысяч лет. В начале этого периода тунгусские этнические черты обнаруживаются у обитавших в горно-таежном Забайкалье и Приамурье южных скотоводов увань. Огромная работа проведена В. А. Туголуковым по выявлению в составе тунгусов этнических элементов, связанных с древними местными племенами, с тюркскими и монгольскими группами, по определению области древнего расселения тунгусов. В то же время некоторые положения главы представляются мало убедительными. Таково, по нашему мнению, утверждение, что население Пумпокольской волости в XVII в. составила смешанная тунгусо-селькупская группа (с. 168). Исторические и лингвистические данные (работы Б. О. Долгих, А. П. Дульзона) свидетельствуют скорее в пользу кетоязычной основы населения этой волости.

Тематически с главой о тунгусах связана и следующая за ней глава — «Проблемы этногенеза тунгусоязычных народов Нижнего Амура и Сахалина». Автор ее, А. В. Смоляк, по существу присоединяется к гипотезе об очень ранней тунгусизации населения Нижнего Амура, начавшейся с конца неолита — начала раннего железного века. На основе анализа этнографических и лингвистических данных в главе доказывается, что предками современных тунгусских народов Нижнего Амура были аборигены, вошедшие, видимо, также и в состав нивхов. В древней местной культуре автор выявляет северные, западные и южные черты, связанные с проникновением сюда племен разного этнического происхождения. В главе прослеживается также культурное влияние соседних айнских и маньчжурских групп.

Третий раздел работы открывается главой, написанной Ч. М. Таксами, — «Проблемы этногенеза нивхов». Антропологические, археологические, языковые данные, приведенные им, показывают, что нивхи, несомненно, были наследниками древней неолитической культуры бассейна Нижнего Амура и Сахалина.

Следующая глава «Проблемы происхождения чукчей, коряков и ительменов» посвящена сложным вопросам этногенеза северо-восточных палеоазиатов. Обобщая имеющиеся археологические, лингвистические и этнографические материалы, автор ее И. С. Гурвич, приходит к выводу, что неолитические охотники, заложившие этническую основу палеоазиатских народностей, проникли на Охотское побережье, Камчатку и частично на Чукотку из Якутии, Приамурья и Приморья и смешались здесь с остатками древних мезолитических групп населения.

Специфические черты культуры северо-восточных палеоазиатов начали складываться в период неолита и распространения железных орудий. Переход части охотников этого региона к оленеводству способствовал обособлению северных групп и сложению современного этнического облика чукчей, коряков и ительменов (с. 226). Значительное внимание в указанной главе уделено исследованию древних связей северо-восточных палеоазиатов с соседними азиатскими эскимосами и северо-американскими племенами.

Заключительная глава третьего раздела «Происхождение эскимосов и алеутов» (автор Л. А. Файнберг) показывает глубокую древность истории формирования этих двух народов — этноязыковых общностей, составлявших, видимо, в далеком прошлом единое этническое образование. Разделение протозскоалеутов на протозэскимосов и протоалеутов, согласно данным американской и советской археологической литературы, произошло в Берингии не менее 8—10 тыс. лет назад. Используя имеющиеся материалы, Л. А. Файнберг рассматривает пути миграций эскимосов, эволюцию эскимосских и алеутских археологических культур. В целом глава проясняет сложную историю формирования эскимосского и алеутского этносов.

Таким образом, в книге впервые представлена общая, весьма многогранная картина формирования основных этнолингвистических групп Севера нашей страны. Авторам удалось показать связь этих этнических общностей с аборигенными мезолитическими и неолитическими племенами, с одной стороны, и более поздними переселенцами из южных областей Сибири — с другой. Заслуживает внимания хорошо обоснованное в работе важное теоретическое положение о том, что свой традиционный облик северные народности приобрели в результате не только миграций и взаимодействий разных этнических образований, но и эволюции хозяйства и культуры в условиях Крайнего Севера. Таким образом, перед нами оригинальное исследование, имеющее важное научное значение.

Вместе с тем книга не лишена и некоторых недостатков. В перечне историко-культурных областей Севера, к сожалению, не упомянута Саяно-Алтайская область (с. 5), хотя в работе ей уделено немало внимания.

Авторы иногда используют слишком широкие географические понятия. Например, на с. 243 территории обитания предков кетов называются горно-таежные области юго-западной Сибири (можно понять и так, что сюда входят и южные районы Зауралья). непонятно, почему на с. 165 при описании природных условий, в частности растительности верхней Зей, приводятся сведения студента-историка, а не специалиста биолога или географа. На с. 21 допущена опечатка — искажена дата — поздний (голоценовый) палеолит Восточной Сибири определен III—V тыс. до н. э. вместо VIII—V тыс. до н. э. На с. 39 о лыжах-подволоках с выгибом и с приподнятой ступательной площадкой сказано, что они не известны ни у одного из сибирских народов, кроме обских укров. Однако именно в Западной Сибири (в частности, у барабинских татар) бытуют очень близкие по конструкции лыжи. В ссылах на литературу почему-то далеко не всегда проставлены страницы. Но все же надо заметить, что неточностей и опечаток в работе немного.

Отмеченные погрешности не снижают высокой оценки монографии, представляющей интерес для всех исследователей древней истории Крайнего Севера нашей страны.

Выход в свет обобщающей работы, посвященной формированию народов Севера, несомненно будет способствовать дальнейшему углубленному и целенаправленному проведению этногенетических исследований. В связи с этим укажем, что в отдельных главах книги, а также в заключении, написанном И. С. Гурвичем, выделены неясные нерешенные проблемы и намечены задачи дальнейших поисков.

В рассматриваемой монографии широко использованы археологические материалы. Однако желательно дальнейшее сближение методики археологических и этнографических исследований с тем, чтобы преодолеть известный разрыв между этими двумя науками, изучающими культуру в широком понимании этого термина. Необходимо также совершенствование методов синтетизирования этнографических, археологических, антропологических и лингвистических данных в масштабах отдельных регионов, применительно к определенным историческим периодам.

Новые рубежи, открывающиеся в связи с выходом рецензируемой книги, — свидетельство значимости труда. И хотя это «лишь первый опыт реконструкции общей картины этногенетического развития народов Севера» (с. 248), следует, без сомнения, признать его удачным и перспективным.

Н. А. Томилов

Г. А. Ш п а ж н и к о в. Религии стран Юго-Восточной Азии. Справочник. М.: Наука, 1980. 247 с. с карт.

Как известно, религия (религиозная идеология, религиозные организации и т. п.) до сих пор нередко оказывает весьма сильное влияние на расстановку политических сил, культуру и быт населения, течение этнических процессов и др. Во многих странах мира до сих пор существуют политические партии, имеющие религиозную окраску, профсоюзы, молодежные и другие организации. Поэтому для правильного анализа социально-политической специфики, общественной и культурной жизни в этих странах необходимо наряду с другими важными факторами учитывать религиозную структуру, степень религиозности местного населения, влияние различных религий и религиозных организаций и т. п.

Нередко во многих странах (особенно Африканского и Азиатского континентов) острая политическая борьба внутри страны или же межгосударственные конфликты до сих пор облекаются в религиозную оболочку и зачастую выглядят как религиозные конфликты. Например, события в Ливане западная буржуазная печать преподносит лишь как борьбу между маронитами — христианами и мусульманами, в Чаде — как давние противоречия между мусульманским севером и христианско-языческим югом и т. д. В Иране, как известно, большую роль в свержении шахско-монархического режима сыграло мусульманское (шиитское) духовенство, возглавляемое аятоллой (имамом) Хомейни. А контрреволюция в Афганистане пытается до сих пор прикрыться исламской фразеологией, выступая за «чистоту ислама», хотя политическая подоплека событий хорошо видна всему миру. Во Вьетнаме буддийское духовенство (монашество) принимало активное участие в движении протеста против интервенции США, а часть католической иерархии долгое время была на стороне Сайгонского марионеточного режима и интервентов. Такова далеко не однозначная роль религии и религиозных институтов в современном мире, особенно в странах, недавно освободившихся от колониального гнета.

В советской литературе на протяжении последних лет был опубликован ряд справочных изданий по Вьетнаму, Таиланду, Филиппинам, Лаосу, Сингапуру и др., содержащих разделы по религиям и религиозным верованиям¹. Однако в этих работах не дается достаточно четкого и разностороннего представления о религиозной ситуации в указанных странах, о структуре и особенностях бытующих в них религий. Нередко авторы сосредоточивали основное внимание на характеристике преобладающей религии или же большее внимание уделялось какому-либо одному из аспектов проблемы (например, подробно разбирались догматика религии или же внутренняя структура религиозной организации). Вместе с тем в некоторых из этих работ имелись неточности.

Автор рецензируемого справочника ставит перед собой цель — дать как можно более полную картину религиозной ситуации и характеристику религиозного состава населения стран Юго-Восточной Азии. Это первое в советском востоковедении издание подобного рода по странам Юго-Восточной Азии. Уже увидели свет справочники по странам Африки и Ближнего Востока (1967 и 1976 гг.)², составленные Г. А. Шпажниковым. В рецензируемой работе, как и в предшествующих трудах Г. А. Шпажникова, использована обширная литература. Библиография насчитывает более 640 работ на русском, английском, французском, немецком и других языках.

Методологической и теоретической основой данной работы послужили труды классиков марксизма-ленинизма о социально-классовой сущности религии, решения съездов КПСС по атеистическому воспитанию трудящихся, материалы пленумов ЦК КПСС по идейно-воспитательной, идеологической и политико-воспитательной работе. Руководствуясь марксистско-ленинской методологией в исследовании религий, автор ставит перед собой следующие задачи: освещение религиозной ситуации в отдельных странах и в целом в Юго-Восточной Азии, показ структуры отдельных мировых, национальных и локальных религий и религиозных организаций, а также влияния религиозной идеологии и наиболее активных религиозных организаций на различные стороны жизни народов и стран этого региона, ознакомление читателей с географическим распространением различных религий в Юго-Восточной Азии.

При определении религиозного состава отдельных народов, стран и регионов Юго-Восточной Азии, а также при составлении многочисленных карт автор использовал методику, разработанную им при подготовке предыдущих монографических справочников по Африке и Западной Азии, основанную на критическом анализе статистических и демографических данных по отдельным странам, материалов международных организаций, на сопоставлении этнических, социальных, политических, географических и других факторов с религиозным и т. д.

Во вводной части справочника кратко описаны наиболее крупные мировые, национальные и локальные религии Юго-Восточной Азии: ислам, буддизм, христианство, индуизм, сикхизм, конфуцианство, даосизм, местные традиционные верования и культо-синкретические религии. В каждом из разделов даются общие статистические сведения

¹ Вьетнам (справочник). М., 1969; Современный Таиланд (справочник). М., 1976; Ли Ю. Современный Сингапур (справочное издание). М., 1976; Современные Филиппины (справочник). М., 1979; Лаос (справочник). М., 1980.

² Шпажников Г. А. Религии стран Африки (справочник). М., 1967; его же. Религии стран Западной Азии (справочник). М., 1976.

и цифровые данные о распространении той или иной религии как по региону в целом, так и по отдельным странам, кратко характеризуется структура отдельных религий (например, деление буддизма на известные ветви — хинаяна и махаяна, отдельные наиболее влиятельные секты и т. д.). Здесь же приведены общие сведения исторического характера: о времени возникновения религии, ее распространении по странам и регионам, о важнейших направлениях, течениях, церквях, сектах, а также краткие догматические и философские характеристики религии и т. д. Каждый раздел вводной части наглядно иллюстрируется картой распространения той или иной религии по территориям Юго-Восточной Азии.

В основной части монографии автор показывает религиозную ситуацию и религиозный состав населения в отдельных странах Юго-Восточной Азии. Материал располагается при этом по странам и по единой схеме, но одновременно учтены специфика и особенности действия исторических, социальных, политических и других факторов. В каждой из глав этой части приводятся краткие географические сведения о расположении той или иной страны, ее границах, административном делении, численности населения (в том числе о расселении по отдельным административным единицам). Кроме того, читатель найдет здесь и данные об этническом составе населения и его распределении по районам страны, этнолингвистической классификации, религиозной принадлежности и др.

В справочнике приводятся сведения по отдельным, преобладающим в данной стране религиям: статистические материалы, краткая история появления и распространения той или иной религии, география распределения верующих, адептов по отдельным административным единицам или регионам страны, по национальным и этническим группам. Названы основные религиозные центры, показана роль данной религии или религиозной организации в социально-экономической, политической и культурной жизни страны. Автор не оставляет в стороне и взаимоотношения между государством и религиозными организациями, партиями, носящими прямо или косвенно клерикальный окраску. Всего в работе характеризуется религиозная ситуация в 13 странах Юго-Восточной Азии: избравших социалистическую ориентацию — Вьетнаме, Лаосе, Кампучии, Бирме; странах с капиталистической структурой — Малайзии, Сингапуре, Филиппинах, Индонезии; монархиях — Таиланде, Брунее; сюда же включены острова Килинг и Рождества, административно принадлежащее Австралии, но географически относящееся к Юго-Восточной Азии. Каждая глава дополняется картами распространения религий, причем для некоторых стран с пестрым религиозным составом населения приводится по несколько карт (например, для Индонезии, Филиппин и Малайзии).

В заключительной части справочника дается ряд приложений, которые являются дополнениями к вводной и основной частям и в то же время имеют самостоятельное значение. Здесь характеризуются структуры наиболее крупных религий по их направлениям, толкам, сектам и др.; приведены списки наиболее влиятельных и крупных религиозных организаций и перечислены страны, в которых они функционируют.

Сводные статистические таблицы религиозного состава населения стран Юго-Восточной Азии завершают показ распространения отдельных религий (в процентном соотношении и численном составе по отдельным странам и всему региону Азии). Все цифровые выкладки в справочнике-монографии, и особенно в таблицах, составлены и подсчитаны автором (авторская оценка), который учел основные недостатки и сложности аналогичных изданий справочного характера, поэтому в ряде разделов по странам он вынужден был привести так называемые «скользящие» цифры. Первая таблица работы дает возможность оценить в процентном соотношении религиозный состав населения на 1980 г. и даже составить прогноз на несколько лет вперед. Вторая таблица включает данные о численности верующих в различных религиях (по оценке автора на 1976 г.).

Особо следует отметить опубликованные в монографии справочные карты. Как известно, до настоящего времени ни в советской, ни в зарубежной научной литературе не было карт, столь подробно показывающих распространение тех или иных религий в Юго-Восточной Азии, в том числе и по тем или иным государствам (за отдельными исключениями). Это большое достоинство рецензируемой работы, которая, вне всякого сомнения, на много лет вперед станет настольным справочным изданием для специалистов различного профиля по странам Юго-Восточной Азии. В частности, в справочнике опубликовано 6 общих сводных карт и 17 карт по отдельным странам региона, причем, как уже отмечалось, в главах по Малайзии, Филиппинам и Индонезии содержится по несколько карт распространения религий. Эти карты с одной стороны, являются сами по себе отличным иллюстративным материалом к основному тексту книги, а с другой — служат своеобразным итогом анализа исследований автора по проблемам распространения и функционирования различных религий в Юго-Восточной Азии. Карты составлены по методике, разработанной Г. А. Шпажниковым, как и для предшествующих справочников-монографий по Африке и Ближнему Востоку, с учетом местной специфики. К сожалению, карты эти не цветные, а черно-белые.

Нельзя не отметить и некоторые недостатки работы, имеющие скорее частный характер. Так, в справочнике несколько слабее освещается буддизм по сравнению с исламом. Следовало бы более четко показать местные традиционные верования и культы у народов Юго-Восточной Азии. Поскольку автор впервые делает попытку дать общую характеристику малоисследованных синкретических религий и организаций в Юго-Восточной Азии, этот раздел вводной части работы целесообразно было бы расширить, так как в главах по отдельным странам содержится довольно много материала по данному вопросу. Например, в главе «Бирма» имеется раздел о религиозном синкретизме (с. 47—48) — явлении, типичном не только для данной страны, но и для других государств Юго-Восточной Азии.

Существовали, разумеется, и трудности объективного характера, что не могло не отразиться на справочнике. Например, хотелось бы видеть более полное освещение религиозной ситуации в современной Кампучии (на 1980 г.). Но сложность заключается в том, что с 1975 и по 1978 г. миллионы кампучийцев были уничтожены (в том числе и представители духовенства и многие верующие) преступным режимом Пол Пота и Иенг Сари, а традиционная структура кампучийского общества разрушена: буддийская сангха фактически была репрессирована, часть христиан покинула страну, другая погибла, совсем мало сохранилось мусульман и т. д. Ввиду отсутствия статистических сведений более позднего периода автор вынужден был остановиться на характеристике религиозной ситуации в Кампучии до 1975 г. В главе о Вьетнаме анализ религиозной ситуации также осложняется событиями недавнего времени. В течение трех десятилетий (после окончания второй мировой войны) страна была разединена, народ ее боролся против марионеточных режимов и американских интервентов за свое объединение, а поэтому религиозный состав населения Вьетнама был исследован автором в соответствии с теми возможностями, которые имелись на 1979—1980 гг. (статистические данные, материалы переписей, специальные работы исследователей и др.).

Следует приветствовать появление ценного монографического справочника, характеризующего религиозную ситуацию в современной Юго-Восточной Азии. Он необходим не только специалистам — религиоведам, востоковедам, этнографам, историкам, журналистам-международникам, лекторам-пропагандистам, преподавателям и студентам, но и самым широким кругам читателей, интересующихся современными политическими, экономическими и культурными проблемами стран этого региона, играющими все большую роль в сегодняшних международных отношениях.

Л. Б. Заседателева

НАРОДЫ ОКЕАНИИ

Мифы, предания и легенды острова Пасхи. Перевод с рапануйского и западно-европейских языков. Составление, перевод, предисловие и примечания И. К. Федоровой. Отв. ред. Ю. В. Кнорозов. М.: Наука, 1978. 382 с.*

Книга И. К. Федоровой представляет собой первый опыт научно систематизированного свода фольклорных текстов, записанных на острове Пасхи. Сложность этой работы была обусловлена в первую очередь характером известных текстов: одни из них были записаны на рапануйском языке (в том числе, что особенно важно, самими хранителями фольклорной традиции), другие получены собирателями-европейцами и опубликованы на английском, испанском, французском, немецком языках, с более или менее значительными отклонениями от первоисточника, нередко в литературной обработке или в пересказе. К тому же повествовательные тексты, относящиеся преимущественно к области мифологии и архаической истории, заключают в себе множество неясностей, загадочных мест и нуждаются не просто в переводе, но в истолковании. Наибольшие трудности были связаны, конечно, с переводами непосредственно с рапануйского языка. О них выразительно свидетельствует следующий факт: Тур Хейердал привез в 1956 г. из экспедиции в Восточную Полинезию тетради с записями рапануйского фольклора. И сам Хейердал, и другие ученые считали эти тексты не поддающимися переводу. Они носили фрагментарный характер и часто оказывались неправильно разбитыми на слова. И. К. Федорова, проделав огромную работу по восстановлению первоначального (нормального) вида текстов, смогла их перевести.

Трудности перевода, подчас почти непреодолимые, особенно очевидны, если учесть общее несоответствие рапануйского национального стиля и современного русского, отраженных в языках, представляющих культуры, кардинально различающиеся и по времени, и по содержанию. Переводчики в подобных случаях часто впадают в ошибки, обусловленные ложными исходными постулатами. Одни соблазняются русификацией, выдавая в качестве якобы успешного результата своей работы малоубедительные перефразы и парафразы, где национальный колорит оригинала оказывается парализованным. Другие, боясь диссонанса с современностью, склонны передавать архаичность и экзотику удаленных во времени культур знакомыми читателю архаизмами, библеизмами, славянизмами и т. п. Третий, наконец, создают так называемые научные переводы, снабжая тексты множеством подстановок, разъяснений, оговорок, скобок и других атрибутов наукообразности.

Всех этих ошибок избежала И. К. Федорова.

Переводы версий мифов и легенд сгруппированы ею таким образом, что вначале приводится рапануйский оригинал (в случаях, когда он доступен), затем следует его перевод и за ним — переводы версий с западноевропейских языков. По сути дела, предлагается перевод-документ, ценный как для широкого круга читателей, так и для специалистов-этнографов и фольклористов.

И. К. Федоровой прекрасно решена задача строго научного филологического исследования текстов. Дословный полный перевод (все слова оригинала имеют точное отра-

* Книга была отмечена премией Президиума АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая за 1981 г.

жение в переводе), по сути, является нормативным и в будущем может послужить солидной основой для переводов с чисто литературными целями. Точность переводов столь высока, что это издание может служить учебным пособием для желающих овладеть рапануйским языком. И. К. Федорова выбрала оптимальный принцип перевода, стремясь сохранять формы, несущие семантические функции, и не копировать буквально все грамматические формы. Отсюда максимальная близость переводов мифов и легенд к оригиналу, к стилю и композиции текстов, к синтаксису. Вынужденная незначительная избыточность русского текста (сравнительно с оригиналом) порождена стремлением к сохранению эквивалентной меры понятийности: некоторые нейтральные элементы рапануйских текстов приобретают экспрессивность при передаче на русский язык, по смыслу добавлены слова, отсутствующие в оригинале.

Особую сложность при переводах обычно представляют национальные формы, завуалированные языковой обусловленностью. Между оригиналом и переводом не может быть полного семантического тождества, поэтому полностью сохранить специфику содержания подлинника, видимо, невозможно. Равным образом невозможно воспроизвести средствами русского языка и форму оригинала. Однако перевод И. К. Федоровой создает у читателя достоверное ощущение иной исторической и национальной среды. Как компонент национального колорита воспринимаются сохраненные имена собственные, географические названия и другие непереводаемые лексические элементы. Справедливо И. К. Федорова отказалась от принципа расшифровывающего перевода. Словарь и комментарии сообщают читателю тот минимум знаний, который необходим для прочтения переведенных текстов.

Упреки, которые можно было бы сделать автору, касаются деталей. Иногда создается ощущение, что некоторые лексические соответствия в системе современного русского языка несколько смещают круг ассоциаций, заданных оригиналом. Порою возникает ощущение, что переводчик недостаточно передает связь слова с контекстом, что нарушает ощущение целостности оригинала. Это, вероятно, обусловлено сложностью проникновения в идеи и ситуации, стоящие за текстом. В редких случаях ощущается прямое влияние подлинника — в виде несколько неудачных с точки зрения русского языка конструкций. Представляется, что перевод был бы выразительнее, если бы переводчик более смело и широко использовал идиоматичность русского языка. Хотелось бы видеть в предисловии или в примечаниях характеристику звучания и силы воздействия оригинала, которые неизбежно утрачиваются при передаче на русский язык.

В целом можно констатировать, что задача воссоздания рапануйского оригинала средствами русского языка достойно выполнена. Все переводческие операции — постижение подлинника, интерпретация и перевыражение его сделаны на высоком научном уровне. Фольклорные произведения Пасхи обрели жизнь в русском языке.

Заслуга И. К. Федоровой не только в том, что она заново прочитала рапануйские тексты и результаты этого прочтения предложила нам в виде тщательно выполненных русских переводов, но и в том, что систематизировала она материал в соответствии с современными научными требованиями, найдя каждому тексту свое место в этой сложной системе и одновременно предложив опыт реконструкции рапануйской мифологии в виде сохранившихся текстов, составивших единый свод.

В своде представлены не все известные жанры (за его пределами остались песни и загадки), но зато он с большой полнотой демонстрирует разнообразие повествовательного фольклора рапануйцев, ядро которого составляют мифы и предания.

Собиратели застали рапануйскую мифологию на стадии ее угасания, что было обусловлено драматической судьбой аборигенного населения маленького острова (кстати, об этом в предисловии рассказано с большой выразительностью). Записанные тексты несут на себе отпечаток разных исторических периодов и сдвигов в миропонимании рапануйцев. К тому же еврейцы, записавшие и публиковавшие тексты, вольно или невольно вносили в них свое миропонимание, по-своему упорядочивали, либо даже переиначивали их, придавая им несвойственную оригиналу завершенность, связанность и логичность мотивировок. Между тем мифологические тексты в их «естественной форме» характеризуются, как правило, сюжетной и композиционной неупорядоченностью, дискретностью, события и поступки персонажей в них внешне не мотивируются и часто кажутся нелогичными. Эти «натуральные» качества мифов очень определенно обнаруживаются при сопоставлении записей на рапануйском языке с записями иноязычными. Первые одновременно и полнее, яснее последних и загадочнее их; содержательность подлинных текстов обнаруживает особенную глубину, наличие подтекста, связь с другими элементами мифологической системы.

Понять рапануйские тексты, каждый в отдельности и в их совокупности, И. К. Федорова стремилась путем сопоставления их с данными полинезийской мифологии. Последовательный и тщательный сравнительный анализ позволил ей представить рапануйский материал в виде органического, хотя и своеобразной, части мифологии полинезийского мира. II раздел книги посвящен мифам первотворения и приключениям богов, входивших в главный пантеон (И. К. Федорова находит им убедительные аналогии в полинезийском пантеоне). Среди них особенный интерес вызывают рассказы о Макемаке, верховном божестве рапануйцев, и его антипode Уоке, «боге-разрушителе». Очень интересны, хотя и гипотетичны, соображения И. К. Федоровой о связи рапануйского Ура, «культурного героя, чудака и озорника», со знаменитым общеполинезийским мифологическим персонажем Мауи.

К числу классических циклов полинезийской мифологии относятся мифы этнологического содержания, составляющие раздел V книги (во вступительной статье он ошибочно назван IV, с. 24). Особенность такого рода историй заключена в том, что возникновение вещей, подчас жизненно необходимых, оказывается в мифах более или менее

случайным, произвольным следствием событий, столкновений, целой серии эпизодов, которые сами по себе загадочны и для мифологии представляют особый интерес. Жаль, что в статье и комментариях к соответствующим текстам на эту сторону мифов с этнологическими развязками обращено мало внимания.

Центральную часть книги составляют «исторические предания» об открытии и заселении острова и о многочисленных войнах, которые И. К. Федорова с большим искусством распределила на три основных группы — согласно трем периодам истории острова. Вполне справедливо в книге эти предания рассматриваются в общей системе мифологических рассказов и представлений. Перед нами — органическое и нерасчленимое единство. Издавна исследователи пытаются извлечь из рассказов, отмеченных более или менее устойчивой повторяемостью мотивов и трактовок, реально-исторический субстрат, проследить, опираясь на них, маршруты древних мореплавателей, установить исходные пункты путешествий, наметить этапы миграций и т. д. Отдает дань этой научной традиции и И. К. Федорова. Нисколько не отрицая правомерности такого подхода и воздавая должное тщательности и остроумию, с какими ведутся подобные исследования, скажем все-таки, что ни при каких условиях нельзя упускать из виду собственно мифологической природы рассказов о первых путешественниках, о заселении островов, учитывая при этом формообразующую способность всякой мифологии и свойственные ей законы сюжетосложения. Так, например, сталкиваясь с повторяющимся указанием на приход легендарного Хоту Матуа и его спутников с запада (или реже, с востока), мы не можем забывать о том, какую значимую роль в определении направлений странствий первопродков и первооселенцев играли представления о земле умерших, с которыми связаны древнейшие пространственные ориентировки.

Интереснейшие предания о войнах и постоянных столкновениях обитателей острова, неизменно объединяющие реальный исторический опыт с мифологическим комплексом, в рецензируемой книге не только тщательно систематизированы и обстоятельно прокомментированы, но и объяснены в широком историческом плане. И что еще существенно — предания эти сами служат ценнейшим материалом для воссоздания отдельных загадочных эпизодов рапануйской истории и труднообъяснимых фактов местной этнографии; таковы в особенности легенды о скульптурных изображениях акуаку — духов рапануйцев.

Книга И. К. Федоровой, основанная на самостоятельной проработке огромного и сложного материала и на критическом освоении накопленного наукой опыта, справедливо отмечена академической премией имени Н. Н. Миклухо-Маклая.

М. Ф. Альбедиль, Б. Н. Путилов

SUMMARIES

The Numerical Trends and Changes in the Geographical Distribution of the Russian Ethnos [1678—1917]

The paper deals with the trends in the numerical strength and in the geographical distribution of the Russians between 1678 and 1917 (the post-revolutionary development of these features of the Russian ethnos will be examined in the next issue of our journal).

The study is based mainly on archive material. Use is made of data from the household count of 1678-1679 and other counts and registrations of the 17th and 18th centuries; the ten «revizii» (population counts) held for the whole territory of Russia between 1719 and 1858; the population censuses of 1897 and 1916-1917. In the period under examination (239 years) the population of Russia grew 8.6 times; in this period of time the number of Russians grew 9.4 times and their percentage in the country's population rose from 40.6 to 44.6 p. c.

The changes in the geographical distribution of the Russians were still greater. In 1678 87.8 of all the Russians lived in four regions of their maximum concentration and represented there 97.4 p. c. of the total population: the two central regions, the Lake region and the Northern region. In the remaining 15 regions comprising 12.2 p. c. of the state's Russians they formed only 7.9 p. c. of the population. In 1917 less than half of the country's Russians (46.8 p. c.) inhabited the Central-Industrial, the Central-Agricultural, the Lake and the Northern regions, and their proportion in the population of these four regions was down to 91.6 p. c. As for the other fifteen regions they comprised 53.2 of the Empire's Russians whose share in their population had risen to 38.8 p. c. In 1917 the Russians formed compact groups in practically all regions of the Empire.

The main factors of all these changes were: differences in natural growth rates between the various peoples of Russia, extensive migrations mainly linked to the opening up of new, sparsely populated areas, and assimilation processes; these last, however, only began to appreciably influence the numerical strength of peoples in the last third of the period under examination.

S. I. Brook, V. M. Kabuzan

Ethnogenesis and Genetic Divergence of the Eastern Bashkirs

The study of peoples by methods of historical population genetics offers a possibility for reconstructing their ethnic composition at various stages in history. The choice of the Eastern Bashkir population as the object of investigation was dictated by the fact that its component subpopulations belonged to the ancient Bashkir stratum which greatly contributed to the formation of the Bashkir people. Extensive demographic publications and archive materials have been used in the study; these were supported by direct random population-genetic investigations. We have carried out phylogenetic analyses among the subpopulations inhabiting the Eastern region of Bashkiria: the Uzerger, Burzyan, Tamyran, as well as the Karagai-Kipchak and Tabin populations. The reconstructed time period of divergence is dated as the third century B. C. The genealogical tree appears to show that the complete genetic differentiation of the said ethnic divisions terminated in the tenth to sixteenth centuries A. D. within the area of Bashkiria of today. This may indicate a considerable influence effected by the autochthonous population over the formation of the genofund of the Turkic migrants in the Southern Urals and the cis-Urals area, as well as offer a convincing corroboration of the hypothesis by which the appearance of the Bashkirs in the Urals is of recent date.

R. G. Kuzeyev, Kh. S. Rafikov, N. Kh. Yumaguzhina

«Golden Men» in Ancient Burial Places in Central Asia (an Attempt at Their Interpretation in the Light of Religious History)

In the course of archaeological excavations in Central Asia royal burial places have been discovered whose distinctive feature lay in the dead man being practically completely covered with golden ornaments. In the Issyk mound (Southern Kazakhstan) the head had a covering adorned with golden ornaments; those interred in Tillya-Tepe («Golden Hill») were buried in golden crowns, with their heads resting upon silver or golden vessels.

The author elicits the religious beliefs connected with these burial places starting from Indo-Iranian concepts. The mythologeme is unfolded: the king (nobility) — fire-gold. Examples of such beliefs among ancient and mediaeval Iranians are adduced; they are most fully represented in ancient Indian mythological sources. Then the following mythologeme is analyzed; the god-priest — the man who offers the sacrifice. Such a man acquires the nature of fire or gold, he is brought into communion with the gods. In Indian rituals a golden (or silver) vessel played an important part in the ritual resurrection of the king.

Thus several strata of beliefs are here brought together. To the concept of gold as a symbol of social status is joined the symbolism of gold as the inner divine essence of an interred noble which remains after his earthly embodiment has disappeared. Placing the dead man's head upon a golden (or silver) vessel was meant to secure the certainty of resurrection or a higher position of certain socially marked individuals among the dead.

B. A. Litvinsky

Spain: a New Stage of Ethnic Development

The paper deals with the impact of the social-economic transformations that began in the late fifties and the early sixties over the ethnic situation. Particular note is taken of the growing scope of inter-ethnic contacts in the Basque country and in Catalonia and the increased tendency of Spanish-speaking migrants to adapt to the local ethnocultural environment; the process of national resurrection of Spain's peoples; the attempts to lend regionalism (the movement for regional autonomy) an ethnic-national character, etc.

A. N. Kozhanovsky

Scientific Schools in the Formative Period of Modern British Social Anthropology (the 1920s to 1940s).

It is proposed to treat the concept of «scientific school» as an analytical model whose three main aspects are: the training of the younger generation; the embodiment of the ideas of the school's leaders in a «research programme»; and the emergence of specific norms of relationship within the scientific school as a research body. The use of this model in studying the rise and development of the structural-functional approach in British social anthropology has permitted the conclusion to be drawn that this modern methodological orientation had already been outlined in the Cambridge school whose representatives (W. Rivers, S. Seligman) were the teachers of A. R. Radcliffe-Brown and B. Malinowski. The further development of the basic theoretical principles of functionalism in the period under examination has passed through two stages, the dominant role being transferred from Malinowski's school in the London University (1922—1937) to that of Radcliffe-Brown in Oxford (1938—1946). The study of pre-class societies by the «second-generation functionalists» (E. Evans-Prichard, R. Firth, M. Fortes and others) developed under the influence of the scientific schools of Malinowski and Radcliffe-Brown. This found its expression in changes in the range of problems studied and in ways of interpreting facts.

A. A. Nikishenkov

On the Principles of Typologization of Animal Husbandry as Practised among the Peoples of Middle Asia and Kazakhstan in Late 19th and Early 20th Centuries

The author makes an attempt to solve certain controversial questions in the typologization of animal husbandry and, in particular, in the choice of criteria according to which its types and subtypes should be demarcated. This attempt is based upon the study of extensive materials on this branch of economy among the peoples of Middle Asia (Soviet Central Asia) and Kazakhstan. The criterion proposed is the presence or absence of plant cultivation as a branch within the economic system and, in the case of its presence, its level of development and proportionate share in the economy as a whole.

Particular attention is given to the examination of methods of foddering and maintaining cattle (forms of cattle breeding) which are largely determined by the character of plant cultivation within the economy. As a result, the author elicits three main types of animal husbandry among the peoples of Middle Asia and Kazakhstan: the nomadic, the integrated and the sedentary; within these a number of subtypes are distinguished.

G. N. Simakov

Some Remarks on Definitions and Terminology in Animal Husbandry

In this reply to G. Ye. Markov's paper «Animal Husbandry and Nomadism. Definitions and Terminology» («Sovetskaya Etnografia», 1981, № 4) it is noted that G. Ye. Markov is right in stressing the connexion between studies in the typology of animal husbandry and historical-ethnographic typology by economic-cultural types. In the present author's opinion, not only features of economic activity (in time and space) but also the closely related characteristics of the people's way of life should serve as important criteria in distinguishing different types of animal husbandry. The elaboration of an ethnographic typology of the forms of animal husbandry requires an integrated approach.

B. V. Andrianov

Problems of Definitions and Terminology in Animal Husbandry and Nomadism (a Reply to Opponents)

The problem of definitions and terminology in animal husbandry has been discussed in a number of issues of «Sovetskaya Etnografia» (see № 4 for 1981, № 3 for 1982 and the present issue). It seems to me that the various modes and forms of animal husbandry belong to two economic-cultural types: 1) the nomadic pastoral type and 2) ploughing agriculture with animal husbandry playing a subsidiary role.

The nomadic pastoral type comprises two subtypes: the nomadic and the semi-nomadic. A more detailed classification of these two subtypes is an important scientific goal.

The classification of animal husbandry by economic-cultural types stands at the higher systematic level.

At its lower level methods of carrying on animal husbandry are classified in combination with other occupations, i. e. at its technological aspect. It should be noted here that methods of animal husbandry are often similar, especially between nomads and mobile pastoral groups.

To avoid terminological confusion terms used at the higher level of classification should be eliminated when concepts are being elaborated for its lower level.

G. Ye. Markov

Editorial Comment

Many important questions of interest to ethnographers have been touched upon in the course of the discussion about G. Ye. Markov's paper. It may even be said that the discussion has touched upon a broader range of problems than that to which G. Ye. Markov had restricted himself.

At the same time it may be noted that two main trends have manifested themselves in the discussion almost from the very beginning; those two trends are closely linked but still different. They may, to a certain extent conventionally, be designated as the theoretical and the applied with special reference to regional situations. The first trend is represented by the papers of G. Ye. Markov himself and the replies by Yu. I. Semenov and B. V. Andrianov; the second by those of V. M. Shamiladze and G. N. Simakov. And it was not always that the adherents of these two trends found a common language.

In starting the discussion G. Ye. Markov had in view mainly the refining of the concepts and the terminology used in studying animal husbandry and nomadism. This was the more necessary since, as has been subsequently shown by Yu. I. Semenov, not even a single generally accepted system of taxons has been elaborated in the classification of animal husbandry forms, while the terminology does not always fulfill the main requi-

rement for any terminology, i. e. a strictly uniform interpretation of the terms used.

In this aspect G. Ye. Markov's paper was very timely as well as that by B. V. Andrianov, who, on the whole, shared his viewpoint.

However, the replies of V. M. Shamiladze and G. N. Simakov have demonstrated that the typological classification proposed by G. Ye. Markov, however indisputable the principles it is based on, cannot be applied to its full extent either in the Caucasus or in such a region with highly developed animal husbandry as Middle Asia and Kazakhstan. The latter circumstance is particularly important because the opinions expressed by G. N. Simakov, reflect the experience gained in preparing the Historico-ethnographical Atlas of Middle Asia and Kazakhstan. Hence it is a pity that G. Ye. Markov in his reply to the participants in the discussion restricted himself to pointing out the formal character of G. N. Simakov's classification; after all, the lower level of classification, justly distinguished by G. Ye. Markov is bound to be formal.

Despite this the Editors feel that discussion has been exceedingly valuable. In its course opinions have been brought out that may serve as a base for further discussion. Such a view is confirmed by the fact that, with all their divergences, the authors not only base their approach on uniform methodological principles, but start in essence from the same basic «zero point» — that of the proportion of plant cultivation and animal husbandry in a given economic system. This proportion may in principle vary from «pure» cultivation to a complete dominance of the nomadic economy with, between these two poles, a great diversity of concrete forms and varieties of animal husbandry.

Further discussion on the whole range of ethnographical problems touched upon in the discussion will doubtless help to elaborate a single typological framework of animal husbandry which will take into account both its general features and its regional variations.

V. V. Bunak — a Pioneer in Developing the Basic Theoretical Principles of the Science of Anthropology

The author has selected five papers from the extensive scientific publications of the late V. V. Bunak in which problems are outlined that were insufficiently appreciated at the time and are only now being studied by anthropologists. V. V. Bunak had elicited morphophysiological differences between racial combinations and constitutional habitus; he put forward the differentiating approach to the classification of mankind by race; he formulated the basic theses of the populational conception of race; he developed the growth hypothesis of brachycephalization and demonstrated the importance of indirect selection in forming racial traits. His work represents the living tissue of present-day anthropological science and continues still as a source of many stimulating ideas.

V. P. Alexeyev

CONTENTS

The Resolution of the Central Committee of the Communist Party of the USSR «To the 60-th Anniversary of the Formation of the Union of Soviet Socialist Republics» and the Tasks Standing Before Soviet Ethnographers. *S. I. Brook, V. M. Kabuzan* (Moscow). Numerical Trends and Changes in the Geographical Distribution of the Russian Ethnos (1678—1917). *R. G. Kuzeyev, Kh. S. Rafikov, N. Kh. Yumaguzhina* (Ufa). Ethnogenesis and Genetic Divergence of the Eastern Bashkirs. *B. A. Litvinsky* (Moscow). «Golden Men» in Ancient Burial Places in Central Asia (an Attempt at Their Interpretation in the Light of Religious History). *A. N. Kozhanovsky* (Moscow). Spain: a New Stage of Ethnic Development. *A. A. Nikishenkov* (Moscow). Scientific Schools in the Formative Period of Modern British Social Anthropology (the 1920-ies to 1940-ies).

Discussions

G. N. Simakov (Leningrad) On the Principles of Typologization of Animal Husbandry as Practised among the Peoples of Middle Asia and Kazakhstan in Late 19th and Early 20th Centuries. *B. V. Andrianov* (Moscow). Some Remarks on Definitions and Terminology in Animal Husbandry. *G. Ye. Markov* (Moscow). Problems of Definitions and Terminology in Animal Husbandry and Nomadism (a Reply to Opponents). Editorial Comment.

From the History of Science

V. P. Alexeyev (Moscow). *V. V. Bunak* — a Pioneer in Developing the Basic Theoretical Principles of the Science of Anthropology.

Communications

A. N. Davydov (Arkhangelsk). The Arkhangelsk Museum of Wooden Architecture. *L. T. Solovyova* (Moscow). Customs and Rituals for a Child's Early Years among the Khevsureti Georgians in Late 19th and Early 20th Centuries. *Ye. A. Glinitsky, D. A. Sergeyev, E. Ye. Fradkin* (Leningrad). The Whale in the Concepts of the Bering Sea Eskimos.

Searchings, Facts, Hypotheses

A. I. Pershits (Moscow). Abduction of Brides — a General Custom or an Exceptional Occurrence?

Chronicle

G. M. Davydova, V. K. Zhomova, A. A. Zubov, N. I. Khaldeyeva (Moscow). A Session Devoted to *V. V. Bunak's* 90th Birth Anniversary.

Academic Life

L. M. Drobizheva (Moscow). Problems of the Ethnographic Study of Contemporary Life at the International Conference «Family Celebrations under Socialism». *S. A. Arutiunov* (Moscow). «Historical Ethnography To-Day» — an International Symposium. *A. I. Aliyeva, V. A. Tchirimpey* (Moscow). An All-Union Conference of Folklore Scholars. *N. S. Polishtchuk* (Moscow). «Housing Conditions and the Way of Life of Industrial Workers under Capitalism» — a Conference. *R. Sh. Djarylgassinova* (Moscow). «The Japanese Dolls» Exhibition. Expeditions in Brief.

Criticism and Bibliography

Critical Articles and Reviews. *Ye. V. Revunenkov* (Leningrad). Family Ritual among Siberian Peoples. *S. A. Gullakian* (Yerevan). The Collected Armenian Folk Tales. General Ethnography. *S. A. Arutiunov* (Moscow). *B. A. Rybakov*. Early Slavic Paganism. Peoples of the USSR. *A. I. Kholmogorov* (Moscow). *L. M. Drobizheva*. The Spiritual Community of the Soviet Peoples (a Historical-Sociological Survey of Inter-National Relations). *N. A. Tomilov* (Omsk). The Ethnogenesis of the Peoples of the North. Peoples of Asia outside the USSR. *L. B. Zasedateleva* (Moscow). *G. A. Shpazhnikov*. Religions of the Countries of South-East Asia. A Handbook. Peoples of Oceania. *M. F. Albedil, B. N. Putilov* (Leningrad). Myths, Traditions and Legends of Easter Island.

Технический редактор *Беляева Н. Н.*

Сдано в набор 10.07.81	Подписано к печати 03.08.82	T-10562	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆
Высокая печать	Усл. печ. л. 15,4	Усл. кр.-отт. 42,1 тыс.	Уч.-изд. л. 19,0
	Тираж 2688 экз.	Зак. 4153	Бум. л. 5,5

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10

В МАГАЗИНАХ «АКАДЕМКНИГА»

имеются в продаже:

Ба дер О. Ю. ПАМЯТНИКИ БАЛАНОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 1976. 168 с. 1 р. 61 к.

Выпуск посвящен памятникам балановской культуры, распространенным в бронзовом веке в средней полосе Европейской части СССР. Дана подробная характеристика поселений и могильников балановских племен, приведены обширная библиография, наиболее полный указатель балановских памятников Среднего и Верхнего Поволжья. Свод богато иллюстрирован.

Рассчитан на историков, археологов, этнографов.

Гаджиева С. Ш. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НОГАЙЦЕВ XIX — начале XX в. 1976. 224 с. 96 к.

Монография посвящена совершенно неизученной теме. Исследуются поселения, жилища, одежда, украшения и пища ногайцев, подробно рассматриваются домашние промыслы, торгово-экономические связи, вопросы перехода ногайцев к оседлому образу жизни. Подробно изучен процесс формирования культуры ногайцев, показано влияние русской культуры и культуры других народов на этот процесс. Большое место уделено социалистическим преобразованиям материальной культуры ногайцев в первые годы Советской власти.

Книга богато иллюстрирована и рассчитана на историков, этнографов, работников музеев, специалистов прикладного искусства, архитекторов.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазинов «Книга — почтой» «Академкнига»:

480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, 5, ул. Джапаридзе, 13
320093 Днепропетровск, проспект Ю. Гагарина, 24; 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95; 252030 Киев, ул. Пирогова, 4; 277012 Кишинев, проспект Ленина, 148; 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2; 197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7; 220012 Минск, Ленинский проспект, 72; 117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 12; 630090 Новосибирск, Академгородок, Морской проспект, 22; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, 59, ул. Р. Зорге, 10, 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87.